



XXI ВЕК

ВОЛГА

5-6 2015

Литературно-художественный журнал

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

- А. Ю. Аврутин** – член Союза писателей Беларуси (Минск)
А. Б. Амусин – член Союза писателей России, председатель Ассоциации Саратовских Писателей
А. А. Бусс – член Союза писателей России (Саратов)
В. И. Вардугин – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
Е. А. Грачёв – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
А. А. Демченко – доктор филологических наук, профессор СГУ им. Н.Г. Чернышевского (Саратов)
Д. Е. Кан – член Союза писателей России (Новокуйбышевск)
О. И. Корниенко – член Союза писателей России (Сызрань)
В. В. Ковалёв – член Союза художников (Рига)
В. А. Кремер – член Союза писателей России (Саратов)
М. А. Лубоцкий – член Союза писателей Москвы, ответственный секретарь Ассоциации Саратовских Писателей
В. Д. Лютый – член Союза писателей России (Воронеж)
М. С. Муллин – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
Г. П. Муренина – директор музея Н.Г. Чернышевского, член Ассоциации Саратовских Писателей
И. В. Пырков – член Союза писателей России (Саратов)
Н. В. Шаталина – член Союза журналистов России (Саратов)

САРАТОВ
2015

**5-6
2015**

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭТОГРАД

Сагидаш ЗУЛКАРНАЕВА. **В моём краю нет края синеве...**

ОТРАЖЕНИЯ

Валерий КАЗАКОВ. **Два рассказа**

ПОЭТОГРАД

Иван Малохаткин. **Вот и приблизилась даль приворотная...**

ОТРАЖЕНИЯ

Виктор САЗЫКИН. **Милый Паня и другие**

ПОЭТОГРАД

Ольга ЛУКЬЯНОВА. **Над памятью моею – журавли...**

ОТРАЖЕНИЯ

Анатолий КРИЩЕНКО. **Ветушка калинушки**

ПОЭТОГРАД

Александр РЫЖОВ. **Пока последний час не пробил...**

КАМЕРА АБСУРДА

Фёдор ОШЕВНЁВ. **Шоколадный символ воли**

ДЕСЯТАЯ ПЛАНЕТА

Ольга СОЛОВЬЁВА. **Три в одном (их мальчик)**

В САДАХ ЛИЦЕЯ

Кселена ЛИТВИНОВА. **Лунный город**

НА ВОЛНЕ ПАМЯТИ

Виталий ЗЕМЛЯК. **Без розовых очков**

Виктор СЕМЁНОВ. **Война глазами подростка**

«Хлебнули мы горя...»

СТАТЬИ

Андрей ТИМОФЕЕВ. **О современной органической критике**

ОТРАЖЕНИЯ

Наталья МОЛОВЦЕВА. **Вот придёт Большая Медведица**

В САДАХ ЛИЦЕЯ

Людмила МИЛОСЛАВСКАЯ. **История с театральным**

ПОЭТОГРАД

Ольга КОМАРОВА. **Я рисовала ангелов**

РЕЦЕНЗИИ

Карина СЕЙДАМЕТОВА. **Дорога чрез сердце избы...**

Эдуард АНАШКИН. **«Звёзды окликаю»**

Михаил МУЛЛИН. **Ни много ни мало**

СОБЫТИЕ

В Саратове прошла книжная ярмарка «Волжская волна»

Сагидаш ЗУЛКАРНАЕВА

Сагидаш Зулкарнаева родилась и живёт в Самарской области. Стихи печатались в общих сборниках стихов, в «Литературной газете», в журналах и альманахах «Русское эхо», «Аргамак» (Татарстан), «Аманат» (Казахстан), «Настоящее время», «Автограф», «Отчий Дом», «Арина», «Невский альманах», «Бег», «Союз писателей», «Второй Петербург», «Берега», «Гостинный двор», «Великоросс» и др. Член Союза писателей России. Член Международного союза писателей «Новый современник».

В МОЁМ КРАЮ НЕТ КРАЯ СИНЕВЕ...

Вот он, венец терновый –
Соль от беды в горсти.
Мне бы успеть лишь Слово
В вечность произнести.
Бьюсь в этой сирой хатке
Жилкою у виска.
Бес ли железной хваткой
Держит меня в тисках...
Я по дорогам бывшим
Ездить одна боюсь.
Печкой, давно остывшей,
Душу не греет Русь.

Ты говоришь: мир нем, и жизнь – пустяк,
И мы немы душой, как в море гальки.
Стучат часы: не так, не так, не так...
И снова бес закручивает гайки.
Перегорела лампочка души,
И свет потух в единственном окошке...
А ты смотри на листья и дыши,
Отогревая медные ладошки.
Смотри, как снег съедает рыжину,
Как синевую город оторочен,
Вливает небо в вены тишину...
Ну, вот и ты спокойней стала. Впрочем,
Давай-ка мы начнём с тобой стрелять
По целям жизни средь земного тира.
Открой окно, закрой свою тетрадь,
Не плачь стихами, слушай голос мира.

Перекодируй, Боже, шум на тишь,
Хочу, чтоб этот мир на время замер
И старый дом предстал перед глазами,
Где свил гнездо под самой кровлей стриж.
И там, вдали, по берегу – ветла,

А рядом с домом дед узду латает,
Парит казан, и косы заплетают
Мне бабушкины руки – два крыла.

В каждом веселье – дух от стола,
В каждом колечке – круг от Земли,
В каждой дороге – след от крыла,
В каждой росинке – свет от зари,
В каждом цветочке – нежность невест,
В каждом прогнозе – «роза ветров»,
В каждой речушке – вены небес,
В каждом ребёнке – гены богов.

Всей душою принимаю
Край ромашковых полей.
Речи речки понимаю,
Слышу песни тополей.
Брякнет конная уздечка,
Крикнет птица в камышах,
И сорвётся от крылечка
В даль бескрайнюю душа,
Где пестрят цветы степные
И в прозрачной синеве
Бродят кони вороные
По нескошенной траве,
Где вода шлифует камни,
Ветер точит небеса
И веков седая память
Спит в ковыльных волосах.

В соломе света день сияет ныне,
Теплее молока вода в реке.
Пастух, хмельной от зноя и полыни,
Как тучу, гонит стадо вдалеке.
Под вечер жар вдоль берега спадает,
Духмяно пахнут травы на лугах.
Как зев печи, закат огнём пылает,
Несут коровы небо на рогах.

В печке морозные плачут поленья,
Ходики мерно идут не спеша.
Смотрит со стенки недремлющий Ленин.
Тихо ступает по дому душа.
Кошка сыта, и цветочки политы,

А на столе аппетитный пирог.
Двери души для прохожих открыты.
Вот и она поднялась на порог.
Дети приехали, печь разобрали,
Душу снесли на погост за село.
Кошка ушла, и цветы все пропали,
Ленин остался – ему повезло.

В моём краю нет края синеве –
Она собой деревья облекает
И с неба в реку днём перетекает,
А ночью тихо ходит по траве.
И стоит только резкость навести
На синеву, как в ней увидишь Бога,
Ушедших всех и длинную дорогу,
Которую и нам не обойти.

Казашка – я. Смотрю на мир вприщур
Раскосыми, нерусскими глазами.
Ну что ты, друг, внутри как будто замер...
За этот холод я тебя прошу.
Наверное, сидит в твоей крови
Тот древний страх перед ордынской плетью.
Ты за собой, пожалуй, не зови...
Возьму, как крепость, сердце – не заметишь.

Чей пульс на моём отбивает виске,
Чей разум всё ведает разом –
Тот знает, качаюсь ли на волоске
От края, как хрупкая ваза.
Тот знает, что я в рукопашном бою
Порою стихи убиваю,
В степи обитаю, корову дою
И жизнь по глотку допиваю.
И он только знает, как, беды забыв,
Всё миру прощаю худому,
И знает, какая из улиц судьбы
Меня приведёт к его дому.

Куда идти? Дороги скисли.
Всё больше тьмы, всё меньше света.
Я ничего порой не смыслю
В организации планеты.

Не оттого, что дальше стала
От окружающего мира,
А оттого, что заплутала,
Утратив дней ориентиры.

Вот-вот предательски завьётся
Змеей дорога подо мною,
И всё вокруг перевернётся,
И обернётся мир войною.

Луч Божьей силы слаб и тонок,
И оттого дышать мне нечем.
В двуногом стаде человечьем
Я потерялась, как ягнёнок.

Небо, снежок? В белой раме – окно...
Лечишь ты раны не рано?
К осени тоже я ранена, но –
Пусть гуттаперчевей стану.
Небо, оставь нам немного тепла:
Жук не достроил жилище.
После – сожги эту осень дотла,
Ливнем залей пепелище.
Небо, тебе васильковый к лицу,
Только не выцветший серый.
Небо, дай силы там деду, отцу...
Нам же – терпенья и веры.

Кровь степная в жилах – степи от порога,
Сердцем принимаю соль и боль села.
Не сойти с дороги, если ты – дорога,
Не попасть под стрелы, если ты – стрела.

Мне не надо моря и теплее лета,
Здесь живу открыто, душу не тая.
И на кромке Света есть соломка света,
На которой можно всё же устоять.

Если выпарить воду неба,
Что останется там, на дне?
Крылья, книга, кусочек хлеба
И незыблемый свет в окне.

Валерий КАЗАКОВ

Валерий Николаевич Казаков родился в 1955 году в селе Русский Турек Уржумского района Кировской области. После выхода первой книги прозы Валерия Казакова «Аборигены из Пентюхино», которая увидела свет в 1992 году, он стал участником Московского совещания молодых писателей России. По итогам этого совещания в 1994 году принят в Союз писателей России. Публиковался в журналах «Наш современник», «Русская провинция», «Нижний Новгород», «Бежин луг», «Русское эхо», «Подъём». Автор книг: «Одна» (роман и рассказы), «Другая жизнь» (сборник рассказов), «Тень улетающей птицы» (роман), сборника рассказов «Дисгармония». За первую книгу прозы и журнальные публикации в 2002 году Валерию Казакову была присуждена премия имени Аркадия Филева. В 2013 году он стал лауреатом премии имени В. М. Шукшина на Всероссийском литературном конкурсе «Светлые души».

ДВА РАССКАЗА

КРАСНАЯ СТРЕКОЗА

Вертолёт прилетел вечером, он сделал над селом два больших круга и сел где-то в лесу. Причём сел так далеко и так стремительно, что сделалось даже обидно.

Через несколько минут в Пентюхино на колхозном тракторе примчался Колька Ставрида и сообщил, что железная стрекоза разбилась возле Сталинского выселка, но от неё ещё много чего осталось, так что, мужики, не зевай.

И мужики зевать не стали. Хватали ключи, плоскогубцы, молотки, топоры – всё, что под руку попадалось, и бежали в лес к упавшему вертолёту. Даже бывший сельповский конюх Владимир Фомич, который в это время булычел у пивного ларька, не выдержал общей суматохи – рванулся за мужиками, но после нескольких торопливых шагов опомнился, с жалостью посмотрел на своё недопитое пиво и вернулся обратно к широкому столу, сколоченному из половых досок. Куда уж ему, старому обмолотку, за молодыми бегом, хотя посмотреть, конечно, хотелось, что у вертолёта внутри.

Когда потные и красные от бега мужики приблизились к вертолёту, он показался им очень большим и недостаточно сильно помятым, чтобы сразу приступить к разборке. Возле вертолёта лежали порубленные вершины деревьев, куски железа, битое стекло. Но лётчиков в кабине летающей машины почему-то не оказалось.

– Должно быть, они успели катапультироваться, – решили мужики.

Теперь можно было подойти к летающей стрекозе очень близко и хорошенько её рассмотреть. Мужики со всех сторон обступили вертолёт и замерли в нерешительности: а стоит ли его разбирать? Возможно, он ещё сможет подняться.

Потом к вертолёту подъехал колхозный трактор с телегой. Из телеги стали выпрыгивать молодые сборщики металлолома и просто любители экзотики – все запасливые, все с топорами, ломami и плоскогубцами. Этих было уже не остановить. Один из них увидел рядом с кабиной пилотов какой-то помятый электродвигатель в чёрном кожухе, другой обнаружил на салоне солидную дыру, из которой вытекала пахучая жидкость, и радостно закричал:

– Всё, мужики, отлеталась козявочка. Её всё равно сейчас на металлолом, а нам, может, чего и пригодится. Круши, мужики!

И тут же единым взмахом топора отшиб с кабины вертолёта какую-то блестящую штукoвинy.

– Во! Кажись, прибор какой-то. Дома разберусь. Куда-нибудь приспособлю... Не переживайте, мужики, не мы – так другие всё равно разберут.

– Не трактор ведь – летательный аппарат, поди, больших денег стоит? – неуверенно засомневался Иван Голенищин.

– Да чего уж теперь! Начали, дак! – зашикали на него мужики, нетерпеливо вынимая из карманов припасённый инструмент и приступая к делу.

Мужикам страшно захотелось разобрать поскорее летающую стрекозу, вникнуть в её железную суть, понять, почему так пыхтит и так высоко забирается. Как там всё устроено и налажено у неё внутри, по какому принципу, в соответствии с каким законом?

Открученные детали каждый складывал в свою отдельную кучу, но при этом зорко следил, чтобы кто-нибудь другой по невнимательности не утащил из этой кучи болтик или гаечку. Всё ненужное и громоздкое, которое уж точно никуда не годилось, складывали в отдельную груду. Правда, эта груда росла очень медленно, так как ненужное одному иногда казалось очень нужным другому...

К ночи дело было сделано. От красивого вертолётки остался только худенький железный каркас да огромные чёрные лопасти основного винта. Всё остальное ободрали и разделили между собой запасливые пентюхинские мужики.

– А вообще-то в вертолётке ничего сложного нет, – заключил после окончания разборки Иван Голенищин. – Вертолёт устроен как трактор, только сцепление сделано маленько по-другому. Да вместо гусениц – винт.

– И проводов в нём очень много, – уточнил Володька Рябинин, колхозный электрик.

– Много-то много, – поддержал его Харитон Кадочников равнодушно, – да вот я ума не приложу, куда их девать? – И показал всем здоровенный моток разноцветного провода.

– Может, куда приспособишь, – успокоили его мужики.

– Может, и приспособлю, – согласился Харитон.

До Пентюхино в этот раз мужики шли пешком. В тракторной тележке везли детали, которые весело позвякивали. При этом старики как-то очень охотно вспоминали детство, а молодёжь уже представляла, как будут огорчены те, кто не успел к разборке вертолётки, кто никогда не узнает, как устроена эта железная машина. Ведь это было что-то таинственное, летающее и блестящее, как детская мечта, а они эту штуковину разобрали. Но ничего не поделаешь – энергия познания!

В тот памятный день вечером всё Пентюхино шумело и шевелилось. Десятка два мужиков и баб стихийно собрались на берегу Вятки, там, где возвышался штабель полусгнивших осиновых брёвен, чтобы вместе обсудить случившееся. Падение вертолётки было для этих людей событием из ряда вон выходящим, можно сказать, значительным. В этот вечер все пентюхинцы как-то вдруг забыли, что живут в двадцать первом веке, что в небе кроме вертолётки летают ещё и ракеты, и самолёты, и воздушные шары...

А может быть, так произошло потому, что во все времена дома их обогревались с помощью печей; не имелось в них ни ванн, ни тёплых туалетов. И вообще всё село напоминало нестройное скопище убогих деревянных хижин, как бы сошедших с полотна Васильева и Левитана. Километрами ветхих заборов оно было рассечено на правильные квадраты, завалено вдоль дороги дровами и прелым мусором и по ночам не освещалось из экономии. Редкие певчие птицы, вынужденные проживать в этом селе по воле случая, частенько сдыхали от скуки в самом начале осени. И только ленивые местные грачи доживали до холодов и улетали отдыхать в солнечную Африку.

– Мой-то наволок железяк полон сарай! – хвасталась жена Ивана Голенищина перед продавщицей Клавой.

– А мой всё в кучу сложил возле бани. Говорит, испробую из этих деталей собрать холодильник.

– Ещё бы самолёт с деньгами упал где-нибудь недалече... – посетовала жена Ивана.

– Да, хорошо бы. В колхозе-то который месяц ничего не платят. Как хочешь – так и живи...

Следователь из районной прокуратуры приехал через три дня. По правде сказать, его совсем не ждали. В чём тут собственно разбираться? Машина-то была совсем непригодная для дальнейшей эксплуатации. С огромной высоты упала, разбилась вдребезги. Но государственного человека, да ещё при погонах, разве в чём-нибудь убедишь?

Следователь стал, что называется, воду мутить, невинных людей допрашивать. Устроился в сельской администрации на втором этаже и решил на расхитителей чужой собственности дело клепать. Ну, на Ивана Голенищина ладно: у него дом новый и деньги есть. А на Силантия-то зачем? Силантий гнездовище развёл: одних детей шестеро, да ещё два старика в доме. Ему и так тяжело.

Голенищина, конечно, вызвали одним из первых. Заметная фигура. Быка по осени на мясо сдал, сено прошлогоднее продал по двадцать пять рублей за килограмм, и с виду человек серьёзный. Иван нарядился олухом: нашёл пиджак застиранный, штаны-галифе, сапоги кирзовые и после бритья не душился, чтобы навозный дух не отшибло. Городские-то это ценят, когда от мужика простотой несёт.

– Объясните мне, пожалуйста, – начал вкрадчиво следователь, – с какой целью вы вертолёт разобрали?

– Да так вот сразу и не ответишь, – начал Иван. – Все побежали разбирать, и я побежал. Это как на пожаре, знаете ли. Все бегут, и меня тоже азарт захватил. Интересно было посмотреть, что у него там внутри... А ляльки эти у меня в сарае лежат. Какая от них корысть? Так, бросил пока, потом, может, куда приспособлю.

– К чему их можно приспособить, не понимаю? – удивился следователь.

– А я и сам не придумал пока, не сообразил. Но ведь пользовались же. Значит, была какая-то польза.

– Странные вы люди. Вы, можно сказать, дерзкое преступление совершили, по сговору группой лиц, а рассуждаете как малые дети. Ну какая вам польза от этих железяк?

– Может, к телевизору чего подойдёт али к мопеду...

– Тьфу ты! Ну какой телевизор? Какой мопед? Вертолёт огромных денег стоит, а он мне о мопеде толкует. Да вам, чтобы за эту машину всё владельцу заплатить, со всего села деньги собирать придётся. Это хоть вы понимаете?

– Комбайн пятьсот тысяч стоит, корова – тридцать. Как не понять?

– При чём тут корова?

– Для сравнения, – начал объяснять Иван. – Комбайн может хлеб убирать, зелёнку косить на силос, солому в копны складывает, а на вертолёте только летать можно... Какая от вертолёта польза? Один расход. И вино стало дорогое, товарищ следователь. У нас мужики жидкость для разжигания примусов стали пить. Одеколон продают по паевым книжкам, так все вступили в потребкооперацию. За этот год четыре мужика отравились. Мрёт народ как мухи, а брагу ставить не дают, товарищ следователь. Вот я сколь живу – с браги ещё никто не отравился. Дед у меня брагу пил, отец пил – и все до восьмидесяти лет жили. А сейчас бормотухи в магазин навезут, мужик бутылку выпьет – и глаза на лоб вылезли – дурак дураком.

– Я с вами не о браге приехал толковать. Вы мне объясните, с какой целью вертолёт разобрали?

– Я же вам и говорю, что по инерции. Все побежали, и я побежал. Как говорится: не было печали – черти накачали.

Вслед за Иваном в сельскую администрацию вызвали Харитона. Харитон, как только увидел следователя, так сразу вспомнил о всех обидах, причинённых ему колхозным начальством, и стал жаловаться на плохих людей государственному человеку.

– Лугов не дают, товарищ следователь, для коровы. На общем собрании постановили, что будут намерять по гектару на хозяйство, а сами не дают. Я уже и в правление колхоза писал, и жену посылал содействовать – ничего не помогает. На вас вся надежда да на прокурора. И губероли не стало в магазинах. Крышу нечем крыть. Мы тут всё больше крыши губеролью кроем. Дёшево и сердито, а как губероли не стало – опять на доски

перешли. Раньше, когда шифер-то продавали, так его никто не брал, потому что губерوليو все пользовались, а сейчас губероли нет, и шифер тоже не продают. Как нарочно. Гвозди есть, шурупы, эмаль половая, а губероли нету.

– Я вам, что, начальник райпотребсоюза? – не выдержал следователь. – Я, что, приехал жалобы ваши выслушивать? Вы мне зачинщиков назовите: кто первым кинулся вертолёт разбирать?

– Так все вместе, товарищ следователь, всем миром это самое...

– Мне конкретных виновников надо найти, понимаете?

– Так все конкретные. Мне лучше вспомнить, кто не разобрал, а разбиравших-то всех и не упомнить. Народу было как на пожаре.

После Харитона зашла к следователю Настя Карпова и, освоившись, стала жаловаться ему на своего зятя Никитку, который на прошлой неделе её дочь Варвару чуть не ухамаздал, окаянный.

– Вы бы припугнули его, товарищ следователь. В тюрьму-то садить его жалко, а припугнуть бы надо. Вы бы как-нибудь вечером зашли да пригрозили ему пистолетом. Пистолет-то, поди, у вас всегда при себе. А то Никитка над нами волю взял. Пьёт без пробуду, яйца жареные ест и орёт, прямо как зверь какой. На улицу случайно выйдешь – и домой заходить страшно. Лохматый стал, не бреется второй месяц, а борода у него прямо от глаз растёт. На льва похож, честное слово, и рычит. Ко мне подружка проведать меня пришла, так он на неё так рывкнул, что она в обморок упала, честное слово. И дочу мою замучил всю. Она третий год с ним живёт и третьего скоро родит. Разве так-то можно, без перекуров, товарищ следователь... И коровы у нас нет. Мы с дочей козу держали для детишек, так этот обалдуй зарезал её и съел. За два дня съел, честное слово. Варвара-то у меня в колхозе дояркой работает, а молока в доме нет. Вот какая жизнь. Всё молоко куда-то в город отправляют.

– Вы мне, бабуся, про вертолёт, – взмолился следователь, – про вертолёт мне расскажите.

– Да какое мне до этого вертолёта дело! – огрызнулась старуха. – Леший с ним, с вертолётном. Вы мне посоветуйте, как быть? Может, ему, Никитке-то, штрафу дать али выпороть прилюдно? Может, укол какой в задницу сделать для успокоения? А то ведь жизни от него никому нет. И отец у него такой же был. На отца-то мужики осерчали, утопили его в проруби. Утопили не утопили, а только весной нашли его в бучиле у Шамовской мельницы. Тоже свою-то жену в гроб загнал, антихрист... Я в доме-то на полатах сплю, так с полатей сподручнее запустить чем-нибудь в зятя. И в перепалку вступать тоже не так страшно. А доча-то у меня по полу ходит в одном доме вместе с ним... И чему его в школе учили? Ведь десять классов закончил. Рожа вот такая, вот! Шея как у быка, а ума – ни крошки, честное слово! Ни в Бога не верит, ни в чёрта! Чем душа живёт – неизвестно... Зверь – одним словом, и мы с этим зверем в одном доме, в одной клетке... И каждую ночь кровать у них скрипит. Баба на шестом месяце, а кровать скрипит.

– Бабуся, – взмолился следователь, – вы зачем сюда пришли?

– Так на зятя пожаловаться и пришла... А зачем же ещё мне идти-то, милый мой?

– Жаловаться надо прокурору, бабуся. Заявление надо писать на зятя.

– А это уж мне лучше знать, чего мне с зятем-то делать. Это я сама знаю... Он, зять-то у меня, если примется работать – гору может свернуть. Да, гору! Бывало, за один день на корову сена накашивал. Да! Дрова, бывало, привезёт и за вечер все расколет. Силища-то у него неоколесная, местные жители прозвали за это ломовщиной. Бывало, лошадь воз сена не может в гору вытащить, Никитка увидит, за оглоблю схватится и вытащит воз на гору. А первенец его в два года тридцать килограммов весил, полбуханки хлеба съедал в день. Вот!

– Да что вы за люди такие? Как говорить-то с вами? – взмолился следователь.

– Чего это?

– Пошла вон, старуха!

На следующее утро следователь Водопьянов из Пентюхино сбежал. Накануне этого события он случайно узнал, что ещё с вечера по селу стал ходить седовласый мужик с какой-то большой бумагой в руках и собирал подписи в защиту семьи Горбуновых, которые пострадали при последнем пожаре. А местные старухи сошлись в староверской молельне и стали распределять вопросы: кто на что будет жаловаться государственному человеку с погонами.

Собирались жаловаться на председателя сельпо Ивана Петровича, потому что продуктовый магазин работает два дня в неделю и ничего хорошего в нём нет. На директора Красновятского райтопа – за то, что не обеспечивает дровами даже пенсионеров, но повадился приезжать на казённой машине к местным вдовушкам. На председателя сельской администрации Ивана Кузьмича – за то, что Дом культуры всё время на замке, церковь, приспособленная под склад хлебопродуктов, разрушается, а колокол на ней звонит только во время пожара. На председателя колхоза – потому что лугов не даёт для частных, огороды обрезает, техникой не обеспечивает в срок. На инспектора рыбоохраны Матвиенко – за то, что рыбачить в половодье не позволяет, хотя в это время испокон веку на Вятке рыбачили и рыбы от этого не убывало. На жизнь, большей частью безрадостную, в вечных трудах и заботах, где всё через силу, через не могу и где красный вертолёт в синем небе – это такое большое чудо, что с ним ни за что не хочется расставаться, не докопавшись до его счастливо парящей сути, не завладев крохотным кусочком чужого, но такого желанного счастья.

ВОСПОМИНАНИЕ

Двадцать лет идёт перестройка. Двадцать лет умные люди говорят о будущем, которое должно быть прекрасным, а народ живёт воспоминаниями.

Вот и Григорий тоже любит вспоминать о том, как они с Иваном Голенициным ездили в Аркуль за яблоками.

Иван загодя попросил у начальника пристани моторную лодку – тот не смог отказать старому шкиперу. Набрали с Иваном полные карманы денег и поехали.

Помнится, Вятка была спокойная и день выдался на удивление ясный, так что воздух обдавал восторженной утренней свежестью. Берега пестрели увядающей листвой, манили тёмной хвойной зеленью заросшие лесом увалы. Лодка резво неслась по скользкой воде меж песчаных отмелей, глинистых откосов, упавших в воду деревьев с голыми корневищами. И было в душе ощущение полёта, приближающего давнюю мечту, какое-то детское предвкушение праздника.

В Аркуле пристали к берегу и сразу пошли искать продовольственный магазин. Он оказался в центре посёлка, на самом бойком месте. В магазине набрали яблок, печенья, манной крупы и в нерешительности остановились у винного отдела. Можно бы к выходу идти – давно пора, но что-то не уходится. Уж очень хорошо, очень привлекательно расставлены тёмные бутылки на витрине, и деньги в больших карманах, как назло, так и топорщатся, так и липнут к потным пальцам. Как будто их слишком много. Что делать? Как поступить? Решили ради компромисса, чтобы долго не размышлять, взять штучки две красненького. Но в последний момент не выдержали, расслабились – взяли четыре да ещё на оставшуюся мелочь (чёрт с ней!) сухого парочку. Как-то само собой получилось, помимо воли.

Бодро дошли до лодки, расселись по бортам, отдышались и стали яблоки пробовать. Яблоки оказались вкусными, и на вид – настоящий натюрморт. Подержали в руках бутылки с вином. На бутылках наклейки-то тоже ничего: с жёлтыми медалями, с сочными гроздьями винограда в узорчатой листве. И написано на них что-то не по-нашему.

Попытались разобрать, но не смогли. Вино, должно быть, тоже из южных стран – из Грузии или Дагестана.

Потом Иван предложил распечатать одну бутылочку ради интереса, не для пьянки, конечно, – для пробы, раз уж купили. Тем более что одно дело они уже сделали, сейчас осталось только до дома добраться.

Выпили из железного черпака, которым воду из лодки отчерпывают, закусили свежими яблоками, стали беседовать. Сначала поговорили о покупках, потом – об Аркуле. Аркуль понравился. Не то город, не то село – ну, в общем, посёлок довольно аккуратный, и грязи в нём совсем немного. Можно, конечно, в таком городе жить, а можно и не жить, потому что в Пентюхино всё-таки лучше: и Вятка там шире, и пиво там всегда продают в синих сельповских ларьках.

Посидели, помолчали, удовлетворённые душевным разговором, а потом решили до железной мачты ретранслятора на лодке пролететь – тоже ради интереса. Там телевизионная вышка стоит на горе, а гора высокая, крутая: с неё, должно быть, всю Россию видать до самой окраины.

Как только выехали на Вятку из аркульского затона – так сразу запели. Кричали изо всех сил, но мотор перекричать не могли. Выключили его к чёртовой бабушке, чтобы не мешал. Стали петь в хрустальной тишине:

*Синий-синий иней
Лёг на провода,
В небе тёмно-синем
Синяя звезда, о-о-о-о!
Только в небе,
В небе тёмно-синем...*

Покраснели оба, набычились, упёрли руки в боки и почувствовали, как просыпается в душе скрытая до поры до времени славянская раздолбность. От волнения головы стали ясными, а глаза заблестели.

Потом песня оборвалась, потому что Иван слов не мог вспомнить, а Григорий сказал:

– Давно не пел – обволновался весь. Пальцы вон задрожали как трепесты.

– А мы со старухой поём иногда, – похвастался Иван.

– Чего хоть поёте-то? – заинтересовался Григорий.

– Да про Стеньку Разина поём и про комиссаров в тёмных кожаных тужурках.

– Хорошо, у тебя жена музыкальная.

– Как не хорошо! Весело... А оперы вот не любим пошто-то, – посетовал Иван. – Старуха не любит, и я не люблю. Ни одной арии не знаем из «Кармен». И по телевизору оперы-то не глядим. Как там оперу заведут – так я сразу его выключаю. Мне один знакомый электрик говорил, что это всё с умыслом делается – для экономии электричества. Если где по стране его не хватает – так сразу по телевизору оперу закатывают. После этого вся Россия враз телевизоры выключает. Экономия-то какая, представляешь! Тут своя политика, можно сказать.

– Да, политика-то политикой, только я не очень-то разбираюсь в ней, – признался Григорий. – Особенно сейчас.

– Да и я, если честно признаться, тоже не востёр. По магазину яснее бывает насчёт политики. Полки от товаров ломаются, цена невысока – значит, хорошая политика, а нет ничего – значит, хреновая. Я так понимаю.

– Кто его знает, кажется, какой-то мудрец сказал, что не хлебом единым жив человек. Вроде того, что и голодом можно жить – лишь бы с большой идеей.

– А про идею – это Карл Маркс выдумал, должно быть. Он всю жизнь ерунду разную порол. Только в этом вопросе я с ним не согласен. Идеи идеями – а колбасу пусть дешёвую

продают, – высказал своё мнение Иван и строго посмотрел на Григория, потому что о подобных вещах шутить не умел с детства.

У ретранслятора пристали к берегу. Иван по-молодецки выпрыгнул из лодки первым. Из-под морщинистой желтоватой ладони посмотрел на гору, потом провёл рукой по рыжей бороде и произнёс удивлённо:

– Ну и высота, лешак те внесь! Заберёмся ли?

– А как же! – ответил Григорий. – Раз приехали, надо пробовать.

Первые метры подъёма они одолели с лёгкостью, так как было в душе что-то дерзкое, молодое, задорное. Но чем выше поднимались, тем всё чаще задавали себе вопрос: «А для чего это нужно»? Поначалу ельник на склоне горы был негустой и довольно высокий, так что под его кронами свободно можно было идти, не нагибаясь. Но на середине пути он сменился густым молодняком, сквозь который пришлось продираться, собирая на себя какие-то противные тенёта, тонкие сухие веточки и старую хвою.

Только у самой вершины наконец они выбрались на полянку и обессиленно упали на желтоватую осеннюю траву.

– Хорошо! – после некоторой паузы признался Григорий.

– Здорово, – выдохнул Иван.

– Даже голова закружилась отчего-то.

– Это первая вершина у меня, – продолжил Иван начатую мысль. – Я в своей жизни ни одной вершины не взял. Всё больше падал да поднимался, падал да поднимался на ровном месте. А вот под старость лет повезло: забрался-таки на одну.

– И чего теперь? – простодушно спросил Григорий.

– Как чего? – удивился Иван явной нелепости вопроса. – Ясное дело чего – вино пить будем!

Григорий растерянно пошлёпал себя по карманам, потом взглянул на Ивана испуганно и отёр неожиданный пот с покатога лба.

– А знаешь, я, кажется, забыл вино-то...

– Чего? – упавшим голосом переспросил Иван.

– Забыл в плаще там. Сам же посоветовал снять лишнее. Вот я и снял его вместе с бутылками.

– Не может быть! – не поверил Иван.

– Точно.

– Да как же теперь без вина на вершине? Первый раз в жизни, можно сказать!

– Извини, Иван.

– Чего?

– Извини, говорю.

– Да разве за такое извиняют? Без ножа зарезал, паразит. Убил ведь! Честное слово! Ирод! Обормот, прости Господи. Лопух беспамятный!

Иван лежал в высокой траве и ругался на чём свет стоит. Григорий видел, как дёргается от грубых слов его густая борода. И жаль было старика, и помочь нечем – не идти же обратно в такую даль да потом опять подниматься.

– Ну, хоть на природу поглядим, не зря же залезли! – предложил Григорий и стал нарочито заинтересованно смотреть по сторонам, пытаясь соблазнить этим Ивана.

Иван сел в траве, вытер пот с лица выгоревшей кепкой и съехидничал:

– Смотри, смотри, может, опьянеешь...

– Отсюда даже Пентюхино видно, – между тем проговорил Григорий.

– Где это? – не поверил Иван и встал на ноги. – Надо же, и правда видно!

– Вон за той горой.

– Да. Церковь видать.

– И сосны перед школой... А наши дома не видно.

– Они ниже. Вон там, за деревьями.

– И зачем поселились в овраге, сами не знаем, – произнёс задумчиво Григорий.

– Там земля хорошая и вода поближе. Без воды-то куда?

Григорий почувствовал, что исчерпалась тема, и предложил другую, пока Иван не вспомнил о злополучных бутылках.

– Вот если бы я рисовать умел, обязательно с этого места Пентюхино нарисовал бы.

– А у меня племяш – художник, – вспомнил Иван, – он на столбах высокого напряжения рисует и на трансформаторных будках тоже.

– Чего рисует-то? – не понял Григорий.

– Да этого, у которого сверху череп, а снизу две косточки перекрещиваются.

– Портрет смерти?

– Вот-вот. Её самую, только без косы.

– Там ещё надпись снизу: «Не подходи – убьёт»!

– Вот-вот! Ты, значит, тоже видел.

– Приходилось.

– Известный человек. Он ещё голых баб умеет малевать. Нарисует, я тебе скажу, – глаз не оторвёшь! Всё в натуральном виде, как есть.

– Хорошо!

– Как не хорошо! Мужики это ценят, когда художник голую бабу может нарисовать.

– Это главное. Куда деваться...

Помолчали. Потом Иван кряхтя повернулся на живот и снова стал бубнить.

– Вот, понимаешь ли, перед смертью чего-нибудь хорошее совершить хочу. Душа просит чего-то эдакого. – Иван показал рукой небольшой, но довольно замысловатый выверт.

– Чего это?

– Да сам не знаю пока, но хочется, чтобы люди видели и вспоминали.

– Дерево посадить, что ли?

– Сам не знаю. В молодости-то об этом забывал, а вот сейчас подступило... Отстранённости хочется от всего житейского. Житейское-то всё для еды, ради того, чтобы в тепле жить да сытно питаться. И работа для этого, и беспокойные мысли, и строительство. А душа-то тогда для чего?.. Ведь, выходит, что я всю свою жизнь насквозь проел. Только и помню, что питался сытно да работал много, а больше-то ничего и не помню. И не был нигде, ничего хорошего не видел – одне рассветы да закаты. Сено косил да землю пахал – вот и всё. Как-то уж больно плоско получается, знаешь ли.

– Да, не мудро.

– А может, все так живут, а? Только делают вид, что ради идеи или ради творчества.

– Да что ты, нет! У великих людей цель была.

– Леший его знает. Может, и в моей жизни какая была цель... Кто её с детства почуял – тому, наверное, легче. А я вот не усмотрел. Может быть, из-за этого и плохо мне сейчас. По годам-то ведь тоже к вершине подобрался. Итога хочется. А где он? Кто его знает. Вот ты мне скажи, Гриш, кто мне за мою тяжёлую жизнь спасибо скажет? Пришёл из темноты – и уйду туда же. А где справедливость? Может, про меня хорошую книгу можно было написать: сколько я пережил, перечувствовал. И всё ради светлого будущего.

– Это уж так всегда.

– Что?

– Ради будущего-то. Какой бы правитель в России к власти ни пришёл – так всё норовит сызнова начать, чтобы все потом ради светлого будущего трудились. Как будто до него люди не жили, не понимали ничего, не видели, что к чему. Из-за этого и живём как кроты. Всё копаем, а сами уже давно ослепли.

– Всё ради будущего.

Помолчали, посидели в раздумье несколько томительных минут. Потом Григорий махнул решительно рукой и предложил с оптимизмом:

– К лешему всё, дядя Ваня! Спускаемся вниз, вино пить будем!

После этого оба путника посмотрели друг на друга с радостным взаимопониманием и зашагали к реке...

В тот день до Пентюхино они так и не добрались. Опорожнили ещё пару бутылок с красивыми наклейками и уснули в лодке посреди реки, наехав на песчаный откосок.

Над ними всю ночь медленно плыли облака. Среди облаков, немного покачиваясь, парила золотая луна, журчала вода под плоским днищем лодки. И казалось, что ничего в этом мире не изменилось ни в лучшую, ни в худшую сторону, пока они спали.

Правда, среди ночи однажды Григорий проснулся от холода и с каким-то особым чувством посмотрел в бездонное звёздное небо. Попробовал что-то понять в нём, большом, открытом для всех, и вдруг ощутил на щеках своих слёзы: до того необычной – счастливой и удивительной – показалась ему жизнь.

«Отчего это? Отчего?» – торопливо спросил он сам у себя – и не нашёл ответа.

Иван МАЛОХАТКИН

Иван Иванович Малохаткин родился в 1931 году в с. Лебяжье Камышинского района Сталинградской области. С 1948 года жил во Владивостоке. Окончил высшие литературные курсы. Автор 22 книг стихов. Публиковался в местных и центральных СМИ, в литературно-художественных журналах. Лауреат литературных премий, в том числе премии им. Михаила Алексева. Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры России. Живёт в Саратове.

**ВОТ И ПРИБЛИЗИЛАСЬ
ДАЛЬ ПРИВОРОТНАЯ...***Ивану Шульгину*

Сосна, которую не раз
Казнил огонь небес, сейчас
Почти убитая стояла.
На ней кукушка... Но она
Была, как утро, холодна
И никому не куковала.

А между тем в разломе туч
Мелькнул неловкий первый луч.
Упал на волны цвет кипрея.
И буря взбуженной воды,
Смыв ночи дряблые следы,
Ушла, себя толканьем грея.

И я увидел: за ветлой
Туман, прикрыв холмы полой,
Вползал в простор сквозного лога,
И кто-то юный на коне
Скакал в туманной глубине, –
Куда, куда его дорога?

И я подумал: отчий дом
Нам вспоминается потом,
Когда душа, насытись волей,
От ран и горестей горит
И чистым словом говорит
О лучших днях, о лучшей доле.

Блестят листвой осокови.
Внизу по берегам
Волна шуршит осокою
И всхлипы прячет там.

Скворец горластый тужится
Себя перекричать.
Лежит у тропки лужица,
Как лунная печать.

Трава росой украшена.
Ползёт, шипя, ручей.
Синь на лучах заквашена,
Чтоб ранник был пышней.

А утро выбивается,
Сминая ночи тьму,
И солнышко старается
Теплом помочь ему.

Вот и приблизилась даль приворотная.
Слышу раздолий земных голоса.
Вижу, как цапля, царица болотная,
Щурит от дымки текучей глаза.

Скоро она улетит – и забудется
Эта высокая птица тоски.
Только пушок её рядом покрутится,
Сядет ожогом седым на виски.

Белка мелькнёт на сосне кучерявой.
Шишка, как гири часов, упадёт.
Вечер в просветах, как будто дырявый,
В синь дождевую лататься войдёт.

Вскинутся цокот и шелест капли.
Клюква с полянки приветно мигнёт.
Властно раскинутся запахи ели,
Цапля, тоску разрушая, вспорхнёт.

Есть в грусти осенней особая страсть:
Яснеет, что было туманно.
И листья, готовясь на землю упасть,
Шумят и шумят непрерывно.

Ты станешь под ними,
Охваченный сном,
Былого неясным виденьем.
И дни полетят,
Словно лист за листом,
Тебя обжигая свеченьем.

Когда, наглядевшись на светлую даль,
Придёшь ты в родное жилище,
Тебя очарует такая печаль,
Которой нет выше и чище.

Быть должен снег – и он явился.
Земля вращалась в тишину.
И ветер взмахами грозился
Развеять в зарослях луну.

Куга топырилась, звенела,
Вдевалась в пенный поток
И как бы вытрясти хотела
Из клиньев влипчивый ледок.

Всё крепко в лёте и в раскате.
И ёлок зыбких терема
Так разрастались на закате,
Что крупно виделась зима.

И от напевного журчанья
Воды и шороха ветвей
Душа входила в мир молчанья,
И жизнь шептала звуки ей.

ОДИНОЧЕСТВО

Разлюбила.
Ушла.
Затерялась,
Как росинка в густом камыше.
Ничего у него не осталось,
Кроме эха прощанья в душе.

«Ну и что ж, – думал он, – и не надо.
Знать, любовь не любовью была...»
Вызревала капель винограда,
И листва за листвою плыла.

Город ширил бетонные плечи.
Стала улица к дому длинней.
Возвращаясь с работы под вечер,
Он грустил всё сильней и сильней.

Ночи омутом пахли и тленом.
На звонки телефона молчал.
Подбородком уткнувшись в колено,
Головой утомлённо качал.

«Ну и что ж, – думал он, – и не надо.
Знать, любовь не любовью была...»
Вызревала капель винограда,
И листва за листвою плыла.

ЭЛЕГИЯ

Памяти Михаила Луконина

Слагают птицы общий крик.
И даль, готовая к приёму,
Отодвигая лунный блик,
Сморгнула утреннюю дрёму.

И вновь взволнован я теперь,
Когда изведена дорога,
Когда судьбы моей метель
Почти угасла у порога.

Ужели то, что знаю я,
Всего лишь ход первоначальный,
И в этом пламени прощальном
Совсем безвестна жизнь моя?

Нет. Не согласен. Я проник
В озёр зелёное молчанье,
В неувядающий родник
Моей любви, в моё страданье.

Я испытал и мор, и страх.
Мне незнакомо отступление.
Жизнь, я на всех твоих ветрах
Крепил и память, и терпенье.

И так с тобой не разойдусь,
Не отпущу тебя без муки,
Пока меня возносят звуки,
Пока я родине молюсь.

Виктор САЗЫКИН

Виктор Алексеевич Сазыкин родился в 1956 году. Окончил Пензенский сельскохозяйственный институт. Учился на Высших литературных курсах при Литературном институте имени А. М. Горького. Член Союза писателей России. Живёт в Пензе.

МИЛЫЙ ПАНЯ И ДРУГИЕ

ПОВЕСТЬ

Весть о том, что Санька Боняков погиб, разбередила воспоминания и раздумья.

Он был моим сверстником и другом, вместе учились в школе, в юности занимались спортом, потом, с возрастом, пути-дороги разошлись: я безуспешно связался с литературой, а Санька ещё раньше заявил о себе как замечательный боксёр и мог бы стать знаменитостью первой величины. Но что-то тоже помешало...

Они вообще, Боняковы, – семейство любопытное.

К примеру, дядя Паша – фронтовой разведчик, вернулся в 1944-м без ноги, однако никто и никогда из сельчан не говорил о нём как об инвалиде: этот «инвалид», будучи помоложе, мог утереть нос любому здоровому; а про чудачества его в Чертозелье и поныне ходят притчи и легенды. (Да разве с такими мы могли проиграть войну?!) Теперь дяди Паши нет, а жаль: жизнь без чудачества и героизма пресна и скучна, как рассказ законченного графомана.

Я собирался в редакцию местного литературного журнала, чтобы отнести новый рассказ под названием «Письмо рецидивиста», тоже об одном чертозельском «герое» и, кстати, родственнике Саньки. По дороге опять раздумывал о Боняковых.

Павел Прокопьевич Боняков, отец Саньки, – личность и вправду небезынтересная. Память о норове его и причудах до сих пор живёт в Чертозелье.

Взрослые за глаза звали его Панок, что звучало снисходительно, но с оттенком приятным; или же – Боняк, подчёркивая неодобрительные, вздорные и даже буйные черты характера; обращались, однако, непременно уважительно: Павел Прокопич.

Работал он на конном дворе шорником, а также занимался ремонтом гужевого транспорта: летом – сани, зимой – телеги. Там у него и столярка была, где правил колёса, прилаживал наклёстки, гнул полозья, вставлял копылья; мальчишкам вытёсывал самодельные лыжи и делал крепления из сыромятных гужевых и чересседельных ремней. Обычно по этому вопросу обращались к нему не сами ребята, а кто-нибудь из взрослых: «Павел Прокопич, нарежь ремешков моему Славке на коньки (коньки «Снежинка» привязывались к валенкам ремнями или бечёвками, но ремнями – лучше), а то канючит и канючит... Я тебе бутылку поставлю, только сделай, ради бога». Шорник для приличия поломаётся-поломаётся: «Да ежели где лишние заваялись, ежели найду...» – и непременно находил, за что благодарны ему были не столько отцы-матери, сколько сельская малышня. На речке и на горках нередко слышалась похвальба: «Это мне дядя Паша Боняков сделал», «Это дядя Паша отремонтировал». Впрочем, именно они, маленькие озорники, почему-то иногда, пьяненького, дразнили его на улице весьма занимательным прозвищем – *Милый Паня*:

– Милый Паня, Милый Паня!..

– Вот я вас, заразы! – грозился он, делая вид, что сейчас догонит сорванцов и надерёт уши.

– Не догонишь, не догонишь!..

Ну, конечно же, не догонит: куда ему на протезе до быстроногих сорванцов? Однако трезвого Милого Паню все ребяташки побаивались. Считали сердитым. И никто из пацанов на конном дворе в его присутствии шалить не смел.

У него и самого была куча мала детей (теперь уже давно взрослые): Василий, Колька, Санька и Валентина. Василий – самый старший, Колька – лет на шесть помладше, Санька – ещё младше, Валентина – последняя.

Василий как ушёл в шестидесятых в мореходку беспроша, так с той поры почти и не бывает в Чертозелье. Когда родители были живы, пару раз приезжал, а ныне даже весточки близким не шлёт, безродный. И сельчане как бы забыли его.

Николаю Бонякову сейчас уже за пятьдесят. Спокойный, тихий, он и в юности ничем особенным среди сверстников не выделялся, такой же и остался: приедет в Чертозелье вечером, ночку погостит у родственников и так же незаметно уедет – как и не был. Правда, заметили: изношенную «копейку» недавно заменил очень приличной иномаркой. Оказывается, Николай уже лет семь занимается кое-каким бизнесом (вместе с женой торгует на рынке шмотками), и дело, вроде бы, идёт у них неплохо. Но об этом он говорит неохотно, словно суеверно боясь спугнуть свою маленькую удачу: похоже, натерпелся, как и многие, в безвременье девяностых годов. Они вообще, вроде как, очень скромные – Николай и его Татьяна.

Другое дело – Санька Боняк. О, этот чуть и вправду не стал знаменитостью! Сызмальства шустрый и ловкий, поступив в областном центре в техникум, Санька целеустремлённо стал заниматься ещё и боксом. Отец Павел Прокопьевич с детства попросту приучал сыновей к физкультуре и спорту: поставил перекладину на проулке (турник), сшил из кожи старых хомутов боксёрский мешок и что-то вроде бойцовских перчаток и сам подучивал, как правильно вдарить, чтоб супротивник с колядок слетел, или как самому половчее увернуться: нырь под руку и снизу повыше пупка – бац! Но Василий и Николай неохочи были к этому, да и мода на спорт в деревню пришла несколько попозже. Зато как раз угодила в Санькино поколение. И Санька показал себя во всю прыть! Уже юниором, он без промаха выигрывал всяческие соревнования и, после техникума пойдя в армию, как талантливый боксёр, оказался в спортроде, откуда чуть было и не попал на Московскую Олимпиаду. Но парню не повезло.

Уже почти кандидат в состав сборной СССР, он вдруг угодил... под следствие. Подрался. По молодости это бывает. Но крепко побил он не кого-нибудь, а сынков парторга и председателя сельсовета соседнего совхоза. Парни крепкие, самоуверенные, чуть под хмельком заявили на «Жигулях» из Пичуевки в Чертозельский клуб. Хамливо стали приставать к девчонкам, огрызаться на замечания старших (шёл какой-то фильм про войну) – словом, повели себя вызывающе. А чертозельских парней, как назло, никого не было. Но нарвались на Саньку Бонякова, приехавшего на побывку домой (он уже дослуживал срочную). С виду не Геракл, однако же... кандидат в сборную страны – это вам не ширь-шавырь. Короче говоря, отпускник-солдатик лихо повыворачивал скулы залётным молодцам. Но с рук ему это не сошло: отцы потерпевших круто возмутились, милицееское начальство в райцентре оказалось у них своё, и Саньку на следующее же утро забрали в каталажку.

– Ой, посадят нашего касатика, ой, посадят! – причитала мать Дарья Васильевна, раздражая и без того расстроенного Павла Прокопьевича.

– Ну, суши теперь сухарей своему касатику! – в сердцах передразнивал он её.

– Паня, не мешкай, собирайся, поезжай в милицию, узнай там, чё да как.

– Вот брошу всё и понесусь!

– Ой, посадят, посадят...

– Раскаркалась, ворона!

Однако вечером Павел Прокопьевич пошёл к соседу Мишане, молодому мужику-шофёру, который ежеутренне и вечером ездил в райцентр – возил с фермы молоко на переработку, а заодно подсаживал в кабину сельчан-попутчиков, подвозил кому куда надо: в больницу, на базар – мало ли куда. Павлу Прокопьевичу вот в милицию приспичило. Мишаня, как и все чертозельцы, уже знал, что вчера случилось в клубе.

– Посадят Саньку, – сочувственно вздохнул и он.

Сам Мишаня, будучи уже не молоденьким – за тридцать, с год как женился (а в юности тоже покуролесил!) и теперь в клуб – ни ногой. Да и некогда: с утра до самого поздна за рулём и за рулём. «Остепенился, – говорили про него в Чертозелье, – теперь на Доске Почёта висит».

– Поса-а-дят, – повторил Мишаня.

– И ты туда же: посадят, посадят... Я вот, если завтра чё не так, самолично в часть напишу, у нас не бессудница какая – приедут и разберутся.

– Разберу-у-утся, – нараспев несогласно сказал Мишаня. – Не надо было ему связываться, дядя Паша.

– А ты вот на его месте не связался бы? – вскипел Павел Прокопьевич.

– Я не чемпион, – с усмешкой уклонился сосед.

– Да они ж, заразы, приехали как хозяева в наше село! А мы тут испокон веку никого хозяйничать не допускали. Бывало, из какого-нибудь села на санях целым скопом прикатят и давай задирается, из-за девок обычно. Ну, мы как вскинемся тоже всем гуртом, кто постарше, кто помладше, и – куда оглобли, куда сани! Потом, после драки, смотрим друг на дружку – и смех, и грех: у кого глаз заплыл, у кого зубов не хватает! О, было! Всякое было. Правда, до смертоубийства не доходило. Бились крепко, но так, чтоб до смерти – не было ни разу, врать не буду. И Санька наш – не убил же он их? Ну, поколотил малость, ну, скулу кому-то своротил. Драка – она и есть драка. А ты: «Не связывайся...!» – укорял соседа старик.

– Да, надо знать, дядя Паша, кому скулы-то выворачивать. А то вывернешь – и сам не рад будешь.

– Знать! – передразнивал старик. – А они, что, не знали, на кого рыпаются?

– А у него, что, на лбу написано, что он боксёр?

– При чём тут «боксёр»? Я вот ихнему командиру всё как было пропишу. Как фронтовик пропишу, – опять погрозился Павел Прокопьевич.

– И без тебя пропишут, – отмахнулся Мишаня. – Ещё и за «боксёра» припаяют.

И как в воду глядел. Но пообещал завтра довести старика прямо до прокуратуры.

С вечера Павел Прокопьевич подремонтировал свой протез, чтобы шибко не скрипел в начальственных коридорах, нацепил на пиджачишко все фронтовые ордена и медали и утром уже был в райцентре.

Там отнесли к нему уважительно, но всё равно строго выговорили, мол, не стыдно вам, товарищ ветеран, вы Родину защищали, а сына хулиганом вырастили. Да к тому же он, ваш сын, ещё и боец Советской Армии! Как же так, Павел Прокопьевич? И даже то обстоятельство (на что и Мишаня намекнул соседу), что задержанный не просто драчун-хулиган, а мастер спорта по боксу, – даже это квалифицировали как применение сугубо противозаконных средств из чисто хулиганских побуждений.

– Да чё уж такого страшного произошло-то? – не выдержал старик, до этого сидевший молча и смиренно, только несогласно побряхтывавший. – Ну, подрались. Ну, не убили же друг дружку? Молодёжь! Я и сам, бывало, никому спуска не давал.

– Вот этому вы и научили сына, – с каким-то нехорошим намёком перебил старика работник прокуратуры, но Павел Прокопьевич по инерции продолжал:

– Ну а как же? Они ж чужесельские, парни-то эти, не нашинские. А ежели приехали в чужое село – девка ли понравилась, к товарищу ли, – то изволь вести себя поскромнее. К примеру, приду я к соседу – баба мне его приглянулась – и давай хозяйничать! Понятное дело, возьмёт он топор и башку мне оттяпает.

– Ещё топора не хватало! – строже сказал блюститель правопорядка. – Это вам не царское время, когда ни законов, ни власти на селе не было.

– Я при царе не жил, врать не буду. Но отец рассказывал: порядки были такие же. Ежели приехал в чужое село, веди себя культурно, не то по сусалам за милую душу надают. А хочешь с кем подраться, вызывай по любви, один на один. И в старину так было, и в моё время так же. А иной раз и стенка на стенку сходились. Так, для забавы. А то и село на село, как, например, на Ивана Купалу на Тюриных лугах. Оно даже и весело! Главное – не трусь и не пасуй. Не один же ты! А хоть и один: упрись и не уступай! А раз уступил – в другой раз и девку у тебя уведут, и сам на улицу носа не высунешь. Надо чтоб уважали...

– Интересная у вас философия, товарищ Боняков, очень интересная.

– Это не философия – это жизнь. А жизнь – её не отменишь, она сама из себя прёт. Понятное дело, они, эти парни-то, вообразили, что раз они начальниковские дети, всё им и позволено. Но у них же на лбу не написано, кто они такие. А хоть бы и написано... – старик оборвался, взглянув на работника правоохранительных органов, вмиг почувствовал по выражению лица того, что не в ту степь он, старый хрыч...

И в самом деле, должностное лицо, выдержав укоризненную паузу, мягко, но всё строже и строже стало читать ему нравоучение, как политически заблуждающемуся: напомнило, что Павел Прокопьевич воевал именно за *Советскую власть*, что родственники потерпевших – представители именно *этой власти*... Фронтовик опустил глаза, притих, ссутулился. Ему показалось, ордена и медали отяжелели и тянут его к полу. Он и вправду выглядел жалко и униженно. И работнику прокуратуры в конце концов тоже стало жалко старика-ветерана. И, выговорив таким образом невоспитанному гражданину, он так-таки обнадежил его как-нибудь всё уладить, а пока пусть Павел Прокопьевич как можно скорее уговорит потерпевших, точнее, их родителей, забрать заявления.

Не хотелось старому Боняку ломать шапку ещё и перед этими пустобрёхами, как он спяну иногда отзывался о представителях власти на селе. Но куда деваться? Униженный, усталый (ещё и нога, стерва, взялась ныть – невмочь!), дождался он молоковоз Мишани в условном месте (уже было близко к полудню), рассказал, на чём дело стало.

– Вези меня, Мишка, за ради Христа, в Пичуевку, к этим заразам. А на вечернюю дойку ты ещё успеешь. Я же тебе, если всё уладится, опосля чем хочешь отплачу.

Нехотя (целый же крюк давать!) Мишаня согласился. По пути Павел Прокопьевич взял в винном магазине бутылку водки. Приехали к парторгу с сельсоветчиком в Пичуевку. Те поначалу и говорить со стариком не хотели.

– У него, что, руки чешутся? (про Саньку). Мы ему руки-то укоротим!

И грозились засадить «садиста» лет на пять, не меньше, и тоже всяческое неприятное выговаривали старику. Он, уже почти не возражая (не как в прокуратуре), выслушивал, терпеливо уговаривал, стыдливо подчёркивал свою инвалидность, что он ветеран войны... И наконец те сдались: всё-таки протез и ордена с медалями и тут сыграли свою роль. Водку же пить истцы отказались с обидчиком. Все вместе поехали опять в райцентр: Павел Прокопьевич с Мишаней – на молоковозе, парторг с председателем – на своих «Жигулях».

И дело на парня не завели. Саньку отпустили из КПЗ под самый вечер. Старик так умаялся за весь белый день, что еле дождался его во дворике напротив милиции, для поддержки сил потихоньку пригубивая из горлышка бутылки, не вынимая её из внутреннего кармана и опасливо прикрываясь отворотом пиджака. Уже в сумерках вышли сын с отцом на загородную дорогу, где и догнал их всё тот же Мишаня после второго рейса. Старик почти уже допил всю водку, сделался пьяным и по дороге домой в тесной кабине молоковоза под смех шофёра всё норовил дать сыну хорошую затрещину, «чтоб не нервировал, стервец, отца».

– Батя, перестань, – уклонялся сын-боксёр, – а то я тебя сейчас свяжу.

– Меня?! Пашку Боняка?! Отца родного?! Минька, – кидался на руль, – останови машину! Останови, говорю!

– Зачем, дядя Паша? – смеясь, спрашивал Мишаня, удерживая баранку.

– А я хочу с этим щенком, – пытался шлёпнуть сына узловатой ладонью, – в чистом поле один на один выйти. Останови, говорю!

– Да уж приехали, дядя Паша. Вот уж – Чертозелье.

– Ну, я вам ужо покажу, заразы! Ни одного фашиста в родной дом не пущу. Всех убью – один останусь!

В избу его, изнемогшего, Санька с Мишаней втащили на руках. Старик вмиг вырубился и до утра спал как убитый.

Санька же дня через три торопливо собрался и, не догуляв армейский отпуск (так как в Чертозелье опять приезжал следователь и вроде как для формальности задавал ему ещё кое-какие вопросы), поскорее уехал в часть – по совету родителей: «Бережёного Бог бережёт». Но там уже знали-ведали, что натворил их солдатик-касатик. Отбор на решающие соревнования был чрезвычайно строгий, требовались не только спортивные качества, но и отменная характеристика, тем более на военнослужащего, так что Александр Боняков на отборочные соревнования не попал и на Олимпиаду тоже. К тому же врачи обнаружили что-то неладное с глазами у него, и спортивная карьера парня стремительно закончилась. А характер весьма испортился.

Обыкновенно за день перед Пасхой Боняковы приезжали в Чертозелье все вместе: оба брата, сестра Валентина и кто-нибудь из их семьи. Погостят вечерок у родственников (отцовский дом они продали, так как грянувшая «перестройка» обезденежила горожан – не добраться, не доехать до родного куреня; а не будешь приезжать, местные архаровцы всё растащат на пропой – вот и продали; и давно уже поселились и живут в посёлке Пригородный, близ облцентра Сурград), переночуют, а наутро идут на кладбище помянуть родителей. На Пасху многие деревенские из города сюда приезжают. Убирают могилки, красят ограды. Но это в субботу, в Воскресенье же – поминают. Поминают вином и слезами.

Чертозелье наше почти вымерло. Бегство в город началось давно, особенно в шестидесятые и семидесятые, когда село вроде бы снова окрепло, появился достаток – живи, работай. Но город оказался сильнее, а дух родной земли ослаб. Перестройка лишь свирепо завершила процесс. Теперь остались одни старики, старухи да алкаши среднего возраста, у которых нет ни сил, ни средств, ни желания сорваться отсюда хотя бы куда-нибудь на заработки. Стариков, кстати, тоже раз-два и обчёлся, подолгу не живут. Виной тому всё та же пьянка. Хотя и не только. Но даже женщины спиваются. Впрочем, женщины старшего поколения, к удивлению, много крепче и стойче мужчин, но одинокая старость их, достойная уважения и всяческих наград за непосильные труды, мужество и страдания, незавидна и зачастую вызывает скорбное сочувствие.

Валентине Боняковой – за сорок. Уже давно у неё умер муж-чернобылец. Сама она с лица вроде ещё молода и хороша, но по-бабьи сильно располнела, несколько страдает ранней одышкой (сердечница), хотя по-прежнему активно общительна и бойка: обойдёт все могилы, со всеми сельчанами поговорит-покалякает, чуток пригубит винца, тут поплачет, там посмеётся, напоследок со всеми распрощается-расцелуется. «Хорошая баба», – говорят про неё сельские старухи. «А деваха какая была!» – вспоминают сверстники. А ещё разговор идёт, будто сыновья Валентины – рэкетеры. «Это кто ж такие?» – с некоторым испугом переспрашивают друг дружку пожилые чертозельцы. «А которые бизнесменов грабят. Приходят на рынок к хозяину палатки: давай нам столько-то денег, не то сожжём или убьём». – «Ну те! А милиция куда ж смотрит?» – «А туда же – в карман». – «М-да... знать, пошли по кривой дорожке. Такие долго не живут». – «Да у них, у Боняковых, испокон веку разбойники в роду». – «А у кого их нет? Ежели покопаться, то святого-то, может, и не отыщешь, а на беса непременно наткнёшься». В

разговоре такого порядка тем не менее прихваливают Николая Бонякова, брата Валентины: скромный, уважительный и, похоже, шибко не пьёт, торговлей занимается, тоже бизнесмен, и жена у него как жена – пышная, видная.

Зато Бонякова Саньку, боксёра, в Чертозелье со временем стали недолюбливать. Этот, как приедет, обязательно напьётся и кому-нибудь морду набьёт. Как правило, начинал задирать почему-то молодых парней, которые, по сути, уже в дети ему годятся. Искривит бровь, зыркнет бирючим взглядом, а потом как-то так ухмыльнётся уголком полноватых, но твёрдых губ, поверх которых тонкой ниточкой всегда выбриты «мафиозные» усики, и полушутя вдруг шлёпнет по лицу предполагаемого соперника или умело ткнёт слегка по печени, а дойдёт до драки – беспощаден.

Заведующая отделом прозы Тациана Кадомцева, как всегда, обрадовалась моему приходу, взяла рукопись и пообещала сегодня же дома прочитать и непременно позвонить.

Неуёмно-энергичная, маленькая, миниатюрная, быстроглазая и быстроногая (одна нога – там, другая – здесь), она уже успела и за пирожными в гастроном сбегать, и столик накрыть, и, естественно, рассказать мне последние новости-страшилки. «Страшилками» она называла графоманские рассказы на криминальные темы, присылаемые и приносимые ей как местными «писателями» (иронично произносила с ударением на «я»), так и отовсюду, откуда доходит почта и дотягиваются щупальца интернета. Я мог слушать её подолгу, видоизменяя улыбку на лице от любопытствующей до откровенно весёлой, иногда даже смеялся – столь забавно, в лицах и характерах, передавала она сюжеты.

Кадомцева, одного из немногих, считала меня талантливым и ценила за профессиональное отношение к писательскому делу (лично я себя профессионалом не считал хотя бы потому, что писательство не приносило никакого дохода, однако писать не переставал и действительно относился к этому серьёзно).

– А эти, – возмущалась она и сегодня, – наваляют-накатают – и бегом сюда: читайте, завидуйте, я написал гениальный рассказ! А посмотришь – там конь не валялся. Я устала от них, – манерно вздохнула Кадомцева, но тут же оживилась: – Знаешь, какое мучение я придумала для графоманов на том свете? Я бы миллиарды световых лет заставляла их читать и перечитывать «Улисса» Джеймса Джойса. Хи-хи-хи! – засмеялась она своим задорно-эротическим смешком. – Кауров, я читала его целый год, умирала с тоски, засыпала через каждые пять страниц и так и не дочитала. Это истинное наказание, честное слово! А тут ещё этот, – кивнула на дверь главного редактора Шейгина, которого пока не было на своём месте и с которым последнее время она не очень ладила, – каких-то бездарей подсовывает: «Ставь в номер и не спорь: этот человек нам нужен». А там – боже мой! «Как можно, Лев Борисович?! – возмущаюсь. – Это же чистой воды бездарность!» – «Тациана Владиславовна, это не ваше дело. Вы не понимаете политику журнала, и вообще...» Как это – «вообще»? Может, я и в литературе ничего не понимаю? Зачем же вы тогда меня взяли редактором по прозе? В конце концов, Кауров, согласись, я и сама, вроде, неплохо пишу и как сочинитель уважаю своего читателя, потому нередко и задаюсь вопросом: а, собственно, что вправе ожидать он, читатель, от литературного произведения, скажем, сугубо реалистического жанра? Согласись, Кауров, в скромных очертаниях ответ прост: убедительности изображаемых характеров, достоверности конкретно-бытовых или исторических событий и ситуаций... Графоман же тем и отличается от таланта, что он совершенно не-у-бе-ди-те-лен. Так ведь, Кауров? Что там ещё нужно для эффекта убедительности? Чтобы автор, ко всему прочему, умел пропитать ткань повествования собственным неподдельным чувством сопереживания, и если оно проникнет или хотя бы коснётся души читателя – значит, сочинитель достиг своей цели. Вот твои же рассказы трогают душу, им веришь, что это правда, что это действительно так, героям сочувствуешь. А главное – нескучно! Да, герои у тебя какие-то неприкаянные, несуразные, и мне жалко их... А почему, спрашивается? А потому, что создаётся эффект

достоверности, и художественная достоверность заставляет меня реально понимать, что нелепость, несообразность поведения иных изображаемых тобою лиц вполне соответствует несуразности времени, в котором проявляется их духовная сущность. Так ведь?

– Ну, Тациана Владиславна, это вы уж умничаете, – улыбался я (похвала её была мне приятна).

– Во всяком случае, я говорю искренно: ты интересен, потому что убедителен. Слушай, – кинула она взгляд на электронные часы на стене, – ты не торопишься?

Я неопределённо пожал плечам.

– Через полчаса придёт один абориген, который задолбал меня, ей-богу, своими «страшилками». Журналист по профессии, паразитирует на криминальной хронике, попутно промышляет рекламой – ещё тот пройдоха! И туда же – писателем себя вообразил! А насты-и-рный: его гонишь в дверь – он в окно лезет. Но сегодня я его разделаю, как заяц морковку! Хочешь посмотреть корриду? – Глаза Тацианы задорно смеялись.

Улыбкой я дал согласие. На цокающих туфельках она подскочила к своему рабочему столу, выхватила из стопки рукописей нужную. – На, почитай, позабавься. Это оч-чень современно. Читай. Через полчаса придёт. Обещаю бой быков.

Рассказ был небольшой, четыре с половиной странички, написан без грамматических задоринки, но и без малейших художественных зацепок. А главное...

– М-да, – задумчиво изрёк я, прочитав, – простота хуже воровства.

– Воровская простота! Графомания! Духовная клиника! – восторженно потрясла вскинутыми миниатюрными ручками Тациана.

Пришёл наконец Шейгин, хмурый, явно чем-то озабоченный. Поздоровался со мной. Устало сел за кофейный столик. С молчаливым вопрошанием к шефу сразу как-то притихла и Кадомцева.

– Что устались, Тациана-батьковна? Зарплаты опять не будет.

– Как, опять?! – возмущённо ахнула она.

– И гонорары авторам за следующие номера платить не будем. Сейчас везде так.

Я понял, это относилось и ко мне, если напечатаюсь. Но куда деваться, если время такое?

– И за подборку моих детских миниатюр ничегошеньки? – растерянно спросила Тациана.

– И за подборку ваших прекрасных миниатюр! – язвительно подтвердил главный. – Так что придётся вам бороться с графоманами ещё месяц-другой бесплатно.

– Но Лев Борисыч, – совсем на жалобный тон перешла Кадомцева, – у меня полным-полно не только графоманов, но и талантливых авторов. Вот Кауров новый рассказ принёс...

– Не горюйте, Тациана-батьковна. – Шейгин встал и погладил по плечу маленькую, вмиг как-то постаревшую женщину, крашенную в «дикую вишню» и стриженную «под мальчика», с задорным чубчиком, с колечком над бровью. – Настанут добрые времена, Тацианушка, и за всё мы заплатим... по гамбургскому счёту.

– Тогда хоть кофе попейте, – промямлила Кадомцева.

– И без кофе давление скачет, – отмахнулся Шейгин, направляясь в свой кабинет. У двери приостановился. – Кауров, ты ведь раньше спортом занимался? – спросил меня.

– Ну, вроде занимался. А что?

– Если не торопишься, зайти ко мне. Тему одну надо обсудить. Может, новую рубрику откроем.

Я мысленно заинтересовался: с чего бы это? Шейгин никогда ничего мне не предлагал (уж тем более вести целую рубрику). Он вообще скрепя сердце печатал мои рассказы. Чем-то не нравились они ему, чем-то раздражали... Я вопросительно взглянул на Кадомцеву: в курсе ли она? Но та как будто и не услышала, о чём сказал шеф, зато

стала на глазах театрально-магически преображаться: оказывается, часы показывали время встречи с автором очередной «страшилки», и маленькая Тациана-батьковна выросла в большую воинственную Тациану Владиславовну.

Года три назад жила она с мужем в другом городе, оба работали в литературном журнале. Оба любили своё дело. Но Дамоклов меч давно уже грозил пресечь радости и муки творческой и супружеской жизни: муж, ещё не старый, хворал, а журнал дышал на ладан. Всё случилось разом: и Сеня умер, и журнал приказал долго жить. Она впала в отчаяние. Однако списалась по интернету с Шейгиным, с которым раньше встречалась на различных форумах, печатали друг друга, и тот полушутя позвал её к себе заведомо прозы: место-де свободное (очередной сотрудник, не сработавшись с ним, ушёл), оклад, правда, мизерный... Она тут же принеслась, чего Шейгин никак не ожидал. Пришлось взять. Не долго думая она продала хорошую квартиру в своём городе, купила поплоче и подешевле в Сурграде и с восторгом принялась «бороться с графоманами и продвигать таланты». Графоманы дико возненавидели её, таланты заобожали, в том числе за быстроглазость, быстроногость (одна нога – там, другая – здесь), за кофе и пирожные, на что, правда, уходила вся её зарплата плюс кое-какие остатки от квартирной сделки. Потом у неё появился друг... Словом, обжилась.

И вот зазвонили наперебой бубенцы над дверью редакции. Тациана Кадомцева преобразилась окончательно: строгие очки в пол-лица, мужские сигареты в подмогу. Входите! Автор «страшилки» уверенно переступил порог её святилища.

Я наблюдал.

В редакцию вошёл немолодой мужчина неброской наружности, но плотный, в пиджаке, при галстуке, чисто выбритый и самоуверенный, а если приглядеться – с разномастными глазами: один цвета сухой болотной куги, другой, слезящийся, цвета мокрого жёлудя.

– Тациане Владиславне наше почтение! – почти не взглянув на меня, дамским угодником подошёл он к Кадомцевой с очевидным намерением не только осторожно взять её за ручку, но и поцеловать пальчики этой ручки.

Но заведомо только пальчики и подставила – для рукопожатия, не более.

– Познакомьтесь, – указала она на меня, – это Кауров...

– Наслышан, наслышан! – басовито перебил вошедший. – Даже, припоминаю, что-то читал...

– Ничего вы, Ковалёв, не читали, – как уставший учитель, вздохнула Кадомцева. – И журнал вы наш не читаете. Иначе... иначе учились бы мастерству, отделявали как следует свои рассказы, а не тащили первое, что выскочило из-под пера. Толстой двенадцать раз переписывал «Войну и мир», а вы...

– Не понял? Вы, что, мне опять отказываете? – вроде как изумился Ковалёв. – Я же учёл все ваши замечания!

– Вы не исправили главное – аморальность вашего героя! – строгим тоном сказала редакторша и потянулась к пачке с крепкими сигаретами.

– Погодите, вы, что, упрекаете меня?.. – На лице Ковалёва изобразились удивление и сомнение. – Но почему – аморальный?! – вдруг с театральным возмущением воскликнул он.

– Нет, вы посмотрите на него, Кауров! – Тациана закурила, дунув дымом из уголка рта в вишнёвое колечко чубчика на бровью, и с одного тона, похоже, решила перейти на другой, ироничный: – Он, видите ли, исправил! Вы помните, Кауров, вы же читали?.. Некий рыночный барыга-оболтус... – стала она пересказывать сюжет.

– Почему – барыга? Почему – оболтус? – попытался перейти в наступление Ковалёв. – Он честный, нормальный предприниматель на рынке...

– Ну да, ну да, – Тациана скинула очки, чтобы живость мимики более способствовала «разделыванию морковки», – этот честный, предприимчивый молодой человек торгует на отечественном рынке токсичными китайскими игрушками для наших детей...

– Почему токсичными? Их же на таможне проверяют!

– Потому что там, на таможне, – Тациана чуть понизила голос и погрозила-указала пальчиком вверх, как бы в небеса, – там новые Чичиковы обстрипывают свои делишки, и им за державу не обидно. Я понятно выразилась? Но не в этом суть.

– Так в чём же? Убедите меня наконец! – Ковалёв поспешил немного уступить, о чём засвидетельствовала его податливая улыбка.

Тациана глубоко затянулась сигаретой, прошла по комнате и встала в позу интеллектуального детектива (разумеется, женского, то есть левой ручкой поддерживая под локоток правую – на отлёте с дымящейся сигаретой), причём встала так, чтобы можно было обращаться равно и ко мне, и к своему оппоненту.

– Смотрите, Кауров: юный оболтус, не имеющий практических навыков в торговле... Кстати, какое у него образование? – Вопрос к автору – тот не успел ответить. – Вот видите, не знаете. А автор о своём герое должен знать всё, как Господь Бог о нас, грешных. Далее. Этот горе-предприниматель берёт под квартирный залог солидную сумму у крутых парней... А квартира, между прочим, досталась ему от матери... Кстати, а по какой причине умерла матушка? Ведь ей, очевидно, было не более сорока. – Тациана пальчиком игриво поправила мальчишеский чубчик. – Ах, при чём здесь смерть второстепенной героини? Мол, умерла и умерла, как в том анекдоте. Забавненько, оч-чень забавненько. Ну да ладненько. Автору, как говорится, виднее из своего творческого погребка. Идём далее. Итак, герой заложил матушкину квартиру, накопил отравленных игрушек... Отравленных, отравленных, – упредила Тациана возмущение Ковалёва. – Но вот незадача: глупый, бездарный, необразованный оболтус... Но я бы, знаете, сделала его всё-таки... желательнее... с высшим, современным... С современным, – подчеркнула она, – образованием. То есть, чтобы бедная мамочка, надрываясь на трёх работах, устроила своего недоросля в институт за взятку, на худой конец – на платный факультет. Разумеется, за деньги же сдавала за него зачёты, покупала ему экзамены у продажных, циничных преподавателей, тянула его из последних силёнок... Потому, наверное, надорвавшись, и преставилась, бедняжка? Но сыночку хоть бы хны! Сыночек знай себе – пиво, вино, травка, девочки. Но – облом.

– Да ничего подобного в моём рассказе нет! – возмутился Ковалёв.

– Это мы домысливаем характер вашего героя. Не перебивайте. Мы внимательно прочитали ваш рассказ, извольте и вы внимательно нас выслушать. Итак, облом: мамочка умерла, а папочка, как наш дорогой Ильич, – всё по тюрьмам да по ссылкам... Кстати, вот о ком надо поговорить – о папочке нашего героя. Простите, – вежливо обратилась Тациана к Ковалёву, – он у вас, что, диссидент? По тюрьмам и ссылкам за политические убеждения? Он, что, Бродский или Синявский? За политические убеждения у нас, по крайней мере, уже лет двадцать не сажают. Насколько я поняла, он всё-таки чистейшей воды уголовник – так ведь? Кауров, вы, конечно, помните ту замечательную сцену, где папочка-уголовник встречается с незадачливым сынком-бизнесменом?

Я помнил, потому и опустил глаза, чтобы не засмеяться. А Тациана артистически продолжала:

– Но закончим сюжет...

– Вы чего из меня дурака-то строите? – обиделся Ковалёв.

– Простите, Георгий Александрович, это вы читателя за дурака держите: пипл, мол, схавает! Не пройдёт, господин Ковалёв! – Тациана нервно затушила сигарету в кадке у подножия лимонного дерева. – Но самое восхитительное, – вновь вспыхнула она иронией, – это когда наш герой-бизнесменчик прогорел в пух и прах и крутые парни взяли его, извините, за задницу. Как последний трус, он сиганул из города на своей «шестёрке» и возле загородной свалки насмерть сшиб бомжа. И как, вы думаете, он поступил, Кауров? – (Я, разумеется, знал.) – Во-во! Он поступил как последний подлец: тут же обшарил бомжа, взял его паспорт... А зачем, спрашивается? А затем, чтобы под его фамилией начать новую жизнь и за преступление своё не загромоздить под фанфары,

ну и скрыться от крутых парней, конечно, – эти рыскают, чтобы надрать ему задницу. Каково?

– Вы искривляете мой сюжет, Тациана Владиславна, – набычился Ковалёв.

– Милый мой, – ласково и поучительно пролепетала Кадомцева, – да какая разница?

Подлость – она и в Африке подлость.

– Простите, – потряс упрямо головой незадачливый автор, – но я требую иначе понимать моё произведение.

– Как? – притворно-устало спросила редакторша, закуривая новую сигарету. – Поясните нам, малограмотным и непонимущим.

– Современно! – воскликнул Ковалёв. – Как в жизни.

– О-о-о! – заулыбалась Тациана, и мальчишеский чубчик её игриво заволновался, глаза маслянисто заблестели. – Я балдею! Кауров, я обалдеваю! Этот господин укокошил бомжа...

– Я никого не уко... не ука... я никого не убивал! – выкрикнул автор «страшилки».

Я уже не мог, чтобы не засмеяться, но засмеялся беззвучно, прикрыв лицо руками. А Кадомцева не с наигранной иронией, а, кажется, искренне возмущалась:

– Боже мой! Сшиб человека, спёр документы, прихватил деньги...

– Никаких денег у бомжа не было!

– Откуда вы знаете? Вы вообще про своих героев ничего толком не знаете.

– Это вы не знаете!

– Да мне и знать не надо! Я простой читатель и знаю только, что ваш герой – подлец: укокошил человека – и хоть бы хны! А где раскаяние, где муки совести? Родион Раскольников... Я надеюсь, вы читали Достоевского?

– Не выставляйте меня идиотом!

– Идион... Родион Раскольников, господин Ковалёв, если вы помните, пришиб маленькую, га-а-аденькую старушенцию, – презрительно на кончике пальца показала Тациана, – гниду, можно сказать, а мучился целый роман! А у вас рассказик-то в четыре странички, – не менее презрительно тем же макаром показала редакторша, – и на этих жалких, ничтожных страничках...

– Не оскорбляйте мой рассказ! – вращая выпученными глазами, вскричал автор.

– ...ни капельки, ни капли раскаяния! Но ещё более восхитительна, Кауров, у него концовка. Помните, сынок-убивец приезжает на заимку?

– На лесничий кордон, – вставил Ковалёв.

– А я говорю: на заимку.

– А я говорю: на кордон.

– «Кордон» означает «граница», и, если бы вы владели символическим письмом, у вас это место было бы метафизическим разделением добра и зла, подлости и благородства.

Ковалёв уставился на Тациану как обитатель деревенского двора на новые ворота.

– А у вас что получается? Преступник, удрав от расплаты, оттягивается у дедушки на заимке... Ах, какая жалость, что там нет ни пивца, ни винца, ни девочек! Дедушка, правда, потчует его медовухой...

– Не медовухой, а мёдом – не передёргивайте, Тациана Владиславна!

– ...а тут, если вы помните, Кауров, – то ли измывалась, то ли в самом деле негодовала Тациана, – заявляется после очередной отсидки папаша. Крутой-прекрутой, распальцованный, весь в наколках. – Тациана растопырила пальчики. – «В чём дело, сынуля? Кто тебя обидел, детка?» Так и так, папочка, – на козлиный голосок перешла Тациана, – вот такие-то нехорошие дяди меня обидели. «Да я их всех уделаю, малыш!» – Рыком изобразила Тациана уголовника-папашу. – И, будьте покойны, уделал, уделал: поехал в город, всех победил, всем такие взбучки и разборки устроил – просто мама не горюй! Разумеется, квартиру сыночку тотчас вернули, даже с денежной прибавкой – компенсация, так сказать, за моральный ущерб. А что до бомжа – про бомжа забыли: бомж он и есть бомж, не человек. Хана горемыке! Паспорт, естественно, за ненадобностью

уничтожили. И с чистой совестью занялись бизнесом, а я думаю, скорее рэкетом. Вот вам и весь сказ. Ну как, Кауров?

Я беззвучно смеялся.

Ковалёв вскочил и кинулся в кабинет к Шейгину. Тациана опередила: рыцарским мечом встала у него на пути.

– Не пущу!

Скрестив руки со сжатыми кулачками на груди, маленькая, миниатюрная Тациана остановила неугомонного автора.

– Льва Борисыча нет! – заявила она.

– А я знаю: он тут!

– А я говорю: его нет!

– А я видел его машину...

Дверь кабинета главного редактора, однако, приоткрылась. Лев Борисович тронул Кадомцеву за плечо.

– В чём дело, Тациана Владиславовна?

– Ах, вы уже пришли, Лев Борисович, а я и не заметила, – живо сфальшивила Кадомцева, отшагнув в сторону.

– Здравствуйте, Георгий Александрович! – Редактор, выйдя, вяло протянул руку Ковалёву.

– Я насчёт спонсора, Лев Борисыч. – Сейчас же приобрёл важный вид автор «страшилки», будто только что никакого дурацкого спора с заведомо прозой и не было. – Но вот Тациана Владиславна прочитала мой рассказ...

– Да, да, и я тоже прочитал... Ничего, ничего, читается с интересом, – торопясь, похвалил Шейгин. – Правда, там есть незначительные недоработки... – При этом строго взглянул на Кадомцеву, мол, помалкивай. – Но рассказ мы напечатаем, я лично сам сделаю кое-какие правки, потом с вами согласуем. Заходите ко мне в кабинет. Только извините, я сегодня очень занят...

– Нет-нет, я всего на пять минут – всё так же важно и деловито упредил Ковалёв, – я только насчёт спонсора, его условий... ну там, рекламка в вашем журнале...

– Заходите, заходите. – И, извиняясь, ко мне: – Подожди, если не торопишься.

Я кивнул.

Ковалёв не отпускал редактора не пять минут, а целых полчаса. Тем временем Тациана возмущалась ренегатством шефа. Представьте, Кауров, жаловалась она, ведь дала себе клятву, что остаток жизни посвятит борьбе с графоманами; продала замечательную квартиру с видом на Волгу; принеслась сюда, как на сумасшедших крыльях; её отговаривала, не пускала взрослая умная дочь; соскучилась по маленькому внуку, а тут...

Словом, тут вышли ещё более важный Ковалёв и несколько приободрённый, по сравнению с недавним состоянием, Шейгин.

– Всем моё почтение, – сказал автор «страшилки» теперь скорее мне, нежели Тациане, самохвально взглянув на присмирившую заместительшу всего лишь краем желудёвого ока.

Когда он вышел, Тациана Владиславовна напала на ренегата:

– Как вы можете, Лев Борисыч?! Вы – талантливый, образованный, нравственно-воспитанный в лучших традициях...

– ...отечественной литературы, – подхватил, улыбаясь, Шейгин.

– Вам смешно! Но как можно печатать это моральное уродство?!

– Да не волнуйтесь вы, всё мы поправим в лучших традициях именно отечественной литературы.

– Но зачем, зачем?!

– Чтобы вам зарплату заплатить, Тациана-бадьковна, – упрекнул маленькую женщину редактор.

– У меня рука не поднимется исправлять личное моральное уродство автора. Текст – это личность!

– Прекрасно сказано, надо записать. Кстати, Тациана Владиславовна, – редактор подошёл к лимонному дереву, у подножия которого злосчастная только что нервно задушила очередную сигарету, – вы уж извините, но... есть же пепельница.

Миниатюрная Кадомцева покраснела, как нравственная школьница, а Шейгин, похоже, решил выпороть её до конца:

– Кауров, давайте полелеем чистоплюйство нашей дорогой Тацианы Владиславовны и возьмём грех *на* душу: я бы попросил вас лично подправить текст-личность господина Ковалёва, а я вам потом немного приплачу. Там всего-то... Ну, пусть главный герой самую малость помучается совестью, зато в конце мы наградим его тем, что бомж воскреснет, то есть его отвезут в хорошую больницу, потом устроят на работу; а папа «типа ретро» пусть в тюрьму попадёт, так сказать, по следственной ошибке: советская власть – на то она и советская власть, чтобы ошибаться; зато он – бывший десантник-«афганец», а значит, круче всех бандитов, ему разобраться с ними – плюнуть раз. Делов-то, повторяю... Ну что, согласен? Заплачу по гонорарным ставкам, тем более что автору «страшилки» гонорар и даром не нужен, таким главное – напечататься. Так что соглашайся.

– Деньги – зло, а безденежье – вдвойне, – усмехнулся я (надо же хотя бы за телефон заплатить) и, виновато взглянув на Тациану, согласился.

Та, накупившись, выковыривала бычки из кадки, показывая своим видом, что все вы, дескать, предатели.

Зашли в кабинет к Шейгину обсудить новую рубрику.

Для начала Шейгин, копаясь в бумагах, мимоходом поинтересовался, про что мой новый рассказ.

– Как называется? – переспросил.

– «Письмо рецидивиста». Про одного зэка.

– Что это вас всех на зэков потянуло? Графоманы – про зэков, ты – про зэков. Тациана уже прочитала?

– Нет, я ведь только что принёс.

– Про муки совести, наверное?

– Нет, мой герой не раскаивается ни в чём, во всяком случае, внешне.

Я не стал пересказывать редактору ни сюжет, ни прочее: рассказ – на то и рассказ, чтоб читать его целиком, одним духом. Да, мой герой, по кличке Бес, не раскаивается. Но чувства его, воспоминания о детстве, о матери, о вечерних сумерках, о летнем костерке на проулке, когда на трёхногом таганке варилась в чугушке картошка, а сестра Аня несла с огорода в ситцевом подольчике мокрые огурцы... Вот эти воспоминания и зашевелились в предсмертные дни в его преступной душе, заворочались и яростно вспыхнули какой-то неземной красотой, и он как бы нравственно очистился, что ли... Вообще, я знал этого человека.

В пятьдесят шестом году группа парней из нашего села поехала на целину. Парни все здоровые, с характерами, такие пассионарии. Село как-никак их буйство придерживало. Традиционная мораль, хоть и изуродованная советской действительностью, всё же держала в узде это новое, послевоенное поколение. Но вот они дорвались до воли... Там ведь, на целине, чёрт-те что творилось! Мы-то знали про целину по фильму про Ивана Бровкина: высоконравственные первопроходцы, радость молодости и труда, культура быта и так далее. А на самом деле туда со всего Союза съехались не только комсомольцы-романтики, но и такие же необузданные, как и наши гаврики. Да кого там только не было: и рвачи, и шпана!.. Короче говоря, наши с кем-то там схватились драться и в драке зарезали кое-кого... Словом, у одного, самого крутого, как сейчас принято говорить, с той поры и пошла-поехала тюремная карьера. В общей сложности лет двадцать с гаком отсидел. И вот напоследок пишет матери письмо (я читал это письмо), содержание примерно такое: «Мама, я скоро умру. Жить мне осталось полгода, от силы год. Ты знаешь, я с детства никого и ничего не боялся. И умирать не боюсь. Не боюсь! Но я хочу

встретить смерть в родном доме. Хочу повидаться с тобой и сестрой напоследок. А ещё хочу встать рано утром, когда солнце ещё не взошло, набросить фуфайчку на плечи и пойти в огород, сорвать огурец с грядки – он такой пупырчатый, холодный, весь в росе... И пахнет, как пахнет!.. Этот запах сводит меня с ума! Мама, я душу за это готов продать. И продам, продам! У меня есть возможность освободиться досрочно, меня отпустят умирать домой. Но ты должна достать справку из сельсовета, что у тебя жилплощадь позволяет прописать меня и сама ты ещё в добром здравии, то есть сможешь ухаживать за мной. Заклинаю: сделай это! Твой Бесёнок». Такое было его семейное прозвище: шустрый и ни в чём непокорный с детства. А потом и воровская кличка стала – Бес.

Жилплощадь? Какая там жилплощадь у одинокой восьмидесятилетней старухи! Столетняя избёнка на курьих ножках, обитая прогнившим толем, вся худая-прехудая, ветер гуляет, крыша течёт. Её, бабу Настю, в последние годы внучка на зиму в город брала, а летом опять в развалюху привозила. Они же, деревенские, какие? Им в городе тошно. Им на своё гумно надо, и, пока на смертный одр не слягут, будут скотину держать, картошку сажать, лук, огурцы... Скотины, правда, у старухи, уже не было, но в огороде, смотришь, целый день ковыряется. А вечером сядет на свою провалившуюся завалинку и долго-долго сидит, до самого темна, отмахиваясь от комаров веточкой бузины. О чём она думала? Жизнь большая, тяжёлая, дети непутные: один по тюрьмам, другой спился, дочь Анна тоже... Ей уже самой помирать пора, да «смерть никак не берёт, забыла, небось, про меня», – улыбаясь, обычно приговаривала. А тут пришло вот это самое письмо от сыночка. Короче, надела она сарафан из сундука, тёмно-синюю кофточку в горошек, новенькие калоши, так как на улице была весенняя грязь, взяла батожок и поковыляла в соседнее село, в сельсовет. Пришла, калоши в коридоре сняла и в одних носках – в кабинет к председателю. «Да вы что, Настасья Дмитриевна!» А она – бух на колени! – и письмо ему от сына суёт и всё про халупу свою, мол, не худая у неё халупа, а дворец с апартаментами. Председатель с колен её поднял, усадил, письмо прочитал, помялся-помялся, но справку всё же сочинил какую надо. И сельская фельдшерица написала, что, мол, женщина, несмотря на возраст, здоровая и бодрая.

Лет пятнадцать назад я рассказал о письме умирающего рецидивиста моему тогдашнему другу, начинающему писателю Ферাপонтову, и он просто выцыганил у меня этот сюжет и накатал целую повесть, но совершенно опошил и характер героя, и весь смысл письма, обратив всё в какое-то ёрничанье. (Любопытно, что впоследствии Сеня Ферапонтов стал священником, но что-то у него не заладилось с церковным начальством на почве именно писанины; ему запретили служить, и вскоре он перешёл в катакомбную церковь, где якобы обретается и сейчас – пути Господни неисповедимы.) Да, герой мой – преступник, да, он не раскаялся... Но чувства-то человеческие он всё-таки сохранил в себе! Зачем же насмехаться? Я ощущал себя предателем, что отдал чужую душу на посмешище. Поэтому спустя годы и решил вернуть смысл того предсмертного письма, его прежний, нравственно-эмоциональный тон, хотя и оставил героя отрицательным, даже добавил, что он, собственно, продал ведь душу-то...

– Лев Борисыч, ну, почитаете, посмотрите... – отговорился я, да редактор и не собирался ничего выпытывать у меня.

– Хорошо-хорошо, я потом выскажу своё мнение. Давай о новой рубрике поговорим. Назовём её условно: «Забывшие имена и герои». Начнём со спортсменов, потом видно будет. Знаешь, из нашего края вышли и мировые, и олимпийские чемпионы, знаменитые циркачи. А сколько было талантов, по объективным причинам или по иронии судьбы не реализовавшихся.

– Вообще-то, Лев Борисыч, не реализовавшийся талант нельзя назвать талантом, – возразил я. – Это как женщина, ни разу так и не родившая ребёнка. Она может быть прекрасной любовницей, хорошим другом, человеком, но – по каким-то причинам так и не стала матерью...

– Это всё тонкости вопроса. Мы, разумеется, будем говорить о конкретных именах и героях.

Шейгин вынул из папки список, полученный им из областного спорткомитета, и стал называть фамилии, спрашивая, знаю ли я того или иного спортсмена. О ком-то я слышал, о других – вообще ничего, некоторых, впрочем, знал даже лично. И вдруг прозвучало знакомое имя – Боняков.

Боняков Александр Павлович? Неужели Санька! Какое странное совпадение: не далее как сегодня утром я думал про него и про отца его, Павла Прокопьевича. Любопытно...

Но так как имя было из второстепенного списка и Шейгин прочитал его заодно с другими, я промолчал.

– «Его называли вторым Попенченко». Это кто? – спросил Шейгин.

Я пояснил, поскольку всегда интересовался боксом. И мысленно подтвердил: да, да, Саньку именно так и называли – «второй Попенченко», боксёр-нокаутёр!

Александр Бонякову уже было под пятьдесят, но выглядел молодцом. Предпочитал носить спортивный костюм и кроссовки, очевидно, всё ещё памятуя о своём славном прошлом. С некоторых пор он стрижется «под ноль», поэтому посеребрённая щетина крутолобой головы его не очень старила, да и выбрит он всегда тщательно, лишь на верхней губе (ещё с юности) – ниточкой усики, как у крутых итальянских парней, точнее, как у Раджи Капура из фильма «Бродяга», который он подростком ходил смотреть вместе с дядей Андронимом, когда приехал заканчивать восьмилетку в город, в райцентр Черёмухово (в Чертозелье в тот год сгорела школа), и жить пришлось у тётки Наташи, младшей отцовой сестры, которая была замужем за дядей Андронимом (детей у них не было).

Сельские родственники, как в детстве ещё подметил Санька, к дяде Андрону относились с уважением, но чуточку с настороженностью, хотя характер у него, казалось, был простодушный и душа широкая. Он получал хорошую «шахтёрскую» пенсию и в Чертозелье из города всегда приезжал с гостинцами, ребячился с детьми на проулке, а в застолье любил петь. Тётка Таша была поскупее и даже несколько «чужновата», как говаривали про неё родные. И в самом деле, когда Саньке надо было учиться в городе, она не очень охотно согласилась приютить племянника. Зато именно дядя Андроним обрадовался, что Санька будет жить у них. «Ташуля, – пьяненько обнимал он недовольную супругу, – неужели тебе не надоело чалиться в одной хате со старым битюгом?» – «Отвяжись, старый чор!» – отталкивала его от себя тётя Таша. «Старый чор» (а Саньке и всем остальным слышалось «чёрт») тоже мрачнел: «Ташуля, я врагу не пожелаю того, что сам прошёл. И ты моё прошлое не трожь!..» Назревал скандал, и хозяин дома, Павел Прокопьевич, дипломатично успокаивал зятя, подливал самогонки, заводил песни. И пелись песни всей компанией душевно, широко, раздирающе по-русски:

*Бродяга Байкал переходит –
Навстречу ему родна мать.
«Ну здравствуй, ну здравствуй, мамаша!
Живой ли отец мой и брат?»*

Иногда песни заканчивались тем, что пьяный дядя Андроним вдруг начинал рыдать в голос, и его, огромного, похожего на старого плешивого медведя, некрасиво беспомощного, уводили под руки спать в сарай на свежую солому (Андрониковы приезжали в Чертозелье по три-четыре раза в год, а на Успенский престольный праздник – непременно; сельская страда к Успению завершалась, и свежая, золотистая солома была во всех дворах). Чуть свет он приходил в себя, похмельем как будто не страдал, кряжисто шёл в осенний сад, на ходу снимая рубашку, и с удовольствием плескался у студёной

колодезной бочки. Потом приводил себя в порядок, то есть старательно отряхивался от соломы, тщательно причёсывал изрядно поредевшие волосы на большой угловатой голове и, накинув пиджак внапашку, выходил на проулок, долго сидел на лавочке, курил, приветливо здороваясь и заводя разговор со всеми ранними прохожими – сельскими пастухами, сердитым матерком подбадривающими сонную скотину, доярками, идущими на ферму на утреннюю дойку, рыбаками-любителями. Мужиков старался угостить папиросами.

В это время, наспех пристегнув деревянный протез, выходил сгонять скотину и Павел Прокопьевич. «Тыря, заразы, тыря!» – ворчал, помахивая хворостинкой. Андрон, с папиросой во рту, охотно помогал ему. Если овцы или козы ерепенились, оба, шурин и зять, искусно бранились на них: Андрон с блатным оттенком: «Куда, козлиная шушера?», Павел Прокопьевич с фронтовым: «У, пеходранцы!..» Потом они уединялись в предбаннике, где у шурина всегда была на этот случай праздничная заначка, понемногу похмелялись, закусывая помидорами с грядки. А всходило солнце, просыпались гости и домочадцы, и праздник начинался заново – с песнями, пляской, случайной бранью и воспоминаниями, воспоминаниями... Да и всё Чертозелье, казалось, ходило ходуном. Весёлые толпы с гармониями перекатывались из двора во двор, из одного конца села в другой – и так три дня подряд. На четвёртый всё стихало. Гости разъезжались.

В тот год с Андрониковыми уехал и Санька Боняков. Ему было и любопытно (в райцентре Черёмухово он за всю-то жизнь раза два только был), и несказанно грустно: ведь тут, в Чертозелье, всё родное, привычное: и мать с отцом, и брат, и сестра Валя, и друзья-мальчишки с девчонками – все, все! А там?..

Зато там можно было записаться в боксёрскую секцию, а также ходить в настоящий кинотеатр, а не в деревенский клуб с печным отоплением, прогнившими полами и шаткими деревянными лавками вместо удобных кресел. Кино в клубе крутилось с перерывами по три-четыре раза за сеанс из-за плохой киноаппаратуры и нерадивости пьяненького киномеханика; а если кинофильм был интересный и зрителей полон клуб, эти вынужденные антракты сопровождалась неистовым свистом и возмущённой бранью в адрес киномеханика.

В конце шестидесятых и семидесятых годов на советских экранах в фаворе было индийское кино. Там и драки, и поножовщина, любовь и страсти, и бесконечные песни, почему-то по-особому волновавшие юную Санькину душу. После первого, про бродягу, индийского фильма Санька, в минуты уединения бродя по городу, напевал себе под нос: «Бродяга я, бродяга я, никто нигде не ждёт меня». Сентиментальному настроению способствовали и возраст, и непривычная для сельского подростка городская обстановка, и дом, где он чувствовал себя не совсем уютно (тётка Наталья была строгой и малоразговорчивой), где не жили привычный домашний шум и гам, разве что престарелые супруги вдруг начнут собачиться из-за какой-нибудь ерунды.

У тётки Натальи характер был о-ё-ёй какой! Она первая, обыкновенно резко, и заводилась. Но и дядя Андрон спуску не давал, в ответ матерился с изошрённо-блатными выражениями, и Санька, не робкий по натуре, в первое время дядьку побаивался. Однако вскорости понял (да и ранее чувствовал, когда Андрониковы приезжали в гости в Чертозелье), что за внешней грубостью и свирепостью – уж больно руглив, когда вспылит! – в общем-то скрывалась добрая и простодушная натура. Как бы грозно и искусно ни костерил он тётку Ташу (так звали её родственники и сам дядя Андрон), во-первых, он никогда не мог её перелять и при этом пальцем не смел тронуть, первый же отступал, так и не добившись своего, – всегда выходило так, как хотела супруга; во-вторых, дядя Андрон быстро забывал ссору – *отходчивый*, говорили про него, – и уже спустя какие-то полчаса после ругани – как ничего и не было, даже начинал сыпать своими бесконечными уркаганскими прибаутками. Например, стараясь приобнять посумрачневшую супругу (на что она реагировала весьма бурно и отрицательно), он, неуклюже пританцовывая, начинал петь на мотив «Семёновны»:

*Ты не стой на льду – лёд провалится.
Не люби вора – вор завалится.
Вор завалится, будет чалиться.
Передачку носить не понравится.*

– Я тебе не носила и носить не собираюсь, если опять залетишь *туда*, – отпихивая его, сердито говорила тётя Таша.

– Отзалетался, лапушка моя, – усмирялся, вздыхая, дядя Андрон. – Не приведи боже оказаться опять там. Лучше на воле – кусочек чёрного хлебца с салцом, чем на зоне – чёрную икру ложкой.

Подросток Санька уже знал, где в своё время побывал дядя Андрон: в местах, как говорится, не столь отдалённых. Ещё в детстве, совсем мальчишкой, он подслушал разговор отца Павла Прокопьевича с дядей Андроном. Оба были подвыпивши, но не так чтобы сильно.

Помнится, под вечер, проголодавшийся и замёрзший, Санька прибежал с морозной улицы, быстро поел, что подвернулось под руку, залез на печку с учебником по литературе, но скоро уснул без задних ног. И не услышал, как приехали из города на своей машине дядя Андрон и тётя Таша. (За год или два перед тем они насовсем переехали из Воркуты в Черёмухово, так как дядя Андрон заработал себе пенсию.) Мать не стала будить Саньку. «Кто спит – тот ест», – обычно на такой случай приговаривала она, а главное – жалко будить мальчишку, пусть спит. Без него гости и всё семейство Боняковых отужинали, улеглись спать, а отец с зятем при неяркой электрической лампочке (свет на село подавался от старенького «движка») продолжали беседовать на кухне в задней избе за бутылкой самогона. Однако разговор показался проснувшемуся Саньке очень странным, весьма любопытным, и, притаившись, он подслушал. Многие тогда мальчонка не понял, но после дошло до него, почему батя не сильно, но тяжело опустил кулак на столешницу и вполголоса (они вообще говорили негромко) с сердцем сказал:

– Я тебя, Андрон, не за сестру простить не могу. Баба – она и есть баба: кто послаще поманит, за тем и побежит.

– Так за что ж ты мне, Боня, простить не можешь? За моё прошлое? Я своё отмотал на полную катушку. Я был честным воров и завязал, не скурвившись.

– Это как же? – усмехнулся отец.

– А так, – как бы озлясь, стал растолковывать дядя Андрон.

Мелькали странные и какие-то страшные слова: тюрьма, зона, лагерь, урки, воров, мужичьё, суки, фраеры...

Всё это будет Санька слышать и потом, живя в городе у Андрониковых. Подростку на всю жизнь запомнятся картины, когда дядя Андрон приходит домой пьяным (а выпивал он довольно-таки часто); тётка Таша с досадой бросает ему: «Опять напоролся, сволочь! Вот мыздануть тебя по плешивой башке!..» Но дядя Андрон, разумеется, не боится и не обижается, наоборот, пытается обнять и поцеловать её, но супруга с отвращением отпихивает его, продолжая привычно брехать; тем не менее, тяжёлого, пьяно-неуклюжего, сажает его на табуретку (Санька помогает ей), раздевает, при этом продолжая как-нибудь обидно обзывать. А дядя Андрон хмельно смеётся и громко цитирует Есенина:

*Ты меня не любишь, не жалеешь.
Разве я немного не красив?
Не смотря в лицо, от страсти млеешь,
Мне на плечи руки опустишь?*

– Молчи уж, блажь несусветная, – чуть мягче и с еле заметной усмешкой говорит тётка Таша.

«По-чертозельски» *блажь, благой* – означает «некрасивый», на что дядя Андрон возражает тем, что горделиво через плечо указывает на фотокарточку в рамочке на стене над кухонным столом, где оба они, дядя Андрон и тётя Таша, сидят приобнявшись. Это Воркута, пятидесятые годы, тётке всего лет тридцать, она царственно красивая, с высокой, наверное, модной причёской, и одета по-городскому (молодые деревенские женщины даже в праздники так не одеваются, хотя стараются по возможности приодеться в самое лучшее – но куда им до тётки Натальи!). И на дяде Андроне замечательный костюм – наверное, бостоновый. Он явно старше тёти Натальи и, конечно, не такой красивый. У него уже прорежены волосы на медвежьей голове и губы толстые, пучком. Зато плечи – будто печь в углу раскорячилась! Он вообще похож на какого-то иностранного артиста, играющего бандитов-мафиози. И таким он нравился Саньке.

– Разве я урод был?! – восклицает дядя Андрон. – Разве меня бабы не любили?! Гляди, какой жиган!

Тётка ухмыляется:

– Жиган мне нашёлся: тебе уж тут пятый десяток, чудо в перьях!

Дядя Андрон грубовато отталкивает её, встаёт и, упёршись ручищами в столешницу, начинает упорно всматриваться в фотографию.

– Г-м... Ну пускай не жиган... Зато уркаган хоть куда! – поправляясь, не сдаётся дядя Андрон.

– Уркаган он! – опять перекиривляет тётка Таша. – Ты когда меня привёз в Воркуту-то? Ты кто был – блатарь, что ли? Так бы я и поехала с тобой, с ворюгой. Сам же всё рассказал про себя, когда сманивал. Доверилась, дура безголовая! – упрекает то ли себя, то ли мужа тётя Таша.

Но дядя Андрон не обращает внимания на её упрёк, а туго соображает: права супруга или не права? Да, пьяно соглашается он, права: тогда он уже в завязке был. Фраер, в натуре, мужик воровской. Но – вновь горделиво вскидывает глаза на фотографию – разве он благой здесь?

– Санёк, – обращается к племяннику, – разве я не похож здесь на настоящего мужчину? Э-эх, Ташуля! – с обидой восклицает дядя Андрон и затягивает в укор супружнице воровской романс:

*Ты не за это меня полюбила,
Что кличка моя Уркаган,
А ты полюбила за крупные деньги,
Что часто водил в ресторан.*

Песня длинная-преддлинная, там, как и в индийском кино, тоже и ножи, и пистолеты, и роковая предательская любовь – словом, известная романтика. Тётка Таша тем временем терпеливо раздевает мужа до трусов и майки, он не сопротивляется, только поёт и поёт, вкладывая в песню всю свою сивую душу:

*Я не послушал совета разумного,
Вынул из шкафа наган,
Сунул за пазуху, сам улыбнулся,
Тебе ничего не сказал.*

Дядя Андрон мало-помалу начинает всхлипывать и поскрипывать зубами:

*Я уходил, ты дверь закрывала:
«Милый, куда ты, куда?
Если уйдёшь, то вернёшься не скоро,
А может и быть, никогда».*

И под конец песни горько-прегорько рыдает. Тётя Таша и Санька с трудом ведут его, обвислого, бесформенного, в горницу, укладывают на кровать, и на какое-то время он успокаивается, лишь тяжело вздыхает.

А потом включается привычный «сеанс»: дядя Андрон в своём воображении начинает бесконечную «сучью войну».

– Мужичьё, – кричит он на весь дом, – по нарам, падлы, по нарам! Угро-о-о-хаю!..

И всё это «кино» продолжается час, два, а то и более. Затем бывший урка мертвецки засыпает, а тётка Таша вполголоса, с оттенком упрёка обращается к образам в своей спальне:

– Господи, когда ты разведёшь нас наконец? Как я устала!..

Утром дядя Андрон встаёт как ни в чём не бывало. Бодро драит свои крупные, с желтизной зубы, сильно прорезанные лагерной нержавеющейкой, мурлычет какую-нибудь народную или блажную песню или же декламирует своего любимого Есенина:

*Вечер чёрные брови насопил.
Чьи-то кони стоят у двора.
Не вчера ли я молодость пропил?
Разлюбил ли тебя не вчера?*

Декламирует, и нет в его голосе как будто ни тоски, ни надрыва, но...

*Не храни, запоздалая тройка!
Наша жизнь пронеслась без следа.
Может, завтра больничная койка
Успокоит меня навсегда.*

Спустя три-четыре года больничная койка (шконка, как называл он её по-тюремному) и вправду навеки успокоит его: он умрёт от рака желудка, высохши, как лагерный доходяга – прошлое даром не проходит. «Это мне за мужицкие передачи», – умирая, по сути, с голоду, покаянно говорил он. Но это будет потом, а сейчас он бодр и жизнерадостен, скоренько начинает готовить завтрак: чай, яичницу, бутерброды.

– Ташуля, – весело зовёт к столу супругу, – вставай, барулечка, а то проспичь всё царство небесное.

– Отстань, ну тебя к бесу, – ворчит из постели тётка Таша. – Опять до полночи с сучьём своим воевал. Мальчишку, поди, напугал до смерти.

– Напугаешь их! – Дядя Андрон торопится будить Саньку: – Санё-о-ок, вставай, фартовый, а то в школу опоздаешь и чай прокиснет. – А за завтраком потихоньку, чтоб не услышала тётка, поучает: – Ты, Санёк, на меня на пьяного внимания не обращай, и чего я горожу – в ум не бери. Это всё дурная жизньюга моя. Никому такой не пожелаю. Ну, давай метай почаще, а то и вправду опоздаешь. Ты, Санька, старайся хорошо учиться – человеком будешь. Я и то техникум закончил.

– Какой ты техникум закончил? – острая на слух, вторит из своей спальни в приоткрытую дверь тётка Таша. – Тебе и учиться-то некогда было: одни пьянки да дружки-зэки. Купил – так и скажи.

Начинается утренняя перепалка. Санька спешит уйти.

Иногда ссоры между супругами происходили на иной почве. Рано поутру или среди ночи, когда Санька, как казалось дяде Андрону, спал, супруг шёл в спальню к супружнице и начинал *приставать*...

– Отвяжись, старая образина! – шипела тётка в ответ. – Не хочу с тобой скотиниться! Завтра в церковь иду.

– А мне до лампочки твоя церковь!

– Отстань, говорю, охламон противный! Мальчишку разбудишь, – не поддавалась тётка.

И неудовлетворённый супруг, тихо матерясь, уходил на свою сторону, ложился, закинув за голову большие, смуглые, широкозапястные руки, под волосатостью которых прятались тюремные наколки, утробно вздыхал и негромко, но так, чтобы супруга слышала, ворчал:

– Сколько баб у меня было, сколько баб – море! И вот попалась жиронда, которая всю жизнь мне испортила, стерва.

– А ты – мне, дурак косматый! – дерзким шёпотом вскидывалась та. – Баб у него море! Да у тебя бабы-то одни шалавы и воровки были!

Но дядя Андрон, как бы не слыша её (вообще-то он и был немного глуховат), продолжал жаловаться неведомо кому:

– Вот богомолка, вот монашка мохнатая... – И грозился: – Ну, погоди, придёшь из церкви, я тебе богадельню-то взлохмачу!

– Молчи уж, чудо-юдо!

– Ну, жиронда, ну, припомню!..

Мало-помалу супружеская брехня стихала. Санька тоже засыпал или, наоборот, окончательно просыпался.

А дяде Андрону утром не пелось, и стихи не читались, и был он угрюм, и завтрак Саньке готовил с неохотой.

В выходные дни, если погода на дворе была хорошая и подросток не уезжал домой в Чертозелье (а он очень скучал по родному селу), они с дядей Андроном либо чинили изгородь, или что-нибудь по плотницкой части делали во дворе. Но тут у них обычно начинался раздор. Саньке хоть и было четырнадцать лет, но, с детства помогавший отцу столярничать, он и сам уже хорошо владел ножовкой, стамеской и прочими инструментами, а главное – у него было хорошее соображение, как лучше и правильнее сделать, тогда как у дяди Андрона это умение напрочь отсутствовало. Когда тот гнул своё, а Санька настырно стоял на своём, тётка Таша, слушая их спор, вставала на сторону племянника:

– У тебя же руки из задницы растут, урка из пьяного переулка! Ты что же, не соображаешь, что ли, – лезла в мужские дела, – если ты эту дощечку сюда приколоматишь, то и чего же получится? Аль уж все мозги свои пропил, чор ты старый?

«Старый чор» (то есть «вор», по-блатному) зверски выпучивал свои с красноватыми прожилками глаза.

– Да идите вы (к такой-то матери), Боняки настырные! – взвинчивался в один момент. – У тебя отец – Боняк, – кричал он на весь двор Саньке про его отца, Павла Прокопьевича, – что в башку ему втемяшится, клином не вышибешь! И ты такой же – у-у-у, Боняк настырный! – Тыкал пальцем в племянника, оборачивался к супруге: – И ты такая же, одна у вас порода! Идите вы!.. – И опять посылал куда подальше, и уходил в дом пить чифир (чифирил он обычно, когда разнервничается, а так не употреблял). Тётка Таша, если в настроении, смеялась вслед ему:

– Вот чумурудный! Всех приплёл. Ну, не чумурудный разве?! Ну, дуrolом!

А дядя Андрон, отхлебнув чифирку, скоро выходил совершенно спокойный, напевая свои бесконечные уркаганские песни, типа:

*Не любил я в ту пору крестьянскую жизнь,
Ни косить, ни пахать, ни портняжить,
А с весёлой братвой под названьем шпана
Полюбил вниз по Волге бродяжить.*

– Во-во! – подначивала тут же супруга. – Всю жизнь только и знал, что склады и магазины колупать, а другому ничему и не научился.

– Дурёха, – миролюбиво возражал дядя Андрон, – сколько я в шахте угля наколупал – три зимы целый город отапливать можно!

И с гордостью добавлял, что он от простого шахтёра до бригадира и даже чуть ли не до мастера дошёл!

– Ой, мастер нашёлся! Тебя мастером твои же урки и поставили.

– Ну тебя к лысому, – отмахивался дядя Андрон, – тебя же, настырную, не переспоришь! Санёк, – обращался к племяннику, – спроворь-ка в магазин, а то у нас на обед хлеба нету. – Протягивал полтинник и добавлял: – А на сдачу мороженого себе купи или лимонаду.

– После обеда доделывать будем? – с неохотой спрашивал Санька.

– Ну его, этот забор!.. – отмахивался дядя Андрон. – Стоит он и стоит. И ещё сто лет простоит, на мой век хватит. Пойдём лучше в кино. Сегодня в кинотеатре «Бродягу» показывают. Натусь, – обращался к супруге, – помнишь, в Воркуте ходили? Народищу – уйма! Пойдёшь с нами?

– Я на вас, бродяг, там вдосталь насмотрелась, на всю жизнь сытая. Не пойду! – отрезала тётка, уходя в дом.

– Вот мырма! – с беззлобной досадой говорил дядя Андрон. – Ничем на мырму не угодишь. Ну и хрен с ней, с матрёной! Беги, Санёк, за хлебом, а потом на «Бродягу» пойдём. Молодость вспомним... – И, прибирая инструменты, напевал:

*Бродяга я, бродяга я,
Никто нигде не ждёт меня.*

Фильм Саньке ужасно понравился. Особенно главный герой, с тонкими усиками над капризной губой. Потом, когда Санька тоже слегка оперится, он станет носить именно такие...

Не только со спортивной карьерой, но и с профессией как-то не заладилось у Бонякова. Хотя вроде и закончил он когда-то строительный техникум, но на стройке в последние годы работал кем придётся. Впрочем, время такое было – всё кувырком. Кстати, подолгу Боняков нигде не задерживался. Увольняли, как правило, за пьянку, скандалы, а то и за драку (случалось, бивал и мастеров с прорабами), но под конец всегда умудрялся сгладить о себе дурное впечатление и получить в трудовой книжке запись: «по собственному желанию».

Не столь давно опять устроился на новостройку, благо после мёртвого сезона так называемых реформ жизнь снова закипела, но немолодому уже Бонякову радости особой она не прибавила. Он чувствовал, что стал стареть, не физически – он был всё ещё в хорошей форме для его возраста, – а душевно. Душа стала уставать. А с усталостью всё чаще накатывали внезапное раздражение, какая-то злость и отчаяние, с примесью некоего цинизма. Алкоголь всё это обострял.

Иногда и в манерах у него проскальзывало что-то навязчиво блатное, хотя в тюрьме, по сути, он не сидел (КПЗ в юности – не в счёт, а после... так, бочком на нарах месячишко и год на «химии» – это когда работал кладовщиком во время всеобщего дефицита и не сладился с одним молодым «обэжэссником»). С расплодившимися бандитами он тоже особой дружбы не водил, разве что с племянниками-рэкетирами, но он их, щенков, слегка презирал, хотя парни крутые, весь Пригородный посёлок в руках держат, да и в самом Сурграде, облцентре, их имена-кликухи (Кубинец – у старшего, у Олега, и Тесак – у младшего, у Ромки) уже на слуху. Далек пойдут, щеглы, если вовремя не остановить, с грустью усмехался про себя Александр, невольно вспоминая тот давний-предавний ночной разговор отца Павла Прокопьевича с дядей Андроном.

– ...Я её не силком взял, – говорил дядя Андрон про тётю Ташу. – Сам знаешь, как это бывает. Снюхались, и... пошло дело.

– Она и мужика-то добром не узнала, – очевидно, пожалел сестру Павел Прокопьевич, дымя сигаркой (папиросы он не курил – «не брали» его). – Только они с Василием расписались (она молоденькая совсем была, их и расписывать-то даже не хотели), а тут уж война шла, сорок третий. Через сколько-то его взяли – и шабаш. А Наталья, знаю, любила его.

– Бабы – они любят, когда ты при деньгах. Бывало, колупнёшь склад с мануфактурой удачно – и соришь ими, как соломой! И бабы на тебя как мухи липнут.

– А если неудачно? – чуть усмехнулся отец.

– Тогда другой курорт: Беломорканал, Норильск–Игарка.

– Говорят, Андрон, ты за убийство первый раз сел? – страшную фразу сказал Павел Прокопьевич, и Санька на печи съёжился в комочек.

– Лажа, враньё! – тихо, но с сердцем сказал дядя Андрон и стал оправдываться.

По его словам выходило, что, когда в начале тридцатых был голод, он, как и многие из села мужики, парни и девки, подался на заработки. Тогда уезжали кто в Астрахань, кто на Дальний Восток, кто в Баку. В Баку у Андрониковых была родня, и он поехал туда. Устроился моряком на баржу. Зарабатывать стал неплохо. Присылал деньги и посылки своим в Чертозелье. Но подошёл срок – в армию. По обычаю, устроил он во дворе проводы-гулянку. Баку в те годы город был разношёрстный. В одном дворе, в одном доме, в одной квартире-коммуналке жили и русские, и азербайджанцы, и евреи, и армяне – кого только не было! Жили, однако, вполне дружно. Но на проводах по пьянке драка всё же случилась. Дошло и до крови.

– А у нас в доме еврейская семья жила, – рассказывал дядя Андрон, – вот они и вызвали милицию: они же крови боятся...

– Кто?

– Евреи.

– С чего-то они боятся? – недоверчиво возразил Павел Прокопьевич.

– Религия у них такая.

– При чём тут религия? Со мной в разведке Давыд Бауман служил, худенький, но тягущий и шустрый парень, немецкий хорошо знал; когда «за языком» или в тыл пошлют, его обязательно брали. И когда мне ногу в Польше отсобачило, он меня и перевязывал. Не замечал, чтобы он крови боялся. Чего её бояться? Сколько мы её повидали!..

– Боня, поверь мне, я тоже повидал немало.

– Во-во, ты сторожей и милиционеров глушил, а мы в окопах немцам глотки кромсали! – со злостью сказал Павел Прокопьевич. – Вот этого, Андрон, я тебе и не могу простить. Ты тут ворованной мануфактурой торговал и баб тискал, а мы там вшей кормили и свою кровь проливали.

Между хозяином и гостем не очень громко вскипела словесная перепалка, но оба быстро умолкли. Помолчали. Потом дядя Андрон стал рассказывать про свою жизнь, и отец, не перебивая, слушал, иногда только вставлял вопросы.

Выходило, что посадили тогда дядю Андрона не за нечаянную драку, а по политической статье: за дискредитацию Советской власти. «Это что тебе, сволочь старорежимная, – крыл его на допросе следователь, – старые времена, что ли, когда в солдатчину насильно забривали?! Ты в Красную Армию идёшь – гордиться надо! А ты, ублюдок, как царский рекрут, проводы устроил с воплями и поножовщиной! Может, дезертиром хочешь стать?!»

Словом, вlepили дяде Андрону пять лет и – на Беломорканал.

Вот там-то народ истинно как мухи мёр, рассказывал он. Но связался парень с блатными и выжил. Молодой, сильный был и бесстрашный. А года через два совершил побег: присыпали их с напарником дружки землицей под вечер, а ночью выкарабкались

и дали драпака. Ну и началась воровская жизнь. Перед войной опять в тюрьму попал. Дали червонец. Сколько зон и лагерей сменил! Но везде теперь шёл за вора. А воры в тюрьмах и лагерях – господа над простыми мужиками. У них привилегии. И передачи им отдай, и работать их не заставишь.

– Разве что зимой на лесоповале, замёрзнешь, бывало, – рассказывал он, – топоришко в шутку возьмёшь, срубишь бревёшко, чтобы разогреться, – и опять у костерка. Закон такой, правило такое. А мужиков там, которые ни за что ни про что сидят, о-ё-ёй сколько!

– Ну, ни за что ни про что не сажали, – возразил Павел Прокопьевич. – Я по нашему селу не припомню, чтоб кого-нибудь ни за что ни про что посадили. Вот опосля войны у нас показательный суд был. Да ты, поди, слыхал? Чернову, Бутову, Оське Калякину, Рыжему и Федьке Пронькину впаяли не дай бог как! А разве ни за что? Чернов и Бутов – сельсоветчики, Оська и Федька – у торговли. Сговорились и через сельсовет выписали на колхоз сбрую, телеги, колёса, а привезли с комариный укус, остальное всё продали, пропили, а остатние деньги меж собой поделили. Смухлевали – вот им и припаяли как положено. И заметь: все ведь, кроме Рыжего, фронтовики. А Иван Чернов, как и я, даже без ноги с войны вернулся, а тоже на полную катушку получил.

– Ну, так чего же его Советская власть не пожалела? Он за неё кровь проливал, а она ему за лошадиный хомут – восемь лет!

– Мы, Андрон, не за Советскую власть воевали, а вон за них – за баб, за детей... А ежели насчёт власти, то она меня не обижает: дом вот помогла поставить, пенсию какую-никакую платит, ребятишки учатся, всё вроде есть, с голоду, как видишь, не умираем.

– Вам бы только с голоду не помереть – одна забота.

– А у тебя на беломорканалах и в воркутах другая была?

– Я, Боня, и поголодал, и помучился за свою непутёвую жизнь, но и погулял!

– Во-во, погулял. А чего же ты на фронт-то не попросился?

– В штрафбат?

– Почему же в штрафбат? В маршевую роту. Насколько знаю, добровольцам сразу судимость списывалась – и воюй как все. А хоть бы и в штрафбат. Видал я и штрафников – ничего, тоже воевали ребята, но там больше офицерё, а не ваш брат. Оно, конечно, на лесоповале у костерка-то попроще. А у тебя ведь и сёстры тут, и мать с отцом, а немец-то под Тамбовом уже стоял. Молчишь?

Дядя Андрон молчал. Потом сказал упавшим голосом:

– Что правда, то правда. Говорили мы между собой: лучше в лагере попробовать выжить, а на войне точно уgroхают. Я на Севере потом опять побег сделал. Чуть не замёрз в тайге. Взяли и ещё срок добавили. Когда оклемался, думаю: либо тут сгинуть, либо на фронт попроситься и по-человечески умереть. Посоветовался с дружкой, Цыгарем, у него тоже такие же мыслишки бродили. Отчаянный был! На цыгана похожий. Но пораскинули мозгами: мы – воры-рецидивисты, у меня два побега, у него тоже подвигов полный загашник. Не поверят нам. И на фронт не отправят, и слух по лагерю пойдёт: скурвились воры. А это, Боня, похуже, чем штрафбат. У нас свой закон: в армии не служить, с властями, с начальством не якшаться. А подсучился – не вор ты, перо тебе в бок, или иди в мужицкую масть. А те тоже тебе припомнят, кем ты был. В сорок шестом эта война-то и началась. Бывшие блатные её начали, которые из лагерей на фронт ушли, но уцелели, а потом опять за старое взялись или ещё как в лагерях оказались. Вот через них эта резня и понеслась. Они, «вояки», снова в блатняк захотели, а для нас они уже *суки*: раз на фронте был, за Советскую власть воевал, значит, ты – сука.

– Эх, Андрон, нелюди вы какие-то!

– Закон такой, Боня. Не я его придумал.

– Да рассказывал Чернов, как вас, урок, мужичьё-то утюжило после войны! – с мстительностью в голосе сказал Павел Прокопьевич.

– Да, кровищи было море. Из нашей воровской кодлы только я да ещё двое выжили. Моего дружка Цыгаря железными прутьями размесили так, что узнать было нельзя. Меня

спас Шабёр (кличка такая), тоже фронтовик, десятником у мужиков числился. Незадолго перед тем наши, блатные, хотели его на перо поставить, а я предупредил мимоходом: поберегись, говорю, Шабёр, приговорили тебя. Не знал, что в одну из ночей суки с мужиками разом поднимутся – и пошла месиловка! Говорят, краснопёрые всё это подготовили по всем тюрьмам и зонам по указу то ли Берии, то ли самого Сталина. И до этого стычки были, но тут – кровища рекой! Меня тоже всего искромсали, исколошматили (одно ухо с той поры недослышивает), но Шабёр не дал добить. И после, когда я оклемался – здоровье всё же лошадиное было, – меня в Воркуту, на шахты этапом.

– Работать вору запахло, – продолжал рассказывать дядя Андрон, – а выживать надо. На сходках стали блатные выдвигать в бугры своих авторитетов (раньше, по их закону, это запрещалось), а те, естественно, потом прикрывали и отмазывали воров. Но в пятидесятых за них по-другому взялись, без резни: учинили вора *подписку* – отрекаюсь, мол. А не подпишешься – в Бухенвальд, в особую зону, а там – кранты. Некоторые дали согласие пойти в завязку и отреклись от воровской жизни, некоторые подписались для блезиру, и лишь немногие, самые упорные, отказались отречься от своей веры.

У дяди Андрона к тому времени срок заканчивался. А было ему уже под полтинник. Куда – на волю, на поселение идти? За старое приниматься, склады колупать? Да опять когда-нибудь спалишься. Пожить бы напоследок по-человечески, думал он. И решил тоже завязать и на той же шахте остаться вольнонаёмным, заработки хорошие. Куму намекнул про это. Тот уважал авторитетного вора. Подписывайся, говорит, и оставайся. Только смотри, как бы тебя свои же и не чикнули. Но дядя Андрон рискнул. И сделал по воровскому правилу: на сходняке заявил, что честно завязывает – не вор он больше! Решайте!

А перед тем его короновать хотели. Но после такого заявления... Впрочем, всё обошлось, вору большинством голосов отпустили его. Но некоторые пригрозили: мы тебе ещё припомним, Якорь (это кличка у него была, по первой наколке на руке – память о Баку)! Так он и остался на шахте, потом стал помощником мастера, получил квартиру, доработал до пенсии.

А сразу после сходки, после срока, приехал он в Чертозелье – двадцать пять лет пропал! – повидаться с родственниками. Мало кто знал, где носила его судьба. Слышали звон, да не знали, где он. Шахтёр и шахтёр.

Тётке Наталье тогда было лет тридцать. Замуж так никто и не взял её, хотя и красавица. Женатые мужики пощупывали бабёнку, и начальство позыркивало на вдову, но замуж – нетушки. Тут и подвернулся ей бывший вор-рецидивист. Нехороший слушок всё равно похаживал по Чертозелью про Андрона. Но «шахтёр» вёл себя культурно, пил немного, по-блатному не очень выражался. Охотно угощал сельских девок шоколадными конфетами на вечерках, куда иногда заглядывал, но особенно никому глаза не мозолил (в его возрасте по посиделкам – стыдно уже). Однако Наталью Бонякову так-таки охмурил. И однажды, не посоветовавшись с братом и другими близкими родственниками, пошла она в сельсовет, вытребовала справку, чтобы получить паспорт, собралась и уехала с Андроном в Воркуту. По пути расписались они в райцентре. А как ей жилось со «старым чором» все эти годы, догадываться можно было только из обрывков бабьих разговоров.

– Да я не жизнь жила, а как в фарье гнила! – однажды с горечью сказала она Дарье Васильевне, Санькиной матери, и долго жаловалась-рассказывала про себя и дядю Андрона.

Когда они приехали в Воркуту на шахту, Андрон с настоящими блатными уже не якшался. Но тюремщики – они есть тюремщики, с негодованием говорила тётка. На квартире – вечный кильдим: вино, карты, бабы. И когда за мастера стал – то же самое. Не квартира, а проходной двор. Как очередной зэк освобождается – куда, к кому идти? К Андронику. Правда, у него тоже железные правила были: если кто вышел на волю, но тут же что-то натворил и при этом заявился к бывшему рецидивисту, и не дай бог следом милиция, – убьёт. Сам, может, и не тронет, а дружков подговорит – и убьют. Другое правило: никто не смел лапать его жену.

– А чего же детей-то не завели? – спрашивала Дарья Васильевна.

– Да сперва какие там дети – я привыкнуть не могла. Не раз хотела сбежать от него. Но куда? К вам? В нищету? В грязь? Чего я тут видала? Лапти, онучи... юбку из холстины мать по праздникам только и разрешала надеть. В войну – голод, после войны – голод, в пятидесятых – хлеба не вдосталь. Сейчас, смотрю, вы хоть получше стали жить. Я и сама только в Воркуте наелась досыта. А потом уже стала и привыкать к городской жизни. У него и денег полно, и наряды мне всякие накупал. Каждый выходной – в рестораны, в кино, на вечеринки; каждое лето на курорт ездили (шахтёрам, особенно северным, почёт был). А дети?.. Да ему как будто детей и не нужно было. И боялся он всегда кого-то. Даже ружьё себе купил, хотя на охоту ни разу не сходил. Какие уж там дети! А потом, когда сюда переехали, от дружков, от зэков, совсем отвязались – у меня уже возраст. Бабий век – он недолгий. А если по правде: не любила я его. Детей надо от любимого мужика рожать. У тебя Пашка хоть и без ноги, а я вижу, как ты ухаживаешь за ним, а на гулянках смотришь на него как на парня молодого. Мне Бог этого не дал. Первого, Василия, любила, а этого, ворюгу, иной раз до смерти ненавижу! Да куда деваться?

– Но ведь, поглядеть со стороны, – успокаивала Дарья Васильевна Наталью, – он любит тебя.

– Да какая мне радость от этого? Иной раз руки бы на себя наложила.

– Будет тебе! Всё у тебя есть...

– Счастья у меня нет, Даша. Глаза бы мои на него не глядели, постылого. Иногда хочется, чтоб натворил он чего и его опять посадили, – сквозь слёзы говорила тётка.

– Ой, Наталья, типун тебе на язык! Он и так, поди, насиделся. И ты – чего ты без него будешь делать? Пенсию не заработала, профессии – никакой.

– В уборщицы пойду, – всхлипывала тётка.

– Перестань.

Санька подслушивал этот горький бабий разговор, и ему было жалко тётку Ташу, вообразить её, красивую, нарядную, простой уборщицей с грязной тряпкой в руках Санька как-то не мог. Но и дядю Андрона тоже было жалко. Дядю Андрона даже больше. Что ж она его так не любит? Даже опять в тюрьму хочет...

Смешно и грустно, но незадолго до смерти бывший рецидивист и в самом деле чуть не угодил снова на тюремные нары.

Шёл он как-то домой. Стояла жара. У стадиона, напротив ресторана «Берёзка», продавали разливное пиво из жёлтой ржавой прицепной бочки. Червилась очередь. Пристроился в хвост и он. Тут подвалили трое парней и полезли вперёд. Мужики запротестовали, но не так чтобы сильно. Андрон же ухватил одного за плечо и вышвырнул из очереди (всё ещё крепкий был он). Тогда все трое вытеснили его из толпы и стали мордовать со всех сторон. А у старика в кармане лежал перочинный нож, небольшой, но хорошо наточенный, и, когда кто-то из очереди заступился за него, ему хватило времени вытащить нож и хватануть одному из парней по шее. Благо, только немного задел вену. Приехали «скорая помощь» и милиция, парня увезли в больницу, Андрона – в КПЗ. Через пару дней выпустили под подписку о невыезде и завели следствие. Дело запахло сроком.

О, не хотелось бывшему вору на старые нары! Но и упрашивать пострадавшего забрать заявление он не хотел, как слёзно ни просила его об этом супруга: не мог переломить в себе гордость бывший уркаган. К счастью, вернулся с зоны в это время двоюродный брат Натальи Прокопьевны, такой же непутёвый, как и Андрон. Тоже тюремщик ещё тот! Это про него я написал рассказ «Письмо рецидивиста».

Да, да, в пятьдесят шестом, когда прозвучал всеобщий призыв на целину, молодёжь буром поперла в Казахстан. А бардак там и вправду был невозможный. И трое отпетых чертозельцев тоже дел натворили: взяли кассу, искалечили охранника и, пока их ловили,

набедокурили разное. Все получили по заслугам. Двое отсидели небольшие сроки, вернулись, женились, и вроде ничего. А третий, тот самый Бес-бесёнок, пошёл по тюрьмам и зонам шататься. Лет шесть-семь отсидит – приезжает домой погулять, с матерью, с роднёй повидаться. К слову сказать, ни драк, ни скандалов на родине тоже не чинил. Погостит месячишко и сгинет опять. Скоро слышно: новый срок мотает.

Он-то, в отличие от земляков, хорошо знал, кто такой в прошлом Андрон, погоняло которого – Якорь. Лагерный мир при российской необъятности, оказывается, тесен. Встречал Бес там несломленных дружков Андрона, старые все уже, матёрые. Всякий раз, возвращаясь на родину, Бес непременно заезжал к бывшему вору (формально – к сестре). Пили, чифирили, горланили лагерные песни, полушутя играли в карты и, разгорячась, переходили на свой язык, который даже Наталья Прокопьевна, повидавшая в воркутинской жизни немало таких же блатарей, плохо понимала. Якорь иногда расспрашивал о порядках на зоне. Порой хмурился, не одобряя новшества: «В моё время не так было». А когда однажды Бес передал ему с улыбочкой приветик от одного авторитетного урки, заволновался Андрон, как бы испугавшись чего-то. Но справился с собой и сказал спокойно: «Встретишь опять, передай ему тоже моё с кисточкой. Если надумает приехать в гости, встречу как надо». Бес ухмыльнулся, он знал: авторитетный вор с воров в завязке встречаться не будет, разве что рассчитаться за что-то, но и Якорь зубы просто так не подставит.

Когда Бес заявился к родственникам на этот раз и узнал, что случилось, Наталья Прокопьевна съехидничала:

– Готовь теперь старому нары помягче.

Бес хохотнул, Андрон матернулся. Выпили, поговорили, но не так, как бывало: без песней и добрых споров.

– Не хочу на старости лет зону топтать, – признался Якорь.

– Да и очко, дядя Андрон, не железное? – как бы на что-то намекнул урка.

– Я хоть давно уже не вор, но за фраера меня не держи.

– Да ладно тебе бухтеть. Хочешь, я всё улажу с этими бакланами?

– Не впрягайся, Николай, – устало ответил Якорь, – может, всё утрясётся. Я одного боюсь: копнут моё прошлое – амба!

– Да уж, возьмут за хибот – не отвертишься, – невесело ухмыльнулся Бес. – А может, срок давности?..

– Для таких, как ты и я, срока давности нет, – с тоской сказал Андрон.

А Наталья Прокопьевна, присутствующая при разговоре, тихо заплакала.

– Дай мне адресок этой шелупони! – потребовал Бес.

– Брось, Николай! И сам погоришь, и мне хуже сделаешь.

– Всё будет в ажуре. Век воли не видать, пальцем не трону. Потолкую только с пацанами, и – ша!

Адреса потерпевшего и его дружков (один, кстати, не столь давно сидел за хулиганство) Андрон дал Бесу, и о чём тот с ними «толковал», неизвестно. Только на суде они вели себя совсем не нагло, как сперва, на очной ставке. Дело уже было передано в прокуратуру, и остановить процесс было нельзя. Но всё кончилось благополучно: в подноготную бывшего вора никто, по счастью, не заглянул, потерпевший и его дружки мямлили, мол, сами виноваты – словом, всё обошлось. Старику дали год условно.

И через год он умер. Перед смертью плакал и просил прощения у супруги Натальи. Плакала и она и тоже просила прощения. Вот так, примирённых, Бог и развёл их наконец. На похоронах родственники искренне горевали об Андроне Андроникове. И шурин Павел Прокопьевич, сам уже одной ногой в могиле, помянув как следует зятя, тоже душевно плакал.

Когда младший сын Павла Прокопьевича, Санька-боксёр, устраивал очередной дебош в Чертоземье, кто-нибудь из стариков обязательно замечал: «Да он вылитый Панок покойный в молодости!» – «А в кого же ему быть? Не в Дарью же? Энта баба тихая была, приветливая. Старший, Николай-то, в неё». И при этом, как водится, вспоминали всяческие забавные истории про Павла Прокопьевича.

Однажды, где-то в конце семидесятых, когда оба сына его уже прижились в городе (Николай только женился, работал мастером на заводе, Санька заканчивал техникум и готовился к очередным соревнованиям по боксу), а дочь Валентина, живя при родителях, училась в десятом классе, оба сына приехали домой. Старший – с молодой женой.

Павлу Прокопьевичу было уже без мала шестьдесят, но он по-прежнему неутомимо строгал и шорничал на конном дворе, по-прежнему частенько выпивал и на мальчишеские дразнилки: «Милый Паня, Милый Паня!..» – отвечал энергичным скрипом протеза и возгласом: «Вот я вас, погодите, заразы!» Ещё он слыл неплохим печником и вообще без дела не сидел, хотя и без ноги, на протезе-деревяшке.

Молодуха свёкру изначально не очень нравилась: красивая, но всегда расфуфыренная, и несколько свысока, как ему казалось, посматривала на него, старого да одноногого. А на этот раз и сын Николай выказал себя, можно сказать, обидно для отца. Гостинцев, разумеется, привезли: и колбасу, и селёдку-иваси, конфет и пряников для матери, а вот винца отцу – шиш тебе, батя! А старик ждал, поскольку молодые посулились заранее. Понятно, не с пустыми же руками приедут, уверенно думал он, так как на душе было муторно – аж гусёк внутри дрожит, едри его в корыто! – это всё после вчерашнего магарыча. Павел Прокопьевич сладился куму Петру Коршунову голландку переключить. Оно, конечно, не зимнее дело – с мёрзлой глиной ковыряться, но нужда не тёща, за дверь не выставишь. Надо же кумовьям помочь? Надо. Так что выпили отменно, и Боняк во хмелю похвалился: завтра сыновья обещались приехать, старший – с молодухой, а младший... Младший у него известный уже боксёр, на какие-то важные соревнования собирается. «Смотри, на весь мир прогремит. По телевизору, чай, будут показывать», – то ли похвалила, то ли подтрунила кума Семёновна. А то! – ещё больше возгордился Павел Прокопьевич. Он, Пашка Боняк, и сам в молодости любил и умел подраться. Вот кум не даст соврать. А на фронте в разведчиках в самое пекло ходил, орденов и медалей полна грудь.

Похвалился, а зря. М-да... «Вот тебе такой сюрприз, – думал он теперь. – Вот заразы какие, даже похмелиться отцу не привезли! Оно, конечно, понятно: младший – спортсмен, рюмку в руки не берёт, а старший и парнем не пил, а теперь, небось, у жены и подавно под каблуком. Им, бабам, смолоду волю дашь – век каяться будешь».

Сердито поскрипывая протезом, Павел Прокопьевич под вечер опять пошёл до кумовьёв. Семёновна налила ему неполный стакан. Он выпил, посидел, покурил, гусёк вроде перестал дрожать. Попросил у кумы ещё бутылку с собой. «После бани выпью», – сказал, немного конфузаясь, на что Семёновна не преминула уязвить: что же, мол, сыновья отцу бутылочку-то не привезли? И налила ему неполную. «Не пьют, – буркнул в ответ Боняк, – сызмальства не приучены». Кума одобрительно повздыхала, поскольку её-то ребятишки уже всю баловались винцом. Но Павлу Прокопьевичу одобрение кумы не легло на душу, и домой он возвратился хмурой.

Супруга Дарья и дочь Валентина-школьница (школьница-то школьница, а на вид – хоть сейчас замуж выдавай) тем временем протопили баню. Невестка же как сидела сиднем на диване у рябого телевизора, так и продолжала сидеть. «Хоть бы ужин готовить заставили её, матрёшку, – с неприязнью подумал хозяин. – Нет, «сиди, сиди, куколка-красавица наша» (этак Дарья обычно ласково с невесткой обращается, лелеет). Чё с ней, с фуфырлой, сюсюкаются как с дитём малым!» – внутренне досадовал старик.

– Паня, – обратилась к мужу Дарья Васильевна, вынимая из сундука чистое бельё (она смолоду называла его только Паней и Пашей и никогда – «Пашкой» или ещё как грубо), – иди в баню вместе с ребятишками париться, а то, гляжу, опять выпимши. Где уж ты

клюкнул-то? – И, не ожидая ответа, вновь поторопила: – Иди, иди, а то мы, бабы, как пойдём, нас до моркошкиного заговенья не дождёшься.

«Я вам не дождусь», – мысленно пригрозил Боняк, а вслух проворчал, что после всех пойдёт.

– Да уж пару не будет, – возразила Дарья Васильевна, зная обычай супруга смолоду париться до упаду.

– Я нонче не парильщик, силов нету.

– Ты, батя, давай тут поменьше выпивай, – шустро заметил младший, Санька.

– Поучи ещё, щущёнок, – Павел Прокопьевич демонстративно вынул из кармана бутылку, налил неполный гранёный стаканчик, выпил и пошёл в сени за солёным салом.

Сыновья ушли париться без отца, хотя с детства привыкли именно с ним – это он их приучил к парилке.

Вернулись через час – жаркие, довольные, здоровьем пышут.

– Иди, батя, пока пар держится.

– Сказал же: опосля всех пойду – значит, так и пойду!

Павел Прокопьевич вынул очередную «беломорину» из трофейного портсигара, который хранил с войны – посеребрённый такой портсигар, с германским орлом на крышке. Правда, головёнку фашистскому орлу Боняк ещё в те годы ножичком сточил по совету одного офицера, так сказать, от греха подальше, но сам трофейчик хранил бережно. За тридцать с лишним лет уже и серебро слезло, тут и там латунь показалась, как без портянки стёртая нога, но орёлик и без головёнки гляделся грозно и вызывающе, как у себя дома. И всё равно трофейчик дорог был старику: *есть что вспомнить*.

– Папань, пойдёшь или не пойдёшь? Нас ведь и вправду скоро не дождёшься, – бросила отцу и дочь Валентина, прихорашиваясь у настенного зеркала.

«Хоть в баню, хоть в клуб – всё одно перед зеркалом надо ей, козе, покрутиться!» – неодобрительно поглядел Павел Прокопьевич на дочь, хотя в душе гордился: красивая выросла, зараза. Но кому достанется – натерпится! Это тебе не мать: «Милый Паня, милый Паня...» – мысленно передразнил жену и дочь Павел Прокопьевич. А вслух мимолётно ответил:

– Идите. Я подожду. А не дождусь – вытурю.

Женщины – мать, дочь и невестка – ушли. Сыновья сели ужинать, привычно высвободив за столом место отцу. Тот присел, но есть ничего не стал, только выпил ещё полстаканчика, опять ломтиком сала закусил, остатки вина заткнул пробкой, плотно скрученной из газеты, и поставил на подоконник за белобахромчатую занавеску, вышитую узорами в виде колёс с изогнутыми спицами (это Дарья по сю пору рукодельничает). Катятся колёсики, как солнышко по небу, вот так и вся жизнь прокатилась. Сыновья в город перебрались, и Валюшку, небось, скоро тоже какой-нибудь ухарь умыкнёт. Эх, жисть!.. Душа у Пани загрустила.

Сыновья поужинали и вернулись к синему экрану. Прилегли: один – на кровать, другой – на диван. Отец сел у простенка на сундуке, покрытом клеёнкой. Телевизор шёл плохо, рябил.

– Кинескоп чего-то барахлит или лампа какая отходит, – сказал старший и, подойдя к телевизору, слегка хлопнул ладонью по боку, как это делал иногда и сам Павел Прокопьевич.

Но хозяину почему-то невинная выходка сына сейчас не понравилась, хотя телевизор пошёл несколько лучше.

– Ты бабу свою так учи, – заметил он сыну.

– Ты, батя, чего-то сегодня придираешься ко всем, – ответил сын.

– Я не придираюсь, – стал заводиться старик. – Я говорю: заработай себе и колошмать сколько душе угодно.

Сын с усмешливой укоризной посмотрел на отца, переглянулся с братом. Тот, не сдержавшись, хмыкнул. Старику сыновья ухмылка зацепила нутро, как заноза

плотницкую ладонь, и ни с того ни с сего именно младшему захотелось отвесить оплеуху, заодно посмотреть, какой он боксёр, разэтак его мать! И он довольно резво соскочил с сундука, на котором сидел, покуривая, и с резким скрипом в протезе прошёл туда-сюда по избе. Старший сын лежал на диване у левой стены, на которой висел плюшевый ковёр с картиной, где молодой кавказец-удалец на горячем коне умыкивает красивую черноглазую девку; младший сын – на старой самодельной кровати. Именно на этой кровати он, Милый Паня, и настрогал всех четверых. Это уж потом стали жить побогаче: и диван купили, и новую с пружинной сеткой кровать, и шифоньер, и телевизор... Павел Прокопьевич подошёл к младшему и, не наклонившись, а, наоборот, как-то выпрямившись, молча погрозил согнутым, как петушиный коготь, пальцем.

– Ты вот у меня доухмыляешься! Я не посмотрю, что ты на эти... соревнования собираешься.

– Бать, ты чего, в самом деле? – с недоумением привстал, облокотившись на цветастую подушку, младший сын.

Но старик уже отошёл от него, подскочил к настенным часам, почти рывком подтянул гирьку за цепочку, хотя того и не требовалось, щёлкнул остановившийся было маятник, отдернул шторку на окне, взгляделся в темень двора.

– Да когда же они придут, заразы!

Сыновья с улыбкой переглянулись: это он про женщин в бане.

– Говорили же тебе: иди с нами. Теперь до полночи их не дождёшься.

«Я вот вам, заразы, не дождусь!» – старый Боняк с нехорошей решительностью похромал в заднюю избу, на кухню. Скоро вернулся, утираясь тыльной стороной ладони с грубым, косым, коротким шрамом. Уселся снова на сундук, вроде успокоенный, закурил из «фашистского» портсигара. Ждал, не заговорит ли старший сын *по делу*. В прошлый приезд с его стороны был намёк насчёт сруба: мол, помоги, батя, дом в городе поставить. Хорошенькое дело – дом поставить! Он уж немолоденький брёвна корячить. Однако как же не помочь? И Павел Прокопьевич пообещал: сруб своими силами срублю. И за это время старик уже обдумал, как подешевле лес прикупить (с лесником он договорится: санки ему резные к зиме сделает, материал уже приготовил), кого из местных плотников и за сколько нанять... Да он и сам ещё топориком в силе помахать. В самом деле, не сидеть же сложа руки, бездельничать? Но вот, поди ж ты, молчит, как и разговора никакого не было! Что за дети пошли? Небось, сноха отговорила, мол, зачем нам со стройкой связываться, квартиру задарма получим. Избаловало вас государство, лодырей. Я вот тоже набычусь и буду молчать, думал старик, сидя на сундуке.

Но через какое-то время вновь упруго опёрся задубелыми ладонями в крышку сундука, встал и с подскоком направился в заднюю избу со словами: «Ну всё, надоели, заразы!» – явно про женщин в бане. А потом и сенная дверь закрипела, то есть вышел.

– Завё-о-ля, – вздохнул старший.

– Да не обращай внимания, – сказал младший, вытянувшись на постели и заложивши руки за голову.

Однако не прошло и пяти минут, как лежавший ближе к окну Санька настороженно привстал, всматриваясь в окно: позади двора, в огороде вроде как что-то полыхнуло... и вот уже всё ярче, ярче...

– Колька, чего это? – обратился он к старшему. – Стог, наверное, в огороде под навесом горит!

И оба брата, накинув на себя что под руку попало из одежды, бросились на улицу, через двор в огород.

Полыхала, между прочим, баня, точнее, угол предбанника. А отец Боняк, не обращая ровно никакого внимания, сидел в десяти шагах от пожарища на приземистой срубовине колодца и покуривал. Рядом стояла канистра, и чудился запах керосина.

В следующий миг распахнулась дверь в предбаннике, и с благим матом выскочили мать Дарья, в длинной широкой сорочке, и голые Валентина со снохой. А Павел Прокопьевич

как сидел в пол-оборота к тропинке между баней и колодцем, так и продолжал сидеть, закинув деревянную култышку на здоровое колено.

Сын-спортсмен яро подлетел к колодцу, схватил отца за шиворот и рывком швырнул в сугробец у тропинки. Старик плюхнулся боком в снег и никак не мог подняться, пока братья проворно не затушили колодезной водой и снегом огонь, и старший, подойдя к отцу, поднял его и, как раненого, повёл домой. Младший сзади нёс канистру с керосином и непривычно для родительского слуха матерился теми же словами, которыми нередко в сердцах выражался и сам Паня Боняк.

В избе он высвободился из сыновних рук и молча полез на печку. Кряхтя, стал отстёгивать там протез. Домашние все были чрезвычайно взбудоражены.

– Ой, Паня, какой ты дурень! – причитала, всплёскивая руками, Дарья Васильевна. – Всем дурням дурень! Ой, леший тебя защекочи!..

– Ты, батя, и в самом деле охренел, что ли! – горячился младший сын.

Старший в передней избе успокаивал молодую супругу. Она куталась в стёганое одеяло и почему-то с испугом косилась на военную фотографию свёкра на стене: Панок Боняков, с автоматом на груди и лихой улыбочкой на юном лице, был необыкновенно красив и ужасен.

Из передней в заднюю избу, туда и обратно, носилась успевшая переодеться и причесаться Валентина. В задней избе всякий раз она останавливалась возле печки и что-нибудь дерзко-обидное говорила отцу, типа:

– Ты, папаня, у нас совсем скоро рехнёшься: то он руки себе с похмелья рубит, то живьём родных детей в бане палит! Татьяна вон вся дрожью дрожит. Вот и приедь к вам!

Она резко поворачивалась и спешила в переднюю вместе с братом утешать сноху. Потом опять шла в заднюю, дерзко корила отца, одновременно прихорашиваясь перед зеркалом:

– Ну, вот чего я в клубе теперь скажу? – говорила она, стоя спиной к отцу и видя в зеркало, как он, отстегнув протез, аккуратно укладывает его рядышком. – Ведь, поди, все видали, как полыхало. «Чёй-то у вас»? – спросят. А это нас родимый папенька, как поросенок, зажарить хотел, – передразнивала детским тоном дочь Боняка.

Павел Прокопьевич не отвечал никому ни словом. Ему было тяжело и грустно. Хотелось глубоко, протяжно вздохнуть. Одна рука его по-покойнически смиренно возлегла на грудь, другая тихонько поглаживала ремённо-деревянный протез, ещё не успевший с улицы прогреться на печи. «Вот чего натворил, – думал он про себя. – Опять по селу слух пойдёт: Милый Паня спьяну баню поджжёт. Ох, зараза ты, Панок! Ох, кочерёжка гнутая!..»

Ему хотелось курить, но пока все не улягутся, он и пальцем не шевельнёт, и звука больше не издаст. Санька с Валентиной сейчас в клуб уйдут, думал он, Николай с Татьяной телевизор посмотрят и тоже спать лягут. А сноха-то, кажись, в положении... И невольно всплыл в его сознании образ выскочившей из бани голой пышной невестки. А ведь недавно такая же тоненькая, как и Валюшка, была. Ой, дурень, ой, и правда дурень!.. Надо завтра мать хорошенько порасспросить. Бабы – они наперёд мужиков про *это* знают.

И ещё Павел Прокопьевич, как бы винаясь перед детьми, думал: завтра будут уезжать, пушай-ка им Дарья по полсотенке даст. И мясо пушай возьмут – сколько увезут.

Когда через час-полтора в доме всё попритихло, лишь одна хозяйка всё шебаршилась, Паня окликнул её:

– Дарья, слышь-ка, Дарья? У меня там, на окне, за занавеской, в бутылке малость осталось, подай-ка сюда, никак душа не согрется.

– Тебе вот скалкой по безмозглой голове твоей надавать, – безгневно ответила супруга.

– Подай, говорю. И не бузи, без тебя тошно.

– погоди, сичас тесто раскатаю.

Через короткое время поднялась к нему с гранёным стаканчиком в руке, покрытым ломтиком хлеба.

– Ты мне как покойнику на помин подаёшь, – проворчал старик, с трудом приподнимаясь.

Выпил, без вкуса пожевал хлеб. Дарья Васильевна, стоя на приступке печи, с жалостью смотрела на мужа.

– Эх, Паня, Паня, балалайка ты бесструнная!..

– Ну, будет тебе... – буркнул он и спросил: – Ты где ляжешь-то?

– С култышкой твоей, – спускаясь вниз, ответила она и опять завозилась чего-то стряпать.

Ответила, как показалось Павлу Прокопьевичу, с обидой и упрёком. И ему снова стало грустно, и он всё-таки слышимо вздохнул, но не тяжко и протяжно, как хотелось после пожара и сугроба, в который, как щенка, ткнул его младший сын, а полегче и попросторнее в душе. Почему-то без страха подумалось, что, похоже, скоро ему помирать. А ведь, кажись, недавно какой рысачок был! А вот, гляди ты, уездила лошадка, укаталась, думалось ему. Но почему-то больше всего ему жалко было не себя, а Дарью. Не потому, что она тоже состарилась, как и он (а ведь она на целых шесть лет младше его, а гляди-ка, износилась ступица – не отремонтируешь), и тоже ведь придёт время, помрёт – все помрут, на этом и жизнь стоит, – а жалко потому, что много раз огорчал её. А такую лебедь белую надо бы на руках носить. А ты всю жизнь мытарил её, гусь ты серый, думал он с укором про себя и невольно прислушивался к кухонной возне Дарьи. Слушал, слушал и потихоньку стал забываться, лишь в сознание навязчиво, но легко свербело: «Милый Паня баню поджжёт... Милый Паня баню... Милый Паня, милый...»

...И снилось ему нечто странное. Будто идёт он с войны. Идёт, как и было в самом деле, родным просёлком на своей деревняшке: скрип-скрип... Лето, жарынь, гимнастёрка аж вся взмокла на спине. Хотя в действительности вернулся он зимой, после госпиталя, где и отмахнули ему милую ноженьку. Было много снега, и ядрёный, как молодая девка, стоял мороз. А тут, во сне, – в самом разгаре лето: хлеба колосятся, жаворонки поют. Но что-то душно солдату, сил никаких нет идти. Смотрит окрест: вон Пыжавка, вон Липяжок – значит, родимое село совсем близёхонько... Да нетушки сил, ну хоть убей, впору посередь дороги брякнись. Но глядь: кто-то навстречу идёт. Ближе, ближе... Однако непонятно: то ли один человек, то ли двое... Вглядывается Павел: ба, да никак... сапоги идут, те самые его сапоги, которые дали ему перед самой войной в качестве премии как стахановцу-хлеборобу. Что за чудо?! А сапоги всё быстрее и быстрее к нему навстречу. Пыль из-под них так и вьётся вихрем. Но – глядь – вовсе и не сапоги это... а его нога в сапоге и солдатской штанине. Зажмурился Пашка то ли от страха, то ли от радости: нога моя, ноженька!.. Открыл – а перед ним Дарья, Дашенька, молоденькая совсем. «Паня, я твоей опорой буду», – говорит ему и, поддерживая его, ведёт домой.

Старик проснулся. На печи было жарко, он взопрел, и в груди немного давило. Дарья всё ещё возилась со стряпнёй. С печки виднелся угол избы под потолком, где висела старая икона. Помнится, мать-покойница этой иконой уже после войны их новый дом благословляла. Пашка не противился, но лба за всю жизнь ни разу на угол не перекрестил. Висит, ну и пускай висит. А тут вдруг подумал: а ведь Дарью-то ему, инвалиду, никак, сам Бог подарил. А в Бога-то он и не верил. Эх, Боняк ты, Боняк!..

Управившись с делами, Дарья Васильевна потушила свет и, привычная в потёмках, залезла к мужу на печку, наткнулась на протез, аккуратно отложила к стене, прилегла к супругу бочком. За жизнь она намаялась с ним. Иной раз и сожалела, что вышла за Паню замуж. Уж какие только выходки не терпела от него, сумасброда! Он, хром-окаянный, даже по вдовым бабам шлялся, как кобель бессытный. Этой салазки сделает, другой печку переложит. А ведь одинокие, беззамужние бабы – они какие? Иная блюдёт себя, а иная – ни стыда ни совести. А он, Паня, хоть и с култышкой, а до недавнего всё как жеребчик скакал. Но ни разу она огласно ревность на людях не показала.

Однажды чуть ли не целую неделю клал печку Павел Прокопьевич у Пахомовны. Каждый вечер возвращался под хмельком и с супругой ложился порознь. Вот опять собрался. «Ты сколько ж дней класть будешь?» – с невольным сомнением спросила Дарья Васильевна, зная, что обычно печку он кладёт три-четыре дня. «Нонче закончу», – ответил.

Уже вечер, уже скотину пригнали, уже ребятишек Дарья накормила и спать уложила, уже реденькие осенние звёзды на небе проснулись, а Пани нет и нет. Не вытерпела – пошла до Пахомовны: вдруг на размывку напился и свалился где, хотя знала, какой бы пьяный Паня ни был, а до дому убей, но доскрипит. А тут нет и нет – забеспокоилась: мало ли что. Как нарочно, прошёл дождь, взрыхлил утопанную улицу, насеял мелкие лужицы. Пойдёт пьяненький, поскользнётся и извалтожится весь. Собралась, пошла.

Подходит ко двору Пахомовны, видит: свет в избе горит. Занавесочка на окошке приотворена, но краешек горницы выглядывает. Дарья Васильевна возьми и загляни. Ба! Паня Милый с Пахомовной... Ой, срамота-то какая! Ой, безобразники!

Хотела было Дарья окно поленом высадить, но только горько покачала головой и за сердце взялась. Присела на завалинку, сердце успокоилось. Поднялась тяжело, отошла поглубже в тень, дождалась бесстыжего. Тот вышел, покачиваясь, закурил на крылечке из немецкого портсигара и пошёл – хром-хром – как усталый петух с чужого двора. Тут крадучись догнала его Дарья и молчком что есть силы – толк! – обеими руками в спину. Кувыркнулся одноногий любовник в лужу и сразу не понял, кто его эдак, а Дарья мимо что есть духу бегом домой. Прибежала, запыхавшись, калитку и сенную дверь – на все крючки: не пущу кобеля старого! Но догадался бывший разведчик, кто это его мордой в лужу-то. Подёргал, подёргал запоры и пошёл обходным путём в баню спать. Заодно умылся и четвертинку, которую Пахомовна дала ему на похмелье, из ковшика приглушил.

Утром, по обыкновению, встал чуть свет, скотину согнал. Дверь в избу была уже не заперта: значит, Дарья ошибку свою признала. Теперь бы опохмелиться, думал Павел Прокопьевич, гусёк, едри его в душу... как перепёлка в руке. У жены, знал он, самогонка есть: недавно *затёр* выгнала. Но как спросишь после *этого*? И к Пахомовне теперь тоже неудобно идти.

Лёг молча на кровать в задней избе. Дарья уже по дому хлопочет, но вида не подаёт про вчерашнее. Может, и не она это в грязь-то его, чуть усомнился Милый Паня. Может, кто из молодёжи сфулиганил? И робко попросил: «Дарья, налей-ка мне полстакана – гусёк чего-то дрожит». – «А ничего у тебя больше не дрожит? – огрызнулась. – Нету у меня». – «Как это нету? Недавно только выгнала». – «Не про твою честь, колоброд ты бесстыжий», – обидно ответила супруга.

Ну ладно, с угрозой подумал Милый Паня и хотел было встать и демонстративно пойти к Пахомовне, не за любовью, конечно, а, понятное дело, опохмелиться. Но опять почему-то не решился. Какой-то гнёт лежал на душе. Потому против воли он вновь настойчиво спросил: «Дашь или не дашь?» «Пускай благодейка твоя тебе даёт», – отрезала двусмысленно Дарья Васильевна, суетясь возле печи. «Дарья, предупреждаю: если не дашь, руку сичас себе отрублю!» – заявил Боняк, вставая. «Руби, бесстыжая твоя душа!» – ответила супруга. Голос её, кажется, слёзно задрожал, но Павел Прокопьевич на сей раз как будто и не услышал. Что-то поднялось в нём злое и настырное. Не привык он, Пашка Боняк, слова на ветер бросать: сказал, отрубит – значит отрубит! Решительно вышел. И если бы не проснувшаяся Валентина, выглянувшая в окно, которое во двор, быть бы Милому Пане не только без ноги, но и по дурости своей ещё и без руки, потому как и вправду вышел он во двор, вынес из-под сарая плотницкий топор, встал на колени, положил руку на колбян, на котором Колька с Санькой обыкновенно дрова кололи, с полминутки подумал... Тут дочь как закричит: «Мама, мама, папаня во дворе чего-то хочет!..» Опрометью выскочила Дарья Васильевна и, слава Богу, успела толкнуть под руку мужа, но и Паня успел всё же жახнуть топором. Метился всю кисть отсобачить,

но повезло – только ребро ладони с хрустом размахнул, пригвоздив руку к колбяну. А когда вырвал топор, кровь так и брызнула, как из обезглавленного петуха.

Дарья Васильевна сорвала с себя фартук и давай руку мужу укручивать, приговаривая: «Ой, Паня, ой, дурак безрассудный!..» А Милый Паня, как береста побелевший, стоял у колбяна на коленях, точно разбойник у плахи, и, сцепив зубы, тихо мычал. Потом оттолкнул жену, строго прикрикнул на выбежавшую с визгом дочь: «Молчи, зараза!» – и упорно потребовал у супруги опять-таки опохмелиться. Та мигом принесла ему гранёный стакан самогона, Паня выпил, протёр полый фуфайки окровавленный колбян, сел на него, здоровой рукой вынул трофейный портсигар. Прибежавший Колька помог отцу закурить, а скорый на ногу Санька по указанию матери понёсся к бригадиру, чтобы тот дал команду кому-нибудь из колхозных шофёров поскорее отвезти отца в районную больницу.

Как ни старалась Дарья Васильевна после скрыть от сельчан, что Паня Милый руку не специально разрубил, а, мол, нечаянно, всё равно все узнали, что и как. «Боняк – он и есть Боняк. У него и отец был такой!» – посмеивались мужики. «Озорник он хороший!» – возмущались бабы. «Милый Паня, Милый Паня!..» – дразнились сельские ребятишки. «Вот я вам, заразы, уши на холодец поотрубая!» – грозился Павел Прокопьевич.

До самой могилы он так и продолжал: печки клал, корзины плёл, валенки всему селу подшивал, пил и чудил, покойникам гробы выстрогивал, вдов не обижал... Чего же ещё?

А орденов и медалей у него – что верно, то верно – было немало! Но про войну он не любил рассказывать. Слышали, правда, одну фронттовую историю из его пьяненьких уст.

Дело было в сорок четвёртом. В Польше. В густых сумерках разведгруппа из трёх человек подкралась к панской усадьбе. В доме явно были немцы. Но, похоже, немного: неподалёку от парадного входа высматривался всего лишь один мотоцикл с коляской. Дом решили захватить.

«Хороший такой особняк, в два этажа», – рассказывал эту историю Павел Прокопьевич чертозельским мужикам, которые помоложе и нигде, кроме своего села: ни на фронте, ни в армии за границей – не были.

И на первом, и на втором этаже горел свет. В окошке на нижнем мелькали две-три тени. Обогнули дом сзади – никого. Подкрались к входной двери, аккуратно попробовали, заперта ли изнутри – нет, не заперта. Вломились и разом из автоматов уложили двух фрицев. Справа от двери – лестница на второй этаж. Пашка вихрем взлетел наверх. Двое других разведчиков кинулись шарить на нижнем.

«Дом-то большой, панский, не то что моя-твоя пятистенка, – пояснял Павел Прокопьевич. – Ну, летом заскочил я на второй этаж, зырк-зырк туда-сюда глазами: чуть подале – дверь. Я с маху ногой – ать! – распахнул, влетаю: «Руки вверх!» И мигом соображаю: спальня, ну то есть кровать стоит, здоровущая такая кровать, панская, барская кровать, резная, разукрашенная (это я уж после рассматривал). Ну вот, а на кровати – девка молодая и, сразу видать, фриц с ней. Должно быть, только готовились к *этому* делу. А я весь на взводе, да и злость, небось, накатила, и хотел уж очередь садануть по обоим, но вдруг чую что-то эдакое... вроде как жалость, ну, то есть к бабе, не к фрицу же. Ну, молодая же!.. И всё это молнией пронеслось в голове. Тут вообще-то не до раздумок. Одного мига хватает, чё и как. Перехватил я автомат половчее и прикладом хрясть офицеру в лобешник (немец-то офицером оказался, к пани на огонёк заглянул). Ну, я и угомонил его: как мешок с отрубями под кровать свалился. А она, гляжу, к стенке жмётся, под одеялку прячется... А вижу: красивая, курва! Ну, я автомат-то – в одну руку, а другой эдак, мол, чу-чу, не боись, не трону. Сам огляделся: мебель, цветы, зеркала, стол стоит, кружевной скатертью накрытый. На столе закуска, бутылка и эти... фужеры. Подошёл, бутылку взял, понюхал – коньяк (недавно точно такой же, трофейный, мы пили). В дверь высунулся – стрельбы внизу вроде нет. Гляжу, Степан промелькнул. «Степан, –

кричу, – как у вас там?» «Всё нормально», – отвечает. Там немцев только двое и было, мои орлы сразу их и ухайдакали. Я этого, в лобешник-то которому, на лестницу выволок. «Степан, Андрей, – зову их, – берите, кажись, живой!» А сам опять в спальню-то – нырь, дверь на защёлку – щёлк. И к панночке. А она съежилась вся, только мордашка из-под одеяла торчит. Молодая! Беленькая такая, как пшеничная. Да и мне-то всего двадцать три или четыре было...

Ну, ладно. К столу подхожу, бутылку беру, фужер, какой стоял, всклень наливаю – хлобысть! Чем-то занюхал. Гляжу, портсигар серебряный лежит, офицерский, знать. Я закурил. На панночку поглядываю. А в дверь уж мои напарники – толк-толк: «Товарищ сержант, товарищ сержант!..» – «Да погодите вы!.. Дело у меня тут!.. Дом обшарьте!» – командуя им. «Да нету тут больше никого! А ты чего там?..» – «Да займитесь вы там чем-нито!.. Харчи поищите!» Слышу, матернулись и по лестнице – топ-топ – вниз. Догадались, заразы.

Я тем временем другой бокал чуть помене наливаю, беру, несу панночке. «Пей, пей», – говорю. Взяла, пригубила. «Пей до дна – чего жеманишься?» Гляжу, выпила, на подушку откинулась, глазки закатила и одеялку эдак приоткинула... Ну, теперь ясное дело. Я автомат – за спину и... Три раза! – важно подытоживал Боняк свой рассказ, показывая при этом растопыренные, коряво-плотницкие большой, указательный и средний пальцы. – Безугамонно, с голодухи-то! – И, прикашливая, смеялся: – Только опосля копчик целую неделю болел, эти его в хомут!» «А копчик-то чего?» – спрашивали. «Да автомат-то – на спине, а приклад-то – деревяшка с железякой, попробуй-ка сам». – «А чего не снял-то?» – «Чудной ты: война же!» «Ну а после этого дела-то, – выспрашивали мужики фронтowego озорника, – с девкой-то как?» «А никак. Сперва хотел ребятам на забаву отдать, да как-то жалко стало. Да и они, Степан с Андреем, оба хоть и не старые, лет по тридцать пять, но не так чтобы взять и наброситься. Мне-то двадцать с небольшим, до войны с девками не успел намиловаться, потому и лют на это дело! Словом, поели, попили, с панночкой пошутковали – весёлая оказалась девка, – на мотоцикл сели, фрица в коляску втиснули и – к своим. Нас за офицера-то наградили. А про панночку договорились: молчок. Я через пару дней, когда неподалёку от барской усадьбы наша рота остановилась, опять было к ней намылился. Молодой же, говорю, огонь-то разжётся». – «Ну и чего?» – «А ничего. Там уж, в усадьбе-то, чинов наших расквартировали. Она мне только ручкой с крылечка помахала. Весёлая, гляжу. Ясное дело, пошла по рукам. – И с каким-то сладким отчаянием добавлял: – Но красивая была, ох, красивая!» – «Аль лучше твоей Дарьи?» – «Э, – усмеялся старый плут, – Дарья – своя (да я её и не замечал до войны – соплячка была), а эта – иноземная! Да и... война же: нонче жив, а завтра, глядь, и ухайдакали. О, сколько в Польше-то полегло наших – страсть! Мне вскоре ногу-то и отмахнули там. Вот она, деревяшка-то. До сей поры вроде как и живая. Иной раз, особенно поперва, так бы встал, вскочил... а её, родимой, на самом-то деле и нету. Там, в польской земле схоронили ноженьку мою звонкую. А панночка, мужики, гожа была! Да, есть что вспомнить. – И, закуривая из трофейного портсигара, довольный своим воспоминанием, уже с иронией, нараспев добавлял: – Она, выходит, была панночка, а я стал Па-а-ня!»

Отчасти, наверное, и этот рассказ, и эта последняя фраза повлияли на то, что к Павлу Прокопьевичу прилипло то самое прозвище и дразнилка – *Милый Паня*. Хотя, скорее, причина другая.

Было это летом. Недолго после войны. Когда он женился на Дарье. Дивились все: как это он, инвалид, без ноги, отхватил такую молодую и красивую девчонку? Ну ладно бы вдову взял – их по селу хоть пруд пруди – или девку постарше захомотал – а таких ещё больше, и многие рады бы за него замуж пойти, пусть и калеку, но... хоть и одна нога, да ходит. Да как ходит! Тому печку сложит, этому наличники вырежет. И лицом Панок хорош. Правда, характером – не затронь! С молодыми парнями, хоть и на протезе, а драться не раз

выходил. Сцепит зубы, кулаки выставит, как боксёр заправский (на фронте в разведроту лейтенант у них был, знаменитый до войны боксёр, вот и научил Боняка), упрётся деревяшкой своей в землю, и никак его не сшибёшь, пока сам не споткнётся. Редко кто выходил драться с Панком Боняковым – побаивались. Но больше уважали. Его уже и тогда стали величать – Павел Прокопич. А *Милым Паней*... Было так.

Дарья Васильевна (тогда ещё – Даша), когда в послевоенной деревне было страшно голодно, а семья осталась без отца, какое-то время жила у дяди, у материного брата, в городе. Потом вернулась. Вернулась, как говорили про неё, «культурная». Она и по природе была ласковая и уважительная со всеми, а теперь и совсем «стала культурная». Уже подросли сверстники-подранки и, кто постарше, пытались ухаживать за ней. Но досталась она всё-таки Пашке – Панку Бонякову.

Сыграли какую-никакую свадьбу. И Пашка сразу решил строиться. Как инвалиду-фронтовику по сходной цене ему выписали лес, дали транспорт и артель мужиков от колхоза на пару дней. Он и сам тогда, несмотря на протез, выносливый и ловкий был. И лес помогал валить, и брёвна грузить, а уж плотничать – не угнаться. Култышка только по ночам ныла. Зато Дашенька ласковая была. «Как же ты со мной жить будешь?» – помнится, спросил он её, когда они уже «снюхались», всю миловались и она уже дала согласие выйти замуж за него. «А как и все», – тихо засмеялась она, уткнувшись ему горячими губами в ухо, а рукой, шельма, бесстыдно стала поглаживать где не полагается. Вот тебе и культурная! Да кому какое дело, коли девка захотела! Культурная она – в другом.

Когда поставили дом-пятистенки, Дарья уже беременная была. И мужики подтыривали над Пашкой:

– Ну, ты, Павел Прокопич, молодец: и дом выстроил, и бабу как пузырь надул! Когда всё успевает?

И по-хорошему завидовали ему. Особенно – что жена *такая* безногому досталась.

Однажды на вечерней зорьке, когда уже скотину убрали (напоили, накормили) и хозяйки готовили ужин детям и мужьям, а мужики и парни постарше посиживали после трудового дня на проулочках, на брёвнышках, на лавочках покуривали, разговоры вели, и каждый прислушивался, не позовёт ли его привычно жена, мать, сестра или кто из детей:

– Ванька, иди ужинать!

– Миколка, скоко тебя, окаянного, дожидаться?!

Или:

– Тятка, мамка ругается – чего сидишь, идём ужинать!

И тут вдруг на этом фоне подплывает тихо-тихо, как грудастая утка в тихом затоне, Дарья Васильевна (Дашенька) на сносях. Подплыла и говорит городским, культурным языком:

– *Милый Паня, пойдёмте ужинать.*

Жутко неудобно стало Пашке: так жена его даже дома ещё не называла, а тут при всех!.. Он встал, неловко улыбнулся и, хромя (натруженная культя-то, как вставать, всё же шибко болела, но он никогда не жаловался и виду не показывал), пошёл за плывущей через улицу женой, ожидая услышать вослед дружный хохот. Однако никто из мужиков почему-то не засмеялся. Каждый молча, не дожидаясь, пока кого-то из них позовут – позовут не так, как утица Дарья позвала своего селезня Паню, – все с робкими улыбками скоренько стали расходиться по домам. Но дома каждый на свой лад, со своим умыслом, конечно же, рассказал эту историю. И больше всех она запомнилась детям. С тех пор из поколения в поколение они и стали дразнить Павла Прокопьевича, каждый на свой ребяческий ум, *Милым Паней*. «Милый Паня, Милый Паня!..» – «Вот я вас, заразы, догоню сейчас!» – «А не догонишь, не споймаешь, Милый Паня, Милый Паня!..»

А ведь хорошая дразнилка, согласитесь? Не обидная. Да и Павел Прокопьевич, по сути, не обижался. Он только восклицал, припугивая озорников: «Ух, надеру уши!», сердито скрипел фронтным протезом, а в душе, похоже, улыбался. Потому что он – *Милый Паня*.

Старожилы рассказывали, когда в первые дни войны уходило на фронт полсела, творилось неведомое что: и бабий вой, и крики, и песни, и шутки, и скабрёзности. А Пашка Боняков разулся, говорят, бросил наотмашь «стахановские» сапоги в толпу: «Босиком фрицев бить пойдём!» – и давай плясать. Всю дорогу, как чёрт, выкамаривал, будто чуял: не придётся больше. А когда вернулся на протезе, редко на гулянках под гармонь выходил. Драться, коль обидным словом аль ещё как затронут, завсегда выйдет, а плясать – нет. Отплясался. Разве что когда Дарья Васильевна выпьет на гулянке немножко, да разохотится, да пойдёт барыней по избе. Глядь, и Милый Паня не удержится: скрип-скрип на своём протезе около неё, а она приплясывает, припевает на свой лад:

*У мово у Пашеньки
Вишня для Наташеньки,
А поцелую Пашу раз –
Мне всю вишенку отдаст!*

Паня улыбается и – хром-хром – тоже вокруг неё, дрыг-дрыг деревянной ногой.

*У мово у Панечки
Сливонька для Танечки,
Но поцелую Паню раз –
Всю мне сливоньку отдаст!*

А потом сядут опять рядышком, она приклонит голову к мужнину плечу и запоёт нежно – ни высоко, ни низко:

*Вот кто-то с горочки спустился,
Наверно, милый мой идёт.
На нём защитна гимнастёрка,
Она с ума меня сведёт.*

Паня приобнимет Дарью, прикроет глаза и хорошим баритоном подхватит песню, как ловкий парень девку нарасхват. «Боняковы поют, – заглядывая в окна, говорят любопытные бабы помоложе, – тётя Даша с Павлом Прокопичем».

Эту песню они любили больше всего. Так и прожили жизнь. И слава Богу. Дарья Васильевна и Паня Милый.

Продолжение следует.

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Ольга Ивановна Лукьянова родилась в городе Новошахтинске Ростовской области. Окончила филологический факультет Луганского педагогического института. Работала в различных периодических изданиях Луганска: газете «Жизнь Луганска», ТВ «Эфир-1», «Новини культури Луганщини» и др. Жила в Соединённых Штатах Америки. Стихи публиковались в журналах «Молодая гвардия», «Студенческий меридиан», в коллективных сборниках «Поиск» (Донецк), «День поэзии». Автор сборников стихотворений «Горлинка», «Свет мой вечный». В настоящее время живёт в Воронеже.

НАД ПАМЯТЬЮ МОЕЮ – ЖУРАВЛИ...

Манило поле жёлтой рябью,
Сливалось с глубиной небес.
Вдали задумчиво, по-бабьи
Глядел на поле редкий лес.
Кружила тропка одиноко,
Весёлой долею жива.
В словах, казалось, нету прока.
И не звучали здесь слова.
А здесь звучала высь так строго,
А дух земной так тяжёлый был,
Что только выдохнуть бы: «С Богом!»
И ощутить весомость крыл.

Я люблю эти книжечки –
Тонкие, неприметные.
С неземными рисунками,
С названиями странными.
Эти книжки монетные,
Книжки поэтные,
С недоступно-доступными
Вечными гранями.
По везенью великому,
С адресом новолуния
Я куплю очень дешёво
Рубцова и Кедрина.
Я куплю
Санитарочку времени – Друнину.
Я, как птица на трель,
На добро стану щедрою.
Я строкой изболевшейся,
Светлою, как рождение,
Заслонюсь от бессилия
Перед сытыми, пошлыми.
Не гостей приглашу к себе –
Грусти осенние.
И не буду считать

Дни прошедшие – прошлыми.
Я в дорогу далёкую,
Скорую или не скорую,
Прихватчу эти книжечки,
Оставив всё лишнее.
И пойду к откровению
С тихой опорой.
И свернёт в темноту
Равнодушие прошлое.

Куда-то поезд мчался. В осень, что ли?
Был тёплым поворот чугунных рельсов.
И крылышки вагонных серых шторок,
Устало трепеща, на солнце грелись.

Чуть впереди качалась тень состава,
Имея право равное на бег.
Листва шуршала, как она ус-та-ла
Лететь покорно, слепо, без помех

На все четыре стороны. И – странствуй!
Один листок прилип к моим губам.
Вещало радио: какой прекрасный транспорт –
Спешащий поезд к далям, к облакам.

Он покидал забытые местечки,
Немного с сожаленьем погудев.
Берёзы догорали, будто свечки.
Из тучи дождь тянулся, что кудель.

Он вёз меня к тебе, мой добрый поезд,
В твои обетованные края.
И лиственницы кланялись мне в пояс.
Колёса пели в такт: с-воя, с-воя...

За мною мчались круглые колодцы
И деревеньки с домиками в ряд.
И я прощалась с чуждым инородством –
Спешащий поезд мчал меня назад.

Всё позабуду: горести и раны
Душевные. И в сонном блеске дня
Прибуду я ни поздно и ни рано
На родину: к тебе, к себе, к корням!

Звон колокольный затихнул.
Солнце зашло за рекой.
Город с названием Тихвин
Дремлет под Божьей рукой.

Пред чудотворной иконой
Плещется свет неземной.
Станем и мы «время оно»,
Будем чему-то виной –
Вехам кровавым и вихрям...
Светлой мольбой монастырь
В Богоизбраннейший Тихвин
Тихо всплывает. И ширь
Мира подьмлет высоко.
У Богородицы врат
Тихвинский образ с востока –
Крестному западу брат.

Веры живительный опыт
Тихвин в молитвах хранит.
Льётся молитвенный шёпот –
Крепче пращи и брони.

В тихом доме за окнами
Тихо рдеют настурции.
Тихо женщина окает.
Стихли часики куцые.
В добром доме на лавочке
Дед и кот сонно бодрствуют.
Левитан – на булавочке.
На столе – руки чёрствы
Тёмной горкою сложены –
Ни с тоски, ни с усталости,
Ни с того, что век прожили
Без какой-нибудь малости.
В светлом доме не стрелочкой
Время скачет по циферкам –
Русой маленькой девочкой.
Жизнь не иксом, не игреком –
Тёплой чёрствою горкою
Строгих рук. Женским оканьем.
Хлебной вечною коркою.
Сизой далью за окнами.

На окнах шторы белые.
На них голубки парами.
С картин амурсы смелые
В них целются усталые.
Ну а голубкам весело
Глядеть на их старания.
Ах, как же страшно тесен мир
В окошечке с геранями!
Он до сих пор хранит уют
Помпезности диковинной.

Голубки молча свет клюют.
Амуры в свет закованы.
Они прожили уйму вер:
И в Бога, и в царёву Русь,
И в мировой СССР!..
...Однажды я туда вернусь.
Пройду скрипучей горницей.
Амуров в небо выпущу.
Что им тут бедным горбиться?
Билет до Рима выпишу.
Ну а голубки пусть летят
Во храмы злато-звёздные.
Пусть им века вослед свистят,
Отверзши ночь морозную.
Я в доме буду тихо петь
У звёздной бездны на краю.
Мне будет в глазоньки глядеть
Ночами верный Кот-Баюн.
И будет сказочно добра
Ко мне округа дальняя –
Муниципальная дыра.
Любовь провинциальная!

Без слёз, без слов Матрёну хоронили.
К тому ж – страда. Нет дома без хлопот.
Жару кляня, гроб повезли к могиле
На самой некудышной из подвод.
На свете зажила Матрёна. Только
С войны одною памятью жила.
Хатёнка, как оставшаяся донька,
Глядела вслед, от горюшка бела.
И в холмика податливый суглинок
Воткнули старики дубовый крест.
И вереницей сестринских косынок
Застыли скорбно облака окрест.
А на поминках стихли разговоры.
И фронтовик, рванув больной баян,
Шагал, шагал по памятным минорам,
Как по воскресшим заново боям.

Над памятью моею – журавли.
Кольшутся их ангельские крылья.
Баюкают седые ковыли
Донскую тишь, отеческою пылью
Скрепляя наше вечное родство
С рекою детства и со старым садом,
В котором каждый терпкий липкий ствол
Обласкан был моим счастливым взглядом.
Я счёт вела кукушкиным «ку-ку»,

А журавли тянули в клювах небо,
Напоминая белую строку
На голубом листе. И я, на гребень
Холма взобравшись, считывала грусть
С донских просторов, что манили предков.
И уронил мне пёрышко на грудь
Смешной журавлик, заплутавший в ветках.

Анатолий КРИЩЕНКО

Анатолий Яковлевич Крищенко родился в 1939 году в г. Прохладный Кабардино-Балкарской АССР. Работал плотником, матросом, журналистом, завлитом в театре, руководителем театральной студии и кружка юных журналистов. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Публикуется в краевых изданиях: альманахе «Литературное Ставрополье», журналах «Лирика Кавказа», «Южная звезда», «Литературный Кисловодск», «Открывающий мир», а также в журналах «Российская литература» (Москва), «Подъём» (Воронеж). Автор книг пьес и прозы. Лауреат Российского литературного конкурса «Справедливый мир» (2005 г.) Живёт в станице Мариинской Ставропольского края.

ВЕТУШКА КАЛИНУШКИ**ПАРДОН, МАДАМ-С!**

Алябьев упорно вышагивал в клетушке каземата. Тишь давила безысходностью. Бессонная ночь незаметно переходила в утро. Проступили контуры решётчатого окошка, свет упал и на лежанку. Предметы эти закреплены прочно и надолго. Но всё серо и всё уныло-тоскливо. Время как бы остановилось, диктовало иной отсчёт.

Эхом в сознании Алябьева звучали обрывки фраз. Недобрых, сабельно-болевых. Ранящих. Мозг сверлило неисчезающее абсурдное обвинение: «Подозреваете в убийстве».

Остановившись, арестант подумал: «Так могут обвинить и ангела, и чёрта... Адова симфония жизни!» Мысли громоздились, лавиной неслись в голове, опережая одна другую. Горько подумал: «Французы не полонили, а здесь, дома, в Москве... Нет, чушь... Давыдов говорил, что плен для живого ещё не смерть. Неволя только для мёртвого – там, в могиле, конец. А здесь, над землёй... неволя вроде жизни, только без игры твоей. Но ты – игрок. Потому что жив. Играй. Думай».

Чуть полегчало. Алябьев продолжал вышагивать. Неожиданно, словно из небытия возник добродушный облик Крылова. Мысли спасительно перескочили в лучезарные воспоминания. Даже лёгкая улыбка тронула губы арестанта. Вспомнились шумные салоны... Иван Крылов... Этого мудреца любили и в Первопрестольной, и в Северной столицах. Его басни, раз услышанные, казались знакомыми. В зверях и птицах его басен легко угадывались хитрецы и злодеи. У поэта-иносказателя не было врагов. Он всех любил. Но имел особенность напрочь забывать имена и фамилии. Конечно, не самых близких. На свою забывчивость великий человек имел спасительную заготовку, почти басенную – палочку-выручалочку.

Алябьев прервал шаг, остановился. Мелькнула идея: эту крыловскую защитную заготовку и надо применить при встрече с полицмейстером. Разузнать его стратегию нападения. «Встреча эта, – пронеслось в голове, – состоится! Возможно, сегодня. В мыслях, конечно, я часто ошибаюсь. Но интуиция мне ещё не изменяла. Да, она будет, эта встреча. Я чув-ствую».

Легко и даже задорно вспомнилось, как два года назад в театре он столкнулся с полицмейстером и, извиняясь, сказал: «Пардон, мадам-с!» Известный многим чин даже позеленел от этой остроты. «Может, забыл? Мало ли что... Нет, такая дерзость не забывается. Ну и пусть. Игра продолжается. Пусть не по моим правилам. Но премьеры этой игры уже волнует раскованностью риска. Дразнит и манит».

Утренние лучи солнца наконец пробились сквозь решётчатое оконце. Вместе с ними послышался свист ветра. В тональность ему арестант озорно подсвистнул.

Резко открылась дверь. На курносом круглом лице вошедшего Дурнова отразилась строгость:

– Ты тут, барин, не свисти.

– Так это не я.

– А кто ж?

– Ветер.

Дурнов недовольно покрутил головой, прислушался.

– Такого здесь отродясь не наблюдалось.

– Да-да, ветер, – насмешливо настаивал Алябьев. – Он там, за окном. Так что наблюдается.

– Если там... пущай свистит. Природа. А ты, кажись, барин, уже отсвистелся, – сказал Дурнов, жестом указывая на дверь, предварительно связав крепко руки арестанту.

– Это почему? – спросил тот насмешливо.

– Молчать!

В кабинете полицмейстера Алябьев, зажмурившись от яркого света, скорее почувствовал, чем угадал фигуру генерала. Как перед сабельной атакой, он чуть привстал на стременах. Но это были не стремена, а пол. Твёрдый. Прочный. Прикрытый чуть потёртым, но ещё нарядным ковром. Вспомнил, почти увидел мельком дерзкую улыбку своего командира Дениса Давыдова.

В голове опять спасительно пронеслись оправдывающие забывчивость слова Ивана Крылова. Глядя спокойно в холодные и беспощадные глаза полицмейстера, Алябьев в тональности баснописца простодушно изрёк:

– Как давно не имел удовольствия вас не видеть.

Наступила тишина. В длинной паузе, в немой, но ощутимой дуэли почти растерянно прозвучал вылетевший рикошетом вопрос:

– Как?

В вопросе звучали оттенки чего-то недосказанного, запредельно скрытого. Мгновенье и вечность столкнулись. И исчезли. Но тонкий слух композитора уловил не мажор, а минор. Молчаливая дуэль длилась секунды. Но этого хватило, чтобы Алябьев почувствовал себя не пленником, как говорил Давыдов, а игроком:

– Пустое... Я, простите, вспомнил поговорку баснописца Крылова. Он так говорит всем знакомым. По забывчивости... Но мы – вы и я – вроде бы, не знакомы...

Ровинский, чтобы скрыть проигранную только что психологическую дуэль, молча прохаживался. Остановившись, миролюбиво заметил:

– Я тоже отчасти, знаете, бываю забывчив.

Махнул Дурнову, чтобы тот развязал руки. Хозяин кабинета продолжил:

– Да вы присаживайтесь. В ногах, говорят, правды нет.

Алябьев, угрюмо глядя на портрет царя, висевший на стене, тихо произнёс:

– А разве она где-нибудь есть? Правда-матушка?

– Да уж... Вы того-с... перегнули-с. Правда Божья есть повсюду. А царёва правда имеется в нашем Российском государстве. Так-то.

Наступила опять неловкая пауза. Алябьеву совсем не хотелось попасть в умело заброшенный аркан. Он угрюмо молчал.

– Вам не нравится моё определение, – бесстрастно-интригующе продолжил Ровинский.

– А вам?

– Ну, мне – как и всем государственным людям... Впрочем, суть нашей встречи не в этом. Она-то, сударь, правдива на основе закона. Это так же верно, как и правда царёва.

– Это потому, что вы в тени этой правды.

– Я в тени правды? Интересно. Хотя, может быть... Может... – Генерал не спеша стал ходить по кабинету, потирая руки. – Работа, знаете, у меня такая. Теневая. – Загадочно, нараспев сказал: – Ведома ли вам телепатия?

Алябьев остановил взгляд на гладко выбритом лице генерала. Настороженно подумал: «К чему он клонит?» Пожимая плечами, вслух произнёс:

– Мне это ни к чему.

– А напрасно не интересуетесь сей наукой. Она, знаете, порой и спасает...

Алябьев посмотрел в окно. Увидел в предвесеннем вальсе танцующие снежинки. Барабанный стук пальцев генерала вернул его в действительность.

– Ну что же вы, милейший, не ответствуете насчёт древнейшей науки?

Алябьев, прикрыв рот рукой, вызывающе зевая, вяло проговорил:

– Неинтересно.

Ровинский, пройдя в дальний угол кабинета, уже за спиной Алябьева сурово, но ещё миролюбиво сказал:

– Понимаю, понимаю. Сей момент у вас появится интерес. Уверяю вас: появится. – Вкрадчиво, меняя тембр голоса, добавил: – После моих вопросов.

– Задавайте.

– А вы, сударь, не торопите меня, не торопите. Вопросы будут, уверяю вас, будут. О солнечной, а может, краплёной правде жизни.

Генерал прошёл к столу, сел. Барским, ленивым движением, будто не спеша, потянулся рукой к лежавшей отдельно на столе папке. Алябьев, не отрываясь, внимательно следил за холёной рукой генерала. Про себя отметил: «А играет-то как! С наслаждением! Артист».

Ровинский вынул первый лист, откашлялся и строго официально отчеканил:

– Но запомните, милейший Александр Александрович, сие сочинение не салонно-водевильного характера. Здесь только факты.

Они молча смотрели друг на друга. Генерал подумал: «А держится-то как потаённо. Партизан!»

Алябьев угрюмо размышлял: «Кажется, началось...» Вспомнилось залихватское: «Сабли наголо!» В ушах пронеслось бесконечное раскатистое: «Ура-а-а»... Чтобы скрыть странную улыбку, возникающую на лице в самые опасные моменты жизни, он, прикрыв рот ладонью, устало сказал: «Читайте».

– Извольте. Но заранее предупреждаю: отрицание – не в вашу пользу.

– Смотря что...

Ровинский встал из-за стола и, тихо приблизившись к Алябьеву, как можно спокойнее сказал, потрясая листиком:

– Только факты. Факты. Позвольте?

Алябьев молча кивнул. Настороженно подумал: «Хватка-то бульдожья. Такой насмерть загрызёт, если в горло вцепится. Но я не дамся... не дамся». Почему-то опять вспомнилось денисовское: «Попал в плен – не горюй, а мозгуй, мозгуй». В сознание россыпью вошли звуки, бодрящие звуки и голоса его романсов. А Ровинский, вглядываясь в спокойное лицо уже немолодого композитора, почти участливо спросил:

– О чём вы думаете, сударь? – Помахав листком, строго выговорил: – Ведь это, считай, почти приговор.

Алябьев, не удостоив его взглядом, задумчиво глядел в окно. Отрешённо сказал:

– О снеге, генерал. О снеге...

– О снеге?

– Да, о нём. Февральский московский снег имеет свой запах. И даже свою мелодию. Романсовую. Русскую. Снежинки, заметьте, стали лохматыми и певучими. В своём последнем хороводе, кружась, они всегда поют вещей гимн жизни. Жаль, что их, как и людей, немногие слышат. А ещё меньше понимают. Может, поэтому они и тают. И погибают. Но мелодии их передаются весне. Разве об этом вам не известно?

– Нет.

– Жаль. А телепатом себя считаете... Или вы ошибаетесь на сей счёт?

Ровинский строго заметил:

– Здесь вопросы задаю я.

– Так точно! – Алябьев принял стойку «смирно».

Неожиданно оба расхохотались. Смеялись потому, что оба были людьми. Хохотали потому, что в необузданном русском характере присутствуют блажь, дурачество. То дурачество, что сблизает порой и несближаемые углы воззрений и положений. Первым пришёл в себя хозяин кабинета. Громко кашлянув, он строго проговорил:

– Снег – он, конечно, больше по вашей части. Композитора, романсиста. Может, и музыкален. Но вы ко мне в кабинет попали...

– Да вы читайте, читайте, – успокаивающе сказал Алябьев. – Я вас понимаю.

Ровинский сел, поднёс листок близко к глазам. Подумал: «Ну анафема, ну партизан! Кто воевал, тот...» Он стал строго и внятно читать:

– «24 февраля 1825 года на дому у отставного подполковника Алябьева Александра Александровича состоялся званый обед». Вы это не отрицаете?

– Нет.

– Похвально. «Обед сопровождался обильной выпивкой и завершился картёжной игрой». Вы это тоже не отрицаете?

– Нет.

Ровинский строго взглянул на Алябьева и зло отметил: «Не отрицает, шельма». Уже более лояльным тоном продолжил:

– «Среди приглашённых были отставной полковник Тимофей Миронович Времов, сосед Кулагин, отставной майор Глебов и шурин Алябьева – Шатилов». Вы и этот факт не отрицаете?

– Нет, – ответил Алябьев.

– Хорошо-с. Вы, господин Алябьев, в той картёжной игре сами-то принимали участие?

– Нет. Как хозяин дома, я только наблюдал.

– Интересная роль. Что ещё вы делали?

– Да больше, в общем, ничего.

– А напитки подносили? – уточнял генерал.

– На правах хозяина – да.

– Так-так. У вас тогда в доме было всё гладко?

– Как в любой игре, – равнодушно констатировал арестант.

– Интересно, и кто же проиграл?

– Вам же всё известно, генерал. Зачем это...

– Мне требуется ваше объяснение. Ваше, господин Алябьев.

– Проиграл тогда Времов. Но платить наотрез отказался.

– Почему?

– Намекнул на «нечистую» игру партнёров.

– И тогда вы его ударили, – безразлично вставил генерал.

– Несколько пощёчин – защищал честь.

– Согласен, согласен, – миролюбиво подняв руки, вставил Ровинский. – Но... Но после вашей «защиты чести» человек того... помер.

Алябьев, пересилив себя, уже другим тоном сказал:

– Заметьте, через три дня после игры и не в моём доме.

– Где же? – участливо переспросил Ровинский.

– По дороге из Москвы в своё воронежское поместье.

– И это всё, что вы имеете мне сказать? – опять бесстрастно заметил Ровинский и почесал затылок.

– Всё, ваша честь.

– Да-а, – раздумчиво произнёс хозяин кабинета и стал прохаживаться по мягкой ковровой дорожке. – Это много и немного. Всё и ничего. А человека, вы понимаете, человека нет. Он мёртв. – Размашисто перекрестился. – Царство ему небесное. Жаль,

отвоевался, бедолага. Помер. Помер не на поле боя, а за картёжной игрой. Или вследствие этой игры. Позор для русского офицера. Вы помните начало нашей беседы?

– Смутно, – ответил Алябьев, потирая виски.

Генерал удовлетворённо отметил: «Зацепило. Матушка-смерть любого живущего понимает». Вслух нейтрально произнёс:

– А начало нашей беседы... Я затронул-с предмет научный. Вроде бы отстранённый от сути дела. Предмет сей-с телепатией зовётся.

Повисла длинная пауза, неловкая для Алябьева. Но очень удобная и хорошо продуманная матёрым дознавателем, почти царёвым приближённым генералом Ровинским. Проваливаясь в опасную бездну паузы, Алябьев растерянно подумал: «Блефует. Куда он клонит с этой чёртовой телепатией?» Вслух, выдерживая тональность разговора, раздражённо и якобы даже испуганно, скороговоркой произнёс:

– Да я... Я, ей-богу, не вижу связи. Связи с тем, что случилось, и с вашей наукой телепатией.

Ровинский снисходительно-покровительственно произнёс:

– А связь, голубчик, существует везде-с. Она невидима, но она есть. Извиняйте за нескромность, но я, как телепат, могу угадывать мысли на расстоянии. На большом-с российском расстоянии-с. Так-то.

– Да ну! – притворно воскликнул Алябьев. – Любопытно. Ну и...

– Ну и... – в тон Алябьеву протянул Ровинский. – Тогда, два года назад, в театре, вы, помните, солировали?

– Я никогда в театре не пел.

Ровинский, махнув рукой, беззлобно заметил:

– Да не на сцене. А передо мной, в фойе, голубчик. В обществе, кажется, Грибоедова. Он тогда так аппетитно расхохотался. Ну-с, вспомнили-с?

– Нет, не помню.

Ровинский, приняв позу солиста, самозабвенно, изображая в руках гитару, как прожжённый тюремщик, запел:

*Цыганка с картами –
Дорога дальняя.
Дорога дальняя –
Казённый дом.*

– Брависсимо! – воскликнул Алябьев. – У вас неплохо получается, генерал.

– Так значит, вспомнили?

– Грешен, было дело.

– Но вы тогда не допели...

– Ну и что? Разве в этом...

– Боже упаси! – воскликнул Ровинский. – Никакой крамолы в этом нет.

– Так в чём же дело?

– А дело, голубчик, в том, – просиял Ровинский, – что я тогда, два года назад, после ваших тюремных куплетов предугадал, что мы встретимся здесь. У меня в заведении. – Довольно потирая руки, произнёс: – Тю-тю, а человека нет. И песня не спета...

– Какая чепуха! Неужели, уважаемый генерал, вы допускаете мысль, что я стремился к этой нашей встрече?

– Ни в коем разе. Не я допускаю, а телепатия. Она, милейший Александр Александрович, наука древняя. А сказанное слово... Слышали, чай: как аукнется, так и откликнется. И всё это – не я, а она – наука древнейшая. Но суть не в ней.

– Так в чём же?

Ровинский печально, одними уголками губ выдал нечто похожее на улыбку. И нечто похожее на слова:

– Тю-тю... А человек – пшик. Так-то.

– Не морочьте мне голову. Вы – дворянин, а не телепат. И я дворянин. Не убийца.

– Стоп! – прервал Ровинский.

Алябьев уже открыто рассмеялся в лицо генералу. Сквозь смех, как в смертельной рукопашной схватке, уже открыто прокричал:

– Да вы просто подтасовываете факты! А мысли угадывать ни черта не можете!

– Ошибаетесь, – хладнокровно возразил генерал. – Хотите, сейчас скажу, о чём вы думаете?

– Любопытно. Извольте...

– Вы, отставной подполковник Алябьев, думаете о свободе. Верно?

– Так же, как каждый, кто находится в вашем заведении.

– Пардон, мадам-с! – победоносно почти пропел Ровинский.

Алябьев вздрогнул. На этот раз пуля попала в цель. Алябьев подумал: «Ну, гад, захомутил! Помнит! Мстит. Такое, конечно, не прощается». Ровинский, расхаживая по кабинету, довольно потирая руки, торжественно-тихо продолжал:

– Всё помните, милейший. Всё. Всё, господин шулер.

– Я не шулер! – вскакивая, выкрикнул Алябьев.

Ровинский, с силой надавив на плечо, заставил арестанта сесть.

– Тихо, подследственный. Вы доставлены сюда не как дворянин, а как картёжник, шулер и предполагаемый убийца.

– Всё это ложь, ложь! – теряя самообладание, кричал Алябьев. – Ложь! Комедия безумия!

Усевшись за стол, Ровинский с нескрываемым интересом наблюдал и слушал. Затем, стукнув рукой по крышке стола (отчего хлопок получился звонким, психологически тонко отработанным), внятно, почти шёпотом произнёс:

– Тихо! Здесь вам не салон, не театр. Да будет вам известно, мы – царёвы слуги, народ образованный, читали-с «Горе от ума» на листочках и вашего негритёнка Пушкина.

– А вот трогать Пушкина не надо, он – гений. Понимаете, гений!

– Может быть, – со вздохом произнёс Ровинский. – Не спорю. Но истари подмечено, что почти в каждом гении живёт... крамола. Эта стерва может рушить государства. А к Пушкину, да будет вам известно, подследственный, наш государь-батюшка проявил монаршую милость. Да-да, монаршую. И спас его от Сибири. Вас же, милейший, спасти некому, кроме меня. А факты не в вашу пользу. Что замолк, «пардон, мадам-с»?

Алябьев вновь вскочил с места, затем сел и, приблизив лицо к лику генерала, произнёс:

– Знаете...

– Знаю, – так же тихо ответил Ровинский. – Вы бы меня с удовольствием вызвали на дуэль.

– С большим, – выдохнул Алябьев.

– Сожалею, – миролюбиво и насмешливо почти пропел хозяин кабинета. – Но в моём ведомстве дуэли не практикуются.

Его рука скользнула в ящик стола.

– А вот в картишки, – он показал издали колоду, – я бы не отказался.

– В картишки?! – оторопел Алябьев. – Вы серьёзно?

– Серьёзней не бывает. Считайте, что это наша мужская дуэль чести. Проигравший и станет той самой «мадам-с». Отказ принимается за поражение.

– У меня нет выбора, – погрузился Алябьев.

– Это другое дело. – Подвинул колоду карт. – Означьте козырь.

Алябьев не спеша, как принято, сдвинул колоду. Выпал козырь – пика.

Ровинский сухо напомнил, раздавая карты:

– Проигравший будет в нашей игре пиковая «пардон, мадам-с». А не та, театральная.

Алябьев взял карты, пальцами нащупал тонкие краплёнки. Бросил с возмущением:

– Да они краплёные, телепат чёртов!

Вскочил и замахнулся на Ровинского. Тот, перехватив руку арестанта, заломил её.

– Выдал себя, убийца! – громко закричал: – Дурнов! Уведи шулера.

Вбежал Дурнов, скрутил руки Алябьеву, связал их, толкнул к двери. Алябьев через плечо насмешливо крикнул:

– Пардон, мадам-с!

Дверь закрылась. Взбешённый генерал бросился к закрытой двери, видя перед собой не дверь, а Алябьева, выкрикнул полушёпотом:

– Ну, гад, тю-тю, крышка тебе. Крышка! Но как обо всём этом доложить самому государю? Как? – Отступив от двери, прошептал: – И чего это я разволновался? И не таких здесь обламывал... А от пощёчин не умирают. Это он убил отставного полковника Тимофея Мироновича Времева. Тю-тю – и человека нет. – Задумчиво повторил: – Он.

Быстро шагая по кабинету, как бы про себя повторял:

– Но это надо доказать. Доказать не картёжной игрой, а признанием. Докажем.

Подойдя к окну, долго рассматривал кружащиеся снежинки:

– А снег-то и вправду февральский вальсирует. Чем же он пахнет, снежок наш московский? Чем? А ведь тает и кружится. Кружится и, кажется, поёт.

ВЕТУШКА КАЛИНУШКИ

*Образование, как и политика,
рушится от экспериментов.*

Автор

На стук в калитку я шла без особой радости и любопытства, потому что никого не ждала. В голове сердито пронеслось: «Кого это нелёгкая принесла?»

На улице стояла расфуфыренная особа с сумкой через плечо. В насмешливо растянутой полуулыбке сквозило что-то отдалённо-угадываемое и отчуждённо-незнакомое. Блеск солнцезащитных очков скорее отталкивал, чем располагал к себе. Мы молча рассматривали друг друга. Психологическая дуэль затянулась. Первой не выдержала я и глухо спросила:

– Вам кого?

Очки, нагло вато блеснув зеркальным отражением, чуть сместились в сторону, а растянутые в тонкой полуулыбке губы безразличным полушёпотом пропели:

– Мне бы Жорика-баскетболиста из 10 «Б».

– Жорика, – почти автоматически повторила я в тупом оцепенении, вспомнив погибшего в Чечне одноклассника, а потом школу.

– Да, Жорика, – в той же тональности произнесли насмешливые губы.

– Так он... он...

В голове молнией пронеслись мгновения, дни, годы. Подавив ком в горле и уже почти что-то угадывая, я заорала:

– Так это ты... ты, цыганка?

– Конечно я, – ответили ехидные губы. – Я, Верунья, я.

– Ах ты цыганское отродье!

«Цыганское отродье» бросило сумку, и мы стали тискать друг дружку. Первой опомнилась я. Слегка оттолкнув одноклассницу и когда-то злейшую соперницу, я глуховато забубнила:

– Пойдём домой, пойдём, а то ещё соседи подумают...

– А пусть думают! – отрезала Маша-цыганка.

– Ладно, заходи, только не пужайся за беспорядок. Бедность не порок, а большое свинство. Вот...

– Да брось, брось... Сейчас где чисто – там грязно, а где грязно – там чисто.

Поставив сумку у самого стола, заваленного ученическими тетрадями, и искоса стрельнув глазами на мою гордость – книжную полку, изрекла:

– Последнее прибежище виртуально-печатных идиотов прошлого века.

– Ты что, – заорала я, – от макулатуры учебной я давно избавилась. Это же классика!

– Вот-вот, – ехидно отпарировала мой протест цыганка, – классика, конечно, учит и заряжает и от жизни отрешает. Кто ею пропитан, тот так далёк от жизни, как и сама жизнь от него. По себе знаю. Но я излечилась от болезни книжной. Вернее, некнижная жизнь меня излечила от книжной болезни. Она, знаешь, как лечит! Ох, как лечит – и душу, и тело, и спасибушки ей за это. – Она захохотала и проговорила: – Вру, конечно, так, для цинизма. Вру.

– В Москве все такие... циники?

– Нет! Там, голубушка, в основном прагматики. А прагматизм – это самый скрытый вид бескнижного цинизма. Ясно?

– Ты такая вумная стала, что мне, деревне, не знаю, что и делать перед вами, ваша вумность?

Я мгновенно расслабилась и так звонко, забыто-школьно засмеялась, что у меня глаза заслезились. Отвернулась, поправляя томики книг. Другим тоном проговорила:

– Реву, дурёха, реву.

– Вот-вот, – уверенно продолжала цыганка, – это они, твои книжечки, научили тебя сентиментальности. Да ладно, переучисься. А если нет – пропадёшь. Россия уже не та. И вот что любопытно: кто меньше читает, тот больше получает.

– Да я и так, считай, уже много лет на голодном пайке по чтению. Да и по жизни...

– Как! А покушать, простите, у вас есть? Ну, кушать желает моя столичная вумность!

Наклонившись, она достала, вернее, выхватила, из сумки бутылку. Водрузив её на стол, властно продолжила:

– Это моё! А где твоё?

– Сейчас, сейчас. Запасы есть маленько, – ответила я и побежала к погребу.

А когда вернулась – обомлела: цыганка пела. Она извлекла гитару, хотя та, зачехлённая, висела в углу моего книжного стеллажа. Гостья и рюмки нашла. В одну она поставила веточку калины. Я её всегда втыкала между томиками Некрасова и Есенина. Маша, глядя на калину, не пела, а творила что-то в том мгновенном экспромте наития, когда мысли и чувства, соединившись, создают гармонию страданий духа:

*Ветушка калинушки,
Да моей судьбинушки,
Да моей гордынюшки,
Да моей гор-ды-ню-у-шки...
Да моей крестинушки,
Да моей крестинушки...*

Заметив меня, засмеялась и, перевоплотившись в ту знакомо-угадываемую Машу-цыганку, резко отреагировала:

– Ну вот мои очередные поэтические мучения. Опустили они меня на землю предков. Да не суди меня...

– Да я, я...

– Не оправдывайся. Это случается часто. Не судьба мне быть поэтом по библейским тем заветам.

– Да если б я знала...

– Убийцы всегда так говорят! А потом откупаются, и суд их прощает. А чем ты откупишься? – Заглянув в плетёную кошёлку, нараспев сказала: – Да это же сальце, да ещё копчёное. Откуп принимается, из-за решётки выпускаем!

Она быстро всё расставила на столе: и огурчики, и баночку с вареньем. Так же быстро, открутив свою плоскую бутылку, разлила по рюмкам.

– Ну, за что?

– Конечно, за нас, вечно плебейский учительский класс!

Мы быстро закусили, и цыганка сказала:

– А теперь информация обо мне. О тебе я знаю, что твой охламон спился и сбёг к такой же. А я не писала потому, что... потому что меня из школы того, ну, уволили по собственному...

– Тебя? Да ты же призёр почти всех российских конкурсов!

– Вот потому и турнули. Призёром быть лестно, но тяжело. Завистники. И козни. А конкретно меня турнули...

Маша достала из сумки фото – на фоне памятника.

– Вот за это. Смотри. Знаешь, кто это?

– Нет.

– А надо бы. Это барон Мюнхгаузен.

– Ну и что? – обалдела я. – При чём здесь барон Мюнхгаузен и твоё увольнение?

– Тема требует пополнения энергии... – Она взяла со стола бутылку.

– Мне не надо!

– Знамо! Как всегда... А мне надо!

Маша, живо опрокинув рюмку вина, молвила:

– А теперь слушай. Скульптор Орлов – это иронист нашего века, и добавлю: гениальный. Вот взглядишь в фото. Тут, правда, слова не видны, что на памятнике. А слова такие: «Вы утверждаете, что человек не может вытащить сам себя из болота? Обязательно! Более того, автор уверен, что каждый человек время от времени должен делать это». Скульптор в своей работе отобразил известный момент жизни героя: вместе с лошастью легендарный барон выбирается из болота. Гениальное попадание в цель! Уловила? А водружён сей монумент у станции метро «Молодёжная». Улавливаешь смысл? Вот и вся моя история с увольнением.

– Как вся? Не понимаю...

– Я влюбилась в каменного барона. Нутром приняла глубокий замысел скульптора. Я б его перенесла на Красную площадь, прямо к Кремлю, рядом с мавзолеем.

– И это всё? – спросила я.

– Нет, конечно. Дело было так. Министерство образования, как обычно, спустило тему конкурсного сочинения: «Твой герой, Россия».

– И ты сделала героем барона?

– Угадала. А потом сделали меня. Дай-ка гитару. Поплачем...

И она запела:

*Ветушка калинушки,
Да моей судьбинушки,
Да моей гордынюшки,
Да моей печалюшки,
Да моей прощалюшки...*

Пела отстранённо, иронично. Мне почему-то хотелось плакать. Песенка-стишок сблизила нас, как бы вернула в пору юности. Мы обе долго молчали. Очнувшись, я спросила:

– Так тебя ушли? А сейчас?

– Сейчас, – бодро отреагировала Машка, – я меньше кручусь, но больше получаю.

– И где?

– Давай-ка выпьем, потом скажу.

– Ты же знаешь...

– А ты думаешь, забыла? – погрозила мне пальчиком и ловко извлекла из сумки пакетик. – Держи. С днём рождения! Я-то помню: третье ноября.

– А я вот забыла...

– Грех. Великий грех... Потому давай повторим. Как в школе говорят: повторенье – мать ученья. Потом, потом разглядишь, что я тебе подкинула.

Выпили, и я с нетерпением развернула пакетик. На меня глядел барон Мюнхгаузен.

– Так это же барон, твой кумир!

– Мой кумир в Москве. А твой пусть будет здесь, в станице, и вытянет тебя из болота жизни. Напоминать будет, как я из заслуженных учителей превратилась в офисную уборщицу. Ха-ха-ха! Всё ерунда. Да не вникай в моё заземление! Денег больше хотела, а там платят. И времени у меня больше. Скажи, гитарушка, подруга семиструнная? – Она провела ладонью по натянутым струнам, призналась: – Знаешь, в школе работать нелегко. Не зря ведь говорят: когда закрыты все дороги, пойдём-ка, Дуся, в педагоги. Школу-то я по-прежнему люблю, как Россию Лермонтов: «...но странно любовью...». Думается, мы все Лермонтовы. А вот детей любим материнской любовью. Я думаю, да что там думаю – знаю! – и ощущаю любовь детей. Скучаю по ним. Хотя они энергии много отнимают, но потом энергия всегда возвращается.

И вдруг заговорила странно-знакомо:

– Дети всегда, или почти всегда, до боли мне родные. Хотя у них уже иные миры, другой космос жизни. Внешне похожи на своих пап и мам, но только внешне. Внутренне совсем не те, потому как живут в другом измерении. Пропасть непонимания возникает там, где был упущен момент взросления, ломки между детством и юностью. Прости за мораль, увлеклась. Болезнь учителя всегда морализм. Профдефект былой профессии, что поросла травой... Заболталась, извини.

– Вот ты говорила о детях, – медленно начала я. – Всё в основном верно, если опираться только на логику. А где же гены наследственности, куда она подевалась?

– Всё чепуха! Научная эквилибристика. Эволюцию генную пока ещё никто не приблизил. И, заметь, не приблизил до минимума угадываемости, каким будет человек-ребёнок. Я предполагаю, что никогда не приблизит. Никогда!

– Почему?

– Да потому, что угадать эволюцию развития каждого невозможно. Это Божий промысел. А когда мы, грешники земные, вторгаемся в этот промысел, то получаем новые «измы» – в науке и природе. Давай менять тему! Жизнь-то давно поменялась. Двадцать первый век – это век софистов. Да-да. Коммунистов сменили софисты, древнейшие вруны. По телеку артисты поют им дифирамбы. И себе тоже...

– Всё это, кажется, было... – печально вставила я.

– ...когда не было нас, – выстрелила моя подруга-цыганка.

– Точно! Но тогда были и рабочий класс, и крестьянство...

– Зато сейчас есть новые русские – долла-ро-вичи, и паутинистый Интернет, дающий паутинистый лжеответ на все вопросы богатеньких софистов всех мастей. Стратегия пустоты ЕГЭшной простоты.

– Да. Только сейчас эти шакалы уже сожрали всех ягнят в мудром российском лесу знаний и открытий.

– Да нет! – воскликнула гостя. – Пойми, в лесу ещё не перевелись истинные хозяева. Русские всегда медлительны, а вот медведи яростны.

– Может, они нас и спасут?.. – мечтательно протянула я.

– Кто, медведи? Не надейся! У нас они чаще ряженые, цирковые: под аплодисменты работают. И поэтому, заметь, законы пишутся по двойным стандартам. Вроде под нас, овец. А в действительности – под софистов.

– Тонкостей в законах я не знаю, но фальшь кожей чувствую, вернее, нутром. Как и все, кто попал в пропасть обмана, за черту бедности...

– А я знаю! Не всё, конечно... Слышала о новом законе об образовании, небось? – наседала напористо гостья.

– А как же, на педсовете всегда знакомят с директивами и постановлениями. Но мы ж замученные учителя... Не врубаемся. Точнее, отключаемся или молча тетрадки проверяем. Или спим сидя с открытыми глазами.

– Как это? – удивилась Маша-цыганка.

– Да так. Не врубаемся и отключаемся. У каждого учителя на селе не только рот или род, но и коровка есть, и огород-кормилец.

– А я вот врубилась. Но меня, как я тебе говорила, вовремя отключили. Или, правильнее, – отлучили от школы.

– За то сочинение? Никогда не поверю! – возразила я.

– И правильно делаешь, подруга. Сочинение – это увертюра к опере. А опера – это разговор с директором того престижного лица. Слушай. Вызывает он меня к себе в кабинет после «Мюнхгаузена», потрясает листками всех «мюнхгаузенских» сочинений: «Это что такое?!» Я говорю: «Сочинения». «Ладно, предположим. А если допустить, что это крамола, политическая крамола – сочинения ваших учеников. Но почему они безымянны?» А я ему в тон: «А почему наш безымянный закон об образовании под номером 122 федерального вроде бы значения, почему он не имеет авторов?! Почему безымянный? Почему система образования разделена на два сектора: для золотой молодёжи и для массы?» Ну и пошло-поехало! Я господина директора забросала убийственными фактами. Напомнила о безэкзаменационном едином госэкзамене, я знала, что наш господин директор был в числе авторов. Напомнила, что теневые авторы этой аферы сожрали тридцать миллионов школьно-министерских денег. Напрямую спросила: «Вы знаете о двух российских параллелях образования? Или хотя бы слышали о них, когда рождали сомнительные концепции?»

– А он?

– Он, вальяжно восседая в кресле, в ответ мне нагло улыбался. Потом попросил: «Просветите, сделайте милость, расскажите».

– А ты?

– Я... Что я? Сказала тогда, что верное направление российского образования в непрерывности и доступности. В двух вечных параллелях.

Наступила пауза в нашем живом разговоре. Я всегда боюсь этих похоронно-молчаливых пауз. Тихо спросила:

– А что же он, директор?

– Он поднялся, галантно поклонился и, протянув чистый лист бумаги, изуверски говорит мне: «Благодарю за лекцию. Вот вам ответ на все ваши вопросы». Спросила: «По собственному?» Он: «Пока – да. А если нет, то не по собственному, а по статье». Я с маху написала своё последнее школьное сочинение. Вернее, лицейское. Он внимательно прочитал и, покачав головой, изрёк: «Ведущий педагог, а заявление пишете с ошибками». Я вскочила: «Где ошибки?» Он указывает: «Вот: «живущий», а надо – «проживающий». Хотел подправить. Я крикнула: «Не смей! Это вы, вы... проживаете и проматываете государство. Поэтому и законы у вас временщиковые. Определение «проживающий» – тоже ваше, временщиковое. А у меня и у нас, живых людей, – «живущий», потому что мы живём. Ясно?» Он со вздохом кивнул и черкнул свою подпись. Мы простились.

Взяв гитару, Маша-цыганка запела очередной свой экспромт:

*Простились мы, а жизнь осталась,
И правда где-то засмеялась.
И всё осталось как вчера:
Не опера, а опера...*

– Так ведь, подруга-педагог?

Я грустно покачала головой и вдруг резко предложила:

– Давай сменим тему. Хочу спросить о главном: у тебя кто-нибудь есть?

– Конечно! Скоро распишемся. Кстати, сочинение писали мои детки: «Две точки как два мира», – села она на любимого конька. – Про узаконенную букву «ё». Запомни, словесница: год 2004-й – исторический для буквы «ё». Вернули её в русскую письменность.

– Об этих точках сочинение писали твои детки?

– Да. «Две точки как два мира».

– Ну и как?

– На ура! Единство противоположностей: бедный–богатый, социалистический–капиталистический, тоталитарный–демократический. Эти две точки в сочинениях ребят обрели свои биографии и даже судьбы. Да-да! У одних эти точки просились в бесточечный социализм, у других – в капитализм. А у одного фантаста эти точки даже звёзды зажигали сиянием.

– А что ещё у тебя есть фантастического? – спросила я в тупом очаровании.

– Есть. Только не фантастическое, а обыденное. Реалистическое.

– Говори, говори... – торопила я подругу-цыганку.

– Ишь ты, зацепило?

– Ещё как! – созналась я. – А ещё что-нибудь о своих сочинениях, ну, о темах для детей. На что ты их настраивала, бунтарка?

– А на всё! Они сами часто выбирали темы. А слабаки отстреливались за «неуды» охотой на словесных блох.

– Чего-чего? Каких блох?

– Словесных. По телеку. Если схлопотал «неуд», говорю: «Исправлять будешь по программе или в «охотники» подашься?» Большинство «охотятся».

– Как?

– Ну, отлавливают огрехи по ящику. Дикторы-то наши, даже учёные-лингвисты, свои монологи начинают со слов-паразитов: «вы знаете...» Знакомо?

– Знакомо.

– Так я придумала для «охотников» отстреливать эти шаблоны.

– И много в классе «охотников»?

– Почти все: и хорошисты, и отличники.

– Ну, ты профи! Удумала же такое! А в сочинениях крамола и фантастика?

– Точно! Реальное и виртуальное. Чтобы раскрыть тему, нужно хотя бы приблизиться или прикоснуться к значимой идее.

– Давай, раскрывай. Тема и идея – что оскомины на зубах. Раскрывай... Ну!

– Тема, – медленно и важно продолжила гостья, – как и идея, состоит из нескольких слов. А за ними родники, реки и даже целые моря, а порой даже океаны надводных и подводных рассуждений и целый космос мук и волнений. А всего-то одно-два слова: тема и идея.

– Социализм и капитализм, – съехидничала я.

Цыганка, стрельнув глазищами, членораздельно, по слогам, взрывным полущёпотом отчеканила:

– Социализм и капитализм, детка, были не «вроде», а в натуре. Со своим страдательным причастием в прошедшем времени. И в настоящем!

– То есть в нашем капитализме.

– В нашем диком анархизме.

Чувствуя, что я её достала, безучастно заметила:

– Ты глаголешь, детка, словно на уроке. Но я ведь не школьница, а педагог высшей категории.

Мне было хорошо в наступившей паузе, вернувшей меня в водоворот юности, а может, и детства. Машка-цыганка захлопала в ладоши и яростно, но беззлобно сказала:

– Поздравляю. Значит, и ты папку о себе писала.

– А как же, писала. В прошлом веке, в середине 90-х все учителя говорили о себе, любимых, как сейчас депутаты перед выборами. Такова се ля ви, мадам.

– Какой позор!

– Почему позор? – притворно спросила я.

– Да не позор, а, прости меня за вульгарность, – лажа! – возмутилась гостя.

– Почему?

– Скажи честно: тебе не было стыдно?

– За что? – опять притворно переспросила я.

– Да за то, что ты себе, любимой, пела дифирамбы. Не столько методике, сколько себе.

– Если честно, была вначале неловкость. Но потом, когда я познакомилась с такими же «роженицами папок», неловкость прошла. Да ты не улыбайся. Разряд – это же деньги.

– Я не улыбаюсь, а громко хохочу над той дебильной районской папочкой. Думаю, об этом позоре ещё снимут фильмы. Напишут и романы, и рассказы. «Папочная» тема квалификации учителей и выборы высших чинов... Это же находка для нынешних Зощенко и Аверченко. Ладно, хватит. – Маша вновь рассмеялась. – Меня так и раздрает рассказать про мою личную папку. Можно?

– Давай, давай. Это интересно.

– А вот мне и грустно, и смешно. Слушай. Я была уже... со своими актёрами победителем нескольких конкурсов.

– Пстой, почему актёрами?

– Урок – это игра. Спектакль. Ты понимаешь. Так?

– Да, но иногда они так разыграются...

– А ты срежиссируй эту игру. Поплавай по их морям и океанам. Вот тогда твои ученики и будут артистами.

– Расскажи о папке, – напомнила я.

– Уже не хочется. Картинка пропала.

– А ты восстанови.

– Не получается. Восстановление – это не мать учения, что зовётся повторением, а мачеха. Мачеха, понимаешь?

– Понимаю. Но повтори, мне интересно, – настаивала я.

– А мне нет... Ладно. В двух словах. Мне сразу там присвоили высшую квалификацию эти чиновники. Без расспросов, потому что я была со своими актёрами призёром... Помню, как тогда мандражировали коллеги. Они вмиг превратились в учеников. В троечников.

– А как же! – запротестовала я. – Моя индивидуальность тоже мандражировала. Да мы все были тогда учениками.

– А я нет! Даже скоморошничала над комиссией. Ты меня знаешь...

– Да-да, знамо. Ну и как это было?

– Я вошла, и мне стали петь дифирамбы. Помимо того, что я вовсю их пела в своей методичке. Папке то есть. И стало мне противно, понимаешь? Ох, как противно!

– Да ладно. Там сразу дали тебе высшую категорию?

– Да. Через два разряда перескочили. У них у всех глаза горели, как у тебя теперь. А мне почему-то стало грустно, как сейчас. Я поблагодарила комиссию и робко заметила, что забыла написать эпитафию к папке. «Эпитафия? – живо переспросил какой-то важный туз из министерства. – Так вы его скажите, озвучьте ваш эпитафию». Дело в том, тогда сказала я, что в этом эпитафии автор рассмотренной и одобренной вами папки – в образе мужчины. Они все вылупили глазищи, а тот, из министерства, бойко настоял: «Это сверхоригинально. Говорите». Все замерли. Я робко подошла к окну. А у меня, когда я входила, уже родились эти ехидные строчки. Я сказала: «На улице гроза». Все повернули головы к окну и почти хором произнесли: «Там нет грозы. Идёт снег!» «А я слышу грозу»,

– сказала я. Они молчали. Я спросила: «Так мне читать эпиграф?» «Да, да», – откликнулись голоса. В немой тишине я чётко, чеканя каждое слово, прочла:

*На улице, на улице гроза,
А я стою как памятник огромный,
И у меня методика в глазах,
А я такой талантливый и скромный.
И папку написал я всю с себя,
Методику научную любя...*

Они, смеясь, захопали в ладоши. Я выскочила. Меня обступили, стали спрашивать, почему хохочет комиссия. Сказала, что рассказала им анекдот. Спрашивают: «Какую категорию дали тебе за анекдот?» «Высшую», – ответила я. Мне не поверили. А потом моя защита была притчей во языцех. Мне думается, любой успех – это целый космос сомнений. Вот он, наш звёздный, наш божий космос. Не ищи его на Земле. Подними голову к небу и загадай желание. Попроси Создателя и не греши. Тогда всё получается вроде бы легко. Но за этой лёгкостью, как за пушкинской строкой, – твой звёздный путь, твои муки и сомнения. А знаешь, почему люди умирают, а звёзды сгорают...

В коридоре хлопнули дверь. С порога мой Володька закричал:

– Мама, мама, в школе карантин... А деньги учительше на день рождения я успел отдать...

Войдя в комнату, смутившись, произнёс:

– Здрасьте.

– Здравствуй, здравствуй, – ответила цыганка.

– А я вас знаю. Мама говорила. Вы меня в Москву возьмёте?

– Покорять столицу собираешься?

– Собираюсь.

Цыганка подошла и, положив ладонь на голову сына, сказала:

– Вот ещё один покоритель. Да ты не беспокойся: возьму, возьму. У нас пока нет карантина. Значит, возьму.

– А что, в Москве не болеют?

– Болеют. И в Москве болеют. Она большая-пребольшая. В ней можно и заплутать, как в дремучем лесу, где водятся и нечистые бесы, и мудрые змеи-искусители. В Москве сошлись десятки городов, маленьких и больших, и тысячи таких станиц, как наша Марьинская.

– Как? Москва-то одна...

– А история, по которой ты учишься, разве одна?

– Если бы! Историй много. А надо бы, чтобы была одна, как Москва на карте. Почему вы молчите? Разве я не прав?

Мой сын был прав или почти прав. Но мы почему-то молчали...

Александр РЫЖОВ

Александр Сергеевич Рыжов родился в 1974 году в Оленегорске Мурманской области. Поэт, прозаик. Член Союза писателей России. Автор девятнадцати книг, десять из которых вышли в крупных московских издательствах.

Финалист «Илья-премии» (2001), лауреат литературной премии Баёва-Подстаницкого (1996), премии губернатора Мурманской области за особый вклад в развитие культуры и искусства (2006) и литературной премии «Неизбывный вертоград» (2011). В рамках Всероссийского конкурса «Читают все!», проводимого газетой «Книжное обозрение», признан лучшим журналистом 2008 года. Обладатель «Литературного Оскара» (Германия, 2010) и диплома Союза русскоязычных литераторов Австрии. Призёр Первого Всероссийского конкурса духовной поэзии (2010).

ПОКА ПОСЛЕДНИЙ ЧАС НЕ ПРОБИЛ...

Ах, терпко как – под клёкот кочетов
Желудок водкою умащивать!
Листва кошёлками решётчатыми
Качает грусть мою саднящую.
Ах, больно как! Вон там, за выкосом,
Ярится свет в закатном капище.
Вот-вот из тела сердце выскользнет
Трепещущей кровавой каплицей...
Пейзаж, туманами оболганный,
Вдохни в себя – до боли в гландах.
Усни, облокотясь на облако,
Пропахшее дождём и ладаном.
Там, позади, где ветви нежно так
Ласкают холку небосвода,
Осыпавшимися подснежниками
Притоптаны былые годы.
Ах, сладко – зеленью узорною
Замыленные взгляды потчевать!
А зёрна... зёрна беспризорные
Давно уже скатились в почву.
Пускай расплывшимися рядами
Воспоминанья застыт прошлое.
Хандру с души не надо стряхивать –
Растрёпанную, заполошную...
Пусть ухо, от речей уставшее,
Сверчок щекочет заговорщицки,
Тоску свою не смей выкашивать –
Пусть прорастает, пусть топорщится!
Пускай в груди зудит и в черепе
И с потрохами рвёт утробу –
Её, как сладость, ложкой черпай,
Пока последний час не пробил,
Покуда сумерки на нересте
Не разрешатся ночью тучною
И не сбегутся звёзды-нехристи
Поллюбоваться новомучеником.

СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

*...лисицы имеют норы,
и птицы небесные – гнёзда;
а Сын Человеческий не имеет,
где приклонить голову.*

Мф. 8, 20.

Испокон – и до бесконечности
(Вот же доля ему, бедовому!)
Ищет Сын Человеческий,
Где приклонить голову.
Год да два... Поначалу до ста им счёт,
Ну а после – на тыщу и боле.
А ему б – до утра пристанище:
Неуютно ночами в поле...
Дышит зима вечностью,
Сыплет с небес оловом.
Ищет Сын Человеческий,
Где приклонить голову.
Нет конца и края Его пути,
За вертепом – храм, за притоном – скит.
А Ему б человека суметь найти,
Он – заметьте! – Сын Человеческий.
Плоти отдыха надобно – ан никак!
На земле оно, чай, не в раю-то.
Гонят вон человеки странника,
Не дают человеки приюта.
Вседоуш Он, но нынче не грозен шаг –
К ним ведь надо по-доброму, к праведным.
А у них и воды не допросишь,
Не то что крова и пряников...
Но упряи Он! Не смять его плеч тоске.
С верой глядя в душонки квёлые,
Ищет Сын Человеческий,
Где приклонить голову.

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН

Едете ль праздно, по делу спешите ль,
Гляньте направо. Лачуга. В ней
Нашей деревни последний житель
Коротает остаток дней.
Мшист и щеляст, сучковат и жилист,
Чоботы носит не по ноге.
Все мы тут дачники, все чужие,
Он – последний абориген.
Зимою вьюги гуляют шалые,
Ломятся нагло в пустые дома.
Он здесь живёт, ни на что не жалуясь,
И постепенно сходит с ума.

Срубы садятся всё ниже и ниже,
Давит деревню смертельный недуг.
Но у разбросанных этих домишек
Есть ещё общий недремлющий дух.
Он круглый год на воде и хлебе,
Дик, одинок, предоставлен себе.
Будто в уродском бревенчатом склепе,
Заперт в своей кривобокой избе.
Жизни не вечно барахтаться в бренном...
Скоро окончит он путь свой земной,
В небыль уйдёт. Не один, а с деревней.
И хорошо, что не со страной.

Я ЛЮБЛЮ

(Из Поля Элюара)

Моя любовь к тебе впитала бездну лет
И бездну чувств к тем женщинам, которых
Я никогда не знал... И шум простора,
И запах хлеба, и весенний свет.
Моя любовь к тебе впитала талый снег,
Росу с цветка и крик зверья лесного.
Моя любовь к тебе – первооснова,
Древнее мира, истины ясней.
Моя любовь к тебе не ведает помех,
Она – поверь же! – не каприз, не шалость.
Тебя люблю за нелюбимых тех
Страдалиц, в чьих зрачках я отражаюсь.
Моя любовь к тебе затмила целый мир
И всё, что было меж сейчас и прежде.
Передо мною смерть смыкает вежды
И, в зеркале магическом на миг
Мелькнув, с поспешностью уйти стремится вспять,
Поправ времён извечное течение,
И даже слово «жизнь» с его значением
Я начинаю постепенно забывать...
Моя любовь к тебе премудрости полна,
Я властелин её, и я же – узник.
Моя любовь не ведает иллюзий,
Она бессмертна,
Искренна,
Честна.
Ты сомневаешься?
Напрасно!
Надо мной –
Ты словно солнце с яркими лучами.
И ангел мой витает за плечами,
И мне не страшно на тропе земной.

Ты по городам, а я на выселках.
В стороны нас тащат полюса.
Там, где ты, – сиреневая высь легка,
Там, где я, – в сирени палисад.
Там, где ты, – тепла на самом донце,
Там, где ты, – морошины в горсти.
Ночью бьётся северное солнце
В окна осовелые квартир.
Там, где я, – наливки и наливники,
Там, где я, – полёвки и плетень.
Там закат безжалостным опричником
Четвертует уходящий день.
Скоро вырвусь из дневного плена я,
И проглотит ночь меня живьём,
Чтобы мне привиделась Вселенная –
Та, где мы.
Наедине.
Вдвоём.

СЫНУ

Ты вырастешь и станешь знаменит,
А лучше – просто честен и здоров.
И перестанет влечь тебя магнит
С таким названьем старомодным – «кров
Родительский». Ты будешь на коне,
А лучше просто – на своих двоих.
И по стране пойдёшь, как по стерне,
Зашив в подкладку мой негромкий стих.
Ты вырастешь так звонок и силён,
Что я забуду звать тебя «малыш».
Моих корявых строк невнятный стон
Ты перекроешь. И перекроишь.
Ты будешь приезжать хоть иногда,
Хоть изредка, но всё ж, в конце концов,
Ты дорастёшь до той поры, когда
Стыдятся первобытности отцов.
Ты вырастешь так скоро, что никто
И не поймёт, как вышел этот трюк.
А я надену старое пальто,
Ладони запихну в карманы брюк
И выйду за порог, где пустота
Оставит всё бывшее за кормой.
Над дряхлыми мощами хлопотать
Тебе не доведётся, мальчик мой.
Всё в мире для тебя: и красота,
И боль, и радость... явь и миражи...
А мне довольно будет и креста
Над холмиком в какой-нибудь глуши.

Выйти из игры – это очень просто.
Трубку на рычаг. В сторону рука.
И не задавать лишнего вопроса,
Чтоб не ожидать лишнего звонка.
Это не позор, это право мудрых.
Выйти из игры – так легко, поверь!
Правильней всего – самым ранним утром.
(Лишь бы без щелчка затворилась дверь.)
А потом – вразнос – по чужим причалам,
Ждать, когда опять захлестнёт порыв...
Козыри в руках. Бейся! Но сначала
Выйди из своей нынешней игры.
Накатила грусть? Ничего, бывает...
Все пройдёт само через сотню лет.
Выйти из игры – как сойти с трамвая,
Бросив на асфальт скомканный билет.

Здесь, куда ни брось, – сплошняком зима,
Только снег да изморозь в закромах.
А в резных Рязанях берёз размах,
И стрекозье кружево в Костромах.
Здесь, куда ни кинь, – только лёд и лёнь.
И, куда ни глянь, – безулыбный люд.
Ковыляет лето на костыле –
Жалким приложением к февралю.
Здесь промозглый ветер берёт в намёт
И летит по чахлым по ивнякам.
А в Коломнах лакомо млеет мёд,
Липы липнут в Липецках к облакам.
Здесь леса пусты и листы чисты.
Здесь во вьюги кутаются дома.
Здесь, куда ни кинь, – только сон и стынь.
Здесь, куда ни ткни, – только тьма и тьма.

Падают старые тополя,
Вздыбив над травами ржавые корни.
Падают
В жуткой предсмертной агонии,
Жухлыми кронами шевеля.
Падают старые тополя,
Выбившись вдруг из рядов сплочённых,
Медленно, страшно и обречённо –
В заросли хрусткого ковыля.
Видимо, всё же опора тонка:
Освободившись от строп и от лямок,
Рушится прошлое с тополями,
Падают месяцы, годы... века...

Падают старые тополя.
Валит их время могучими лапами.
Гаснут селенья, как старые лампы,
Гаснут дороги, сады и поля.
Новыми порами дышит земля,
Новой историей обрастает.
Видишь: бывшее сбивается в стаю
И улетает, и улетает...
Падают старые тополя.

АРХАИЧНОЕ

Своими стопами усталыми
В пустыню девственной страницы
Восходит осторожный стих.
Воск пузырится над шандалами,
И режет письмена десница
На алебастровой кости.
Марая руки рябью охристой,
Терзает краски живописец
У зыбких образов в плену.
И, вдохновеньем полон досыта,
Скрипач, над суетой возвысьсь,
Тревожит тонкую струну.
Скользит резец по глыбе каменной,
И, в мякоть глины погружаясь,
Теплеют пальцы гончара.
Игла в волнах ныряет тканевых...
Так будущего зреет завязь,
Выпрастываясь из *вчера*.

Фёдор ОШЕВНЁВ

Фёдор Михайлович Ошевнёв – прозаик, публицист, журналист. Родился в 1955 году в г. Усмань Липецкой области. Окончил Воронежский технологический институт и Литературный институт имени А. М. Горького. Майор внутренней службы в отставке, участник боевых действий, ветеран труда.

Автор пяти прозаических и двух публицистических книг. Публиковался в журналах «Литературная учёба», «Молодая гвардия», «Смена», «Воин России», «Мы», «Наша молодёжь», «Подъём», «Петровский мост», «Звонница», «Приокские зори», «Южнороссийский адвокат», «Южная звезда», «Казань», «Веси», «Новый енисейский литератор», «Литературный меридиан». «Edita», «Процесс», «Лексикон», «На любителя», «Новая Немига литературная»; в интернет-изданиях: «Эрфольг», «Русская жизнь», «Русское поле», «Искусство войны», «Эстетоскоп», «Город «Пэ».

Живёт в Ростове-на-Дону.

ШОКОЛАДНЫЙ СИМВОЛ ВОЛИ**«ТРЕХЛИТРОВАЯ» ЖЕНА**

– Да больно же, ирод проклятый! Пусти, отпусти! Люди добрые, спасите, помогите! А-а-а! – прорезали октябрьским воскресным утром захламлённый станичный двор отчаянные женские крики.

Они-то и разбудили сладко посапывавшего по случаю выходного лейтенанта Алексея Нартова. Он вот уже третий месяц снимал флигелёк у молодой супружеской пары.

«Опять Борька уже с утра нажрался и жену гоняет, – понял молодой офицер. – У-у, алкаш чёртов!..»

Рывком отбросил одеяло, сел на кровати. Натянул трико, нащупал тапочки... А со двора меж тем продолжало истошно нестись:

– Помогите же хоть кто-нибудь! Ой-ё-ёй, б-о-ольно!

Тут мольбу перекрыл мужской рёв:

– Заткнись, а то вообще убью! Бу-удешь у меня знать, как гулять и концы в воду прятать!

Алексей накинул рубашку, не застёгивая её, толкнул входную дверь флигелька, выскочил наружу. Так и есть: во дворе пьяненький Борька, намотав на руку богатую косу жены Марины, с наслаждением таскал согбенную наречённую по сложной траектории. А поскольку действие сие время от времени повторялось с завидным постоянством, Нартов не стал попусту тратиться на слова, а подскочил к распоясавшемуся мужику и разом завернул ему левую свободную руку за спину.

– А ну, отпустил её быстро! – скомандовал Алексей.

Борька вынужденно подчинился. Освободив волосы, Марина сразу замолчала и на всякий случай отбежала поближе к двери флигелька.

Зато пленённый муж её возмущённо возопил:

– Ты-и-и! Ты кто такой мне руки крутить? Она моя законная! А ты сей же секунд вещи собрал! Проваливай! К этой матери!

Поскольку «проваливанием» с занимаемой жилплощади хозяин пугал квартиранта чуть ли не еженедельно, очередную угрозу Нартов всерьёз не воспринял. Но Борьку таки удерживать перестал. Чем, как ни странно, распалил того вдвойне.

– Всё! Хана! Уходи! Убирайся! – возбуждённо орал он, отшагнув на всякий случай подальше от квартиранта, и даже неловко подпрыгнул, тыча рукой ему в сторону ворот. – Ты мне праздник испоганил! – Секунду подумал и добавил, разделяя слоги: – Про-фес-сио-нальный!

Затем перевёл указующий перст на жену.

– А ты – живо в дом! Ну! Я те там покажу... небо в алмазах!

– Никуда я с тобой не пойду! – со слезами запротестовала Марина. – Опять драться будешь! Проспись сначала!

– Как это? – изумился Борька. – Ты мужнина жена! Быстро марш в дом, голодранка хренова! А ты, гад, – из дома! – снова перенёс он словесный огонь на квартиранта. – Собирай манатки!

– Слышь, буянить-то прекращай! – прикрикнул Алексей. – И обзывать! Тоже мне герой: залил zenки спозаранку – и жену ни про что колошматит! А вот если она сейчас куда надо заявление отнесёт? Про пятнадцать суток забыл уже? Повторно-то не на полмесяца – на все полгода законопатить могут!

Хозяин дома сразу сбавил обороты.

– Я её не за просто так! Гуляет она, сволочь! Гуляет!

– С кем? – не выдержав, с отчаянием выкрикнула Марина. – Где, когда? Ты меня хоть раз ловил?

– Ещё пойма-аю... – буркнул Борька. – А тебе, – и он ещё на шагок отступил от офицера, – повторять не буду: уматывай с хаты сегодня же!

– По закону ты за месяц меня предупредить должен, – не согласился тот. – Вот через тридцать дней и поговорим. А сейчас – шагай проспись. Иначе ведь действительно участковому стукануть придётся.

– Законник какой, смотри, выискался! Защитничек хренов... Праздник испортил... – уже не столь агрессивно протянул флигелевладелец, понимая, что стучать на него в милицию никто не пойдёт.

Это ведь когда он месяца полтора назад вот так же на дворе жену уму-разуму учил, мимо как раз участковый инспектор капитан Богатырёв на «уазике» проезжал. Фамилии внешность соответствовала. Услышал истошные крики, споро отреагировал на них, как по должности и полагалось. Вот угораздило же его именно в тот момент поблизости оказаться! А Марина своего благоверного тогда ещё всяко защитить пыталась, даже заявление наотрез отказалась писать. Только толку с того, если Борька, по нетрезвости сразу не разобравшись, правоохранителю с разворота по мордасам двинул. Тот-то, понятно, даже и не поморщился, а вот для драчуна последствия оказались печальные: лишь при помощи дядьки – одного из местных руководителей – удачно со статьи соскочил.

– Хрен с вами, пойду действительно отдохну, – подытожил баталию горе-хозяин. – А ты, Маринка, лучше добром сознавайся, а то ведь ежели докопаюсь... И вообще: проснись – окрошки с разварной картошкой хочу...

И гордо удалился в дом, почёсывая бок и демонстративно хлопнув дверью веранды. Куда она, жена, на фиг, денется? Придёт, голубушка. На коленях приползёт, детдомовская голь перекатная...

На кухне прикинул на глазок остаток самогона в бутылке: с полстакана – маловато будет. Но что поделать, зато остатки всегда сладки – и со вкусом выхлебал мутную жидкость прямо из горла. Крякнул. Вух, хорошо пошла! Да прямо в трико и линиялой футболке плюхнулся на расшатанную кровать-двуспалку: день утра мудренее станет...

– Ну, Марина, что делать-то дальше будем? – обратился Нартов к женщине, затравленно уставившейся вслед удалившемуся мужу.

Употребил тогда лейтенант единственное число глагола, спросил у неё: «Что делать б у д е ш ь?» – глядишь, на той временной развилке жизнь выбрала бы для них двоих разные дороги. Но, угадав нотки сопереживания в голосе квартиранта, спасённая жалобно попросила его:

– Алексей, можно я у тебя сколько-нибудь побуду? Домой идти страшно: он раз от раза, как выпьет, так всё больше звереет.

– А ты у тётки Дуни-то временно пересиди, – присоветовал было Нартов.

– Нельзя мне к ней сейчас, – грустно пояснила Марина. – Борька ей в последний раз напрямую пообещал: учтите, Евдокия Спиридоновна, будете от меня, супруга законного,

родственницу прятать (а там и родства-то у нас седьмая вода на киселе), вот вам крест: разведусь – и кормите тогда эту нищенку сами! У тётки же, извини, двое школьников на руках. Ну-тка, без мужика подыми! А так глядишь, ещё и чем сама им подсуюплю. Нет, не деньгами, конечно. Откуда? На огороде или хоть постирать-прибраться. Да и жить там, в одной комнатухе, в тесноте... Набедовалась, на раскладушке на кухне спала. Спасибо ещё, когда я после детдома ей на голову свалилась, приняла и чуть не полгода терпела, пока я замуж не вышла. Опять и с работой какой-никакой подсобила... Уж лучше как-то здесь перемогусь. Должен же он когда-нибудь образумиться?

– Это вряд ли... – помимо воли вырвалось у Алексея. – Горбатого могила исправит. – И сразу пожалел о сказанном, увидев, какая глубокая тоска обречённости разом омрачила красивое женское лицо. – Ладно, чего там, пошли, – грубовато пригласил он напросившуюся гостью во флигелёк. – Только учти: у меня и угостить-то тебя особо нечем.

– Это ничего, – уже с бодрой ноткой в голосе ответила Марина.

– Слушай, а чего он про какой-то праздник профессиональный толковал, я не понял? – поинтересовался Нартов. – Для блезирю, что ли?

– Как раз нет, – грустно улыбнулась Марина, входя во флигелёк. – Сегодня День работника сельского хозяйства и ещё какой-то промышленности. Во второе воскресенье октября отмечать положено. Борька загодя про это чуть не неделю долдонил.

– Вот даже как... – хмыкнул молодой офицер. – Выходит, обидел я его кровно...

– Да уж... – со вздохом согласилась Марина, подошла к небольшому настенному зеркалу и стала приводить в порядок толстую косу.

Алексей сунулся в холодильник, добыл тушёнку, шпроты, сгущённое молоко, сыр и колбасу. Поставил на двухконфорочную газовую плиту чайник, полез в пакет за хлебом.

– Не надо, зачем? – запротестовала женщина. – Давай просто посидим.

– Никак нет, – не согласился Нартов, – раз уж оно так вышло, имеем полное право... Тем более я ещё не завтракал, да и ты, наверное, тоже. Так?

– Ну, так. Может, тогда в погреб во дворе сбегаю? За огурцами-помидорами солёными. Сальца опять же – там оставалось ещё в кастрюле...

– А вдруг он в окно следит? Только на дополнительные неприятности нарвёмся...

И вновь лейтенант употребил множественное число глагола...

Они позавтракали, и, на удивление, даже с аппетитом. А что? Алексею – двадцать три, Марине – двадцать один. Молодые организмы витаминов требуют. Ну а пока наши герои заканчивают трапезу – кто чаем с лимоном, кто кофе со сгущённым молоком, – познакомим читателей с ними поближе.

Начнём с сильного пола. Лейтенант авиации Нартов Алексей Александрович. Уроженец одного из райцентров Липецкой области. Там же окончил десятилетку и за компанию с лучшим школьным другом Виталиком Есауловым поехал штурмовать Ульяновское высшее военно-техническое училище. Как раз в том, две тысячи пятом, году оно вновь обрело самостоятельность, распрощавшись со статусом Ульяновского филиала военной академии тыла и транспорта. Конкурс в УВВТУ друзья выдержали без особых проблем и в июне две тысячи десятого в числе середнячков окончили вуз, получив специальность «Обеспечение и применение ракетного топлива и горючего».

Дальше пути их разошлись: после отпуска первого, отгулянного уже в офицерских погонах, Есаулова направили под Екатеринбург. Нартову же по распределению досталась ростовская глубинка: лётный полк, базирующийся в степи, откуда до близлежащей станции было километров десять, а до райцентра – так все тридцать с гаком. Назначенный помощником начальника службы снабжения горючим, он с ходу принял на себя все «тяготы и лишения» повседневной службы. Как на грех, в полку неоправданно затянули с капремонтом офицерского общежития, так что Алексею сразу пришлось искать себе временное жильё в станции, а потом оттуда на службу – порой очень рано – добираться на стареньком мотоцикле.

Зелёный «Восход-3М», ещё девяносто пятого года выпуска, но вполне исправный и даже ухоженный, Нартов всего лишь за три тысячи рублей приобрёл у начальника вещевого службы полка, увольнявшегося на пенсион и переезжавшего в город своего детства. Тем паче на бензинчик для мотоцикла, учитывая занимаемую должность, и тратиться не приходилось. Нет, в перспективе зимой на двух колёсах, конечно, особо не поездишь, но замкомандира полка по тылу клялся и божился, что ремонт общежития завершат ещё до декабря.

На квартиру к Борьке Алексей попал отнюдь не случайно: адрес ему по прибытии в полк в штабе дали.

Когда лейтенант открыл калитку, прятавшуюся среди давно не крашенного забора, домовладелец, одетый лишь в синее трико, сидел на ступеньках крыльца и ожесточённо смолил «Приму». На пальцах левой руки читалось некачественно татуированное: «Боря».

– Вечер добрый, – поздоровался офицер.

– Ночь покажет, добрый он или хрена с два, – отрезал курящий.

– Что так пессимистично? – поинтересовался Нартов.

– А чему радоваться? Конец света на горизонте. И если, к примеру, Земля изнутри вулканами не взорвётся, так инопланетяне в рабство возьмут. По ящику уже сообщили: три крупнейших корабля к нам летят: два круглых и цилиндр, – пояснил хозяин, затянулся и продолжил: – Или этот... астероид с Эльбрус величиной на полном скаку по Америке долбанёт, а нам до самой ж... тоже аукнется. Третья термоядерная опять-таки возможна. Да мало ли...

– Хм-м... Это у вас в станице, что, все так информационно продвинуты и глобальными проблемами человечества озабочены? – удивился Алексей.

– А то! – довольно осклабился Боря. – Мы здесь, понимаешь, отнюдь не лаптем щи хлебаем...

– Понял. Только вот с эдакими воззрениями впору верёвку с мылом прикупить да подходящий крюк высмотреть, потолще, – едко сыронизировал лейтенант.

– Вот это уж ты шалишь! Это ты давай сам... шею намыливай, – загоготал собеседник, затянулся и щелчком отправил незагащенный окурок в клумбу под окном веранды. – Пуцай цветики тоже подышат, я не жадный... Ну что, поди, на квартиру устраиваться пришёл?

– Да. А как вы догадались?

– Я здесь родился и вырос, – со значением пояснил хозяин, лениво поднялся на ноги и сладко, с хрустом потянулся. – А полк лётный рядышком испокон веков разбит. Так что уж как-нибудь служивого и по «гражданке» отличи. Опять же срочную недавно оттарабанил.

– Ясно. А что насчёт жилья-то? Имеется?

– Какой ты быстрый, однако. Спешка нужна только при ловле блох. Или когда чужую жену трахаешь, а муж в дверь ломится, – озвучил хозяин избитую поговорку. – Колись: ты офицер или прапор?

– Существенная разница? – усмехнулся Нартов.

– Имеется. Не терплю «кусков». Из личного опыта, понял? Так что ежели ты – он, то давай дёргай сразу.

– Ну, лейтенант я, – нехотя признался Алексей, хотя почувствовал уже неприязнь к собеседнику. – Помощник начальника службы снабжения горючим.

– Нос в мазуте, зад в тавоте, но службу в воздушном флоте! – неожиданно продекламировал хозяин и вновь загоготал.

– Это вы ещё откуда наслышаны? – удивился офицер.

– Да всё оттуда же! Я срочную служил именно на гэсэме. Только, конечно, за тысячу кэмэ, в Сибири. Понял, зад в тавоте? Да ладно, ладно, не куксись. Давай проходи. Вон он, флигель-то. С газом, с отоплением и даже с раритетной мебелью. Койка там дедовская

ещё. Он её после войны на трофейные камни для зажигалок выменял. Целый вещмешок из Берлина приволок! По тем временам – состояние! Да, кстати, меня Борисом зовут.

– Уже прочёл, – кивнул Нартов на татуированные пальцы собеседника. – Алексей.

– Значит, будем знакомы, – протянул хозяин загорелую ладонь.

Мужчины крепко поручкались, проверяя друг друга на силу. И пошли смотреть сдаваемое жильё...

Столковались быстро – Борис цену не заламывал. Но задаток попросил: хотел быть уверенным в квартиранте.

– Можешь хоть сию минуту располагаться, – радушно пригласил он. – Попервости Маринка, супружница моя, бельём обеспечит, а потом простынки-наволочки с полка возить будешь. У нас все так делают, кто жильё снимает.

– Это я понял, – согласился Алексей. – Только как же мне завтра к восьми утра на службу попасть? Автобус рейсовый до полка вряд ли ходит...

– Я тебе велосипед напрокат дам, – расщедрился Борис. – Машина заслуженная, на внешность не гляди. По сезону даже в райцентр на ней мотался. Давненько, правда, ещё до армии.

– А теперь? Совсем велосипед не нужен?

– Теперь у меня навсегда железный конь под задницей.

– В смысле?

– Э-э, да у тебя мозговые подшипники туго проворачиваются. Трактор, понял? «Беларусь». Почти танк! В СПК «Кавказ» на нём впахиваю. Слыхал? А-а, откуда – ты ж только приехавши. Между прочим, дядька мой, младший материн брат – царство ей небесное, – председателем там и вообще кооператив этот с нуля и создал. Ладно, сейчас пошли пошамаем. За счёт фирмы. Маринка должна уже картошки нажарить. Да по стопарику своей – чего на магазинную тратить: самогончик вдвое дешевле, места только знать надо.

– Да оно как-то не хотелось бы с утра с перегаром на построение...

– Не бойсь, сто раз выветрится! Ты закуси поплотнее: картошечка, огурчики, сальце, грибки... А может, борщичка со сметаной хочешь?

В общем, остограммишься по солидному поводу новоселья пришлось.

За ужином, сервированным прямо на дворе, в беседке, Нартов впервые увидел жену Бориса – Марину.

...Невзрачно одетая девушка, с роскошной тёмно-русой косой, в станице появилась три года с небольшим назад. Она приходилась троюродной племянницей Евдокии Спиридоновне Хохлаткиной, вдовствующей уже несколько лет (муж на Пасху опился самогоном), болящей предпенсионерке, обзаведшейся детьми нежданно-негаданно только в возрасте под сорок. В станице болтали, что нагулянные они: не могло у законного супруга Спиридоновны потомства быть вообще, но ведь со свечкой в ногах никто не стоял. Да и походили наследники на покойного ныне отца явно. Теперь старшенькая, отличница, училась уже в одиннадцатом классе, в райцентре. Младший, сынок-сорвиголова, кое-как учился в девятом. А тогда, летом две тысячи седьмого, Маринка, угодившая в детдом в трёхлетнем возрасте (родители не выжили после автомобильной аварии), сама только окончила школу. И приехала к единственной известной ей родственнице. Они своеобразно переписывались: на ежемесячные послания Маринки Евдокия Спиридоновна отвечала скупыми текстами открыток – на наиболее значимые праздники, но навестить племянницу так и не сподобилась ни разу.

Соответственно, не очень-то обрадовалась и её приезду. Однако, быстро углядев, что та девка работящая, безотказная и скромная, приняла-таки в дом и не прогадала. С работой тоже разрешилось как нельзя проще: заведующая единственным детским садом в станице была школьной подругой Хохлаткиной. А тут в садике как раз освободилось место нянечки, ну, Маринку на него и пристроили. Да как славно! Заведующая нахвалиться не могла.

И всё бы хорошо, однако на девушку быстро положил глаз начинающий тракторист местного СПК Борис Провоторов. Он молоко в детский сад по утрам привозил – вот и углядел симпатичный объект. Не раз и не два пытался Марине свидания назначать, на танцульки в клуб приглашал, ну и прочее... А поскольку избранница бурных чувств ухажёра никак не разделяла, всё больше после работы поспешая домой, крепко озлился. И однажды, употребив для храбрости, отследил недавнюю детдомовку вечером на краю станицы, у озера, куда та прибегала ополоснуться в укромном местечке, да и взял её там насильно.

На крики о помощи прибежали двое местных рыбаков, проплывавших поблизости на лодке. В итоге на Бориса завели уголовное дело. И единственное, чем смог тогда ему помочь почти всемогущий, по сельским меркам, дядька, – посоветовал попытаться загладить вину, предложив потерпевшей руку и сердце. Согласиться на замужество Марине жёстко указали тётка и завдетсадом.

– Ну, посадят его, ирода, так тебе что с того? – втолковывала Евдокия Спиридоновна. – С клеймом порченной век ходить будешь? А так, стерпится – слюбится. Не век же тебе у меня в приживалках ютиться. Вон, свои как на дрожжах подрастают.

– У Провоторовых дом хороший, хозяйство крепкое, – вторила завдетсадом. – Матери Борьки, конечно, палец в рот не клади, человек она скандальный, тяжёлый; ну да уж зубы стиснешь, потерпишь. Глядишь – и она к тебе попривыкнет. Опять же и брат её в станице если не первый, так второй после главы администрации человек. Не упусти свой шанс в жизни, девка!

...Свадьбы как таковой не было. Расписались молодые в ЗАГСе, в райцентре, а потом тесным семейным кругом за столом в доме жениха посидели. Дядька его, правда, там объявился, японский обеденный сервиз «Yamasen» на двенадцать персон подарил. С элементами декоративного искусства Страны Восходящего Солнца. Пятьдесят пять предметов, стоимость – почти сорок тысяч «деревянных». Не то что Евдокия Спиридоновна – постельное бельё да простенький отрез на платье. Ну, с затрапезницы какой спрос?

Отметим сразу: невестку свекровь яро невзлюбила. Не о такой паре для сына мечтала. Борис её ведь поначалу после школы – при помощи дядьки, конечно, – в Ростовский институт народного хозяйства поступил. Только быстро вылетел оттуда, на корню первую же сессию завалив. Лодырничал много, занятия пропускал. Это при том ещё, что в учёбе дубоват-туповат. Побездельничал дома полгода – от армии его, разумеется, «отмазали» – и вторую попытку получить «верхнее» образование сделал. Тут уж он до конца первого курса продержался – и опять на экзаменах «не повезло». Один «хвост» за студентом с зимы числился, да два новых, да ещё сильно нетрезвым на глаза декану уже в самом конце сессии попасться угораздилось... В общем, вузовское начальство стало в позу, и даже приезд влиятельного родственника не помог: из института Провоторова вторично отчислили.

Сильно тогда на безбашенного племянника дядька наехал.

– Пустоцвет ты, Борька, – заявил он ему при его матери. – Всё на меня надеешься, что по-родственному твою жизнь так и буду устраивать. Баста, хватит! – И крепко саданул ладонью по обеденному столу. – Осенью в армию пойдёшь, она тебя, мать родимая, хоть чуток, а жизни научит. А там поглядим, стоишь ли третьего захода на «вышку» вообще. Пока же хватит у матери на шее сидеть и гулять чуть не до утра, а потом до обеда дрыхнуть. Тебя в школе на тракториста готовили? Вот и пойдёшь ко мне общественно полезный труд осваивать – я как раз ещё «Беларусь» навороченный прикупил, буквально вчера пригнали. И смотри у меня, – погрозил дядька нерадивому племяншу литым кулаком, – не приведи бог, загоришь миллионную технику – так не семь, все семнадцать шкур спущу! Ты, сестра, лучше молчи и слёз понапрасну не лей: дожалелась уже, хватит!

...А буквально через несколько дней, после того как Борьку оформили водителем новенького МТЗ, в станицу приехала Марина...

На срочную службу Провоторов был призван двумя месяцами позднее принудительного бракосочетания и свой священный долг Родине отдавал под Челябинском. В письмах же сыну изначально недовольная невесткой мать его усиленно муслировала тему: «А жена твоя, хоть я её за руку так и не поймала, но сердцем точно чую: верности тебе не блюдет, гуляет напропалую...»

Так и не изменив своего мнения по поводу «неблагонадёжности» снохи, родительница Бориса скоропостижно скончалась почти сразу после его увольнения в запас: обширный инфаркт. Теперь молодые обитали в большом четырёхкомнатном доме вдвоём – детей у них пока не намечалось, и глава семейства уже неоднократно высказывал по сему поводу своё мужское недовольство. Причём пытался связать эту тему с подозрениями о «гулевании» жены – мол, потому от меня и беременеть не желаешь...

И ещё. В армии, учитывая специфику службы на складе ГСМ, Провоторов усугубил своё предрасположение к алкоголю. Дома же, за неимением спирта, в предостаточном количестве хлебал самогон. Правда, пока ещё на работе держался, а вот после неё... Особенно раскрепостился, похоронив мать, ведь теперь появился железный повод к употреблению горячительного: всё поминал её чуть ли не ежевечерне. Ну а поскольку самогон хотя и дешевле магазинной очищенной обходился, однако в семейном бюджете дыру тоже пробивал немалую, Борис пораскинул мозгами и скатал на своём МТЗ в лётный полк, объявив в штабе, что подыскивает квартиранта...

Итак, пока хозяин дома и флигелька отсыпался после утреннего возлияния, хозяйка и квартирант, завершив завтрак, продолжили общение. И, не будучи по природе сильно красноречивым с женским полом, Нартов по ходу беседы неожиданно для себя рискнул почитать Марине собственные стихи.

Сочинять Алексей стал на втором курсе. Можно сказать, совсем случайно. Тогда в военном вузе объявили конкурс на создание гимна училища, «наиболее ярко и правдиво отражающего специфику и героику профессии офицера, традиций Вооружённых Сил России, а также преемственность поколений защитников нашей необъятной Родины»... В общем, что-то в духе заслуженно позабытого метода социалистического реализма. Нартов и за перо-то взялся разве что за компанию с лидерами своей группы, и в итоге у него родились следующие четверостишия:

*Мы, гэсээмицики, воины тоже,
Армии нашей частица родной.
Служба у нас на другие не похожа,
Но по-любому главнее любой.*

*Мы мирный труд Отчизны охраняем,
Страны огромной мы – надёжный щит,
И хоть мы сами, признаем, не летаем,
Без нас самолёт не полетит.*

*Масла с горючим – как кровь для человека,
Для всяких войск всегда они важны,
И пусть пройдёт не меньше чем три века,
Мы снова будем в армии нужны!*

Варианту Алексея сослуживцы прочили первое место. Но компетентное жюри (начальник училища, генерал, плюс четыре полковника, в число которых входил и имеющий филологическое образование) решило-таки отдать пальму первенства поэту-профессионалу, которого подрядили для подстраховки: а вдруг из курсантов никто ничего путного не родит?

Мэтр свой гонорар честно отработал, хотя предъявленный им текст оказался пусть и правилен со всех сторон, но написан без душевного тепла, легко угаываемого

в сочинении Нартова. Однако тому попеняли на неточность рифмы, сбой ритма и сомнительное сравнение. Впрочем, второе место – тоже неплохо. Что и подтолкнуло будущего офицера пополнить ряды служителей музыки Евтерпы, поскольку и в дальнейшем он сочинял стихи единственно военно-патриотической тематики.

Итак, достав с полки заветную общую тетрадь, куда переписывались чистовые варианты новых произведений, Алексей смущённо прокашлялся и сначала робко, а потом, всё больше воодушевляясь, стал декламировать их гостье, которая восторженно слушала. Ещё бы: лично ей никто никогда в жизни не читал собственных стихов! А классическую поэзию она уважала. Особенно Есенина и отдельные стихи Бунина (скажем, то же «Слово»): в детдоме преподавательница русского языка и литературы свой предмет и знала, и с неослабевающим интересом преподнести умела...

Нет, конечно, так или иначе прославляющие армию и пропагандирующие военную профессию стихи Нартова всякий изощрённый литератор забраковал бы на корню, обвинив в неумеренном пафосе, беспомощности стиля, менторстве, обилии штампов, а уж по части теории стихосложения вообще бы разгромил. Но Марина уловила в услышанном в первую очередь сильные, а порой даже поразительные по искренности чувства.

– И это всё ты сам? – задала она риторический вопрос, когда Алексей наконец бережно закрыл толстую тетрадь в ярко-красном переплёте.

– Разумеется.

– Ой, какой же ты, однако, молодец!

– Скажешь тоже...

– Нет, правда! Вот никогда бы не подумала...

– Эй, да ты точно совсем обнаглела! А ну, бегом в дом, к плите! Я жрать хочу! – заорал проспавшийся Борька, возникший на пороге флигелька.

И с появлением в дверном проёме небритой оплывшей физиономии разом канула в небытие вся романтическая обстановка домашнего литературного утренника.

На какую-то секунду наступило напряжённое молчание. Нарушил его опять-таки Борька:

– Ну так... Если сейчас домой не пойдёшь – вон Бог, а вон порог! Можешь к Спиридонихе уматывать, только с концами! Безвозвратно! В ногах потом будешь валяться – не приму! А ты, Лёшка, начинай другое жильё подыскивать. Таких наглых квартирантов... да за любую цену не потерплю! Ишь, голубки какие, сидят друг против друга, воркуют! А сами, может, уже и переспали...

– Дурак ты, Борька, – не нашёл ничего лучшего возразить Нартов. – Я её и пальцем не тронул. Лучше ещё поспи – может, тогда окончательно протрезвешь.

– Я никуда не пойду, – заявила побледневшая Марина. – Если хочешь – можешь на развод подавать. Довольно ты моей крови попил... – И обидчиво поджала губу.

– О-ё-ёй, «крови»! – передразнил Борька. – Я что, вампир или как?

– Энергетический, – уточнил Алексей. – Я тебе уже говорил и повторяю: до каких пор бабу мучить по-пустому будешь? Другой бы жил да радовался: ведь красавица в жёны досталась! (При этих словах Марина потупила взор и моментально покраснела, невольно затеребив кончик косы.) А ты со своей идиотской ревностью – и на абсолютно пустом месте!

– Молод ещё меня жизни учить! – рявкнул Борька. – Тоже, красавицу нашёл! А внутри она, может, настоящая баба-яга! И вообще... – Провоторов вдруг осёкся, потом шагнул вперёд, плюхнулся на свободный табурет, побарабанил пальцами по краю стола... И неожиданно заявил-предложил: – И вообще, раз она тебе так понравилась, гони три литра спирта на кон – и можешь её забирать. Совсем. Сегодня же. Один хрен, я с ней всё равно разведусь – так с паршивой овцы хоть шерсти клок. Годится?

– Ты... Да как ты... такое? Вообще язык повернулся? – возмутился Нартов, и от гнева у него аж дыхание перехватило, а кулаки туго сжались.

Борька глупо ухмыльнулся:

– Слабо?

Марина сгорбилась на стуле, и краска стремительно отлила с её лица – словно женщину резко ударили ножом пониже груди...

На этот раз напряжённое, ничем не нарушаемое молчание воцарилось во флигельке на несколько секунд. Теперь его прервал Алексей:

– Я согласен.

– А-аглична! – хлопнул ладонью по столу «продавец» живого товара. – Когда и где бартер осуществлять будем?

– Здесь же. Сейчас на мотоцикле на службу смотаюсь и спирт привезу.

– Только смотри, чтоб неразбавленный!

– Обижаетесь...

– Вы-и-и! – громко воскликнула Марина. – Меня-то спросили? Торгуетесь? Да я вам что – вещь какая дешёвая?

– Гы-и-и... – осклабился Борька. – Достоинство прорезалось? Поздно-а-то...

– Успокойся, пожалуйста, – подскочил к Марине и сжал её ладони в своих Нартов. – Ты мне на самом деле давно нравишься. С самого первого дня, как увидел. Пойдёшь за меня замуж? Я серьёзно! А с ним, – и Алексей кинул гневный взгляд на обалдевшего Борьку, который тупо, с раскрытым ртом слушал признание постороннего в любви к своей жене, – пропадёшь ведь!

– Ты... на самом деле? Не шутишь? – прошептала Марина.

– Да! То есть нет, конечно, какие шутки! Тьфу, сам себя запутал! – мотнул Алексей головой. – Повторяю: я тебя люблю, и выходи за меня!

– Я не против, – еле слышно произнесла Марина.

– Тогда вставай, со мной поедешь, – предложил Нартов. – Я тебя с ним наедине не оставляю: неизвестно, что спьяну выкинет.

– Э-э-э, так дело не пойдёт! – как-то вяловато запротестовал Борька. – А вдруг вы на пару смоеетесь?

– Куда? – искренне удивился Алексей. – У меня же тут всё имущество.

– А кто тебя знает? На дурничку-то, говорят, и соль сладка...

Мужики попрепирались ещё маленько и сошлись наконец на том, что сейчас Марина самостоятельно идёт к тётке, а минут через десять Нартов на мотоцикле выезжает за спиртом.

Так и сделали. Офицер отсутствовал минут сорок, и кутивший на ступенях веранды Борька уже начинал терять терпение. Но вот с улицы послышался усиливающийся стрекот мотоциклетного мотора. И – урра! – Алексей протягивает «купцу» две полторалитровые пластиковые бутылки из-под минеральной воды, под пробки заполненные прозрачной жидкостью.

– Девяностовосьмипроцентной крепости, – счёл нужным уточнить Нартов.

– Годится! – одобрил Провоторов товар, проинспектировав его на вкус. – Можешь забирать эту голодранку!

– Расписку напиши, – вдруг потребовал Алексей. – А то выхлестаешь всё, а как протрезвеешь – начнёшь орать, что ничего не помнишь.

– Га-га-га! – совсем развеселился Борька. – Тебе, может, и свидетелей ещё позвать?

– Было бы неплохо, – тут же согласился офицер.

– А эвон как раз шагают... Парочка – кулик да гагарочка, – углядел Провоторов с высокого крыльца двух подвыпивших мужиков. – Э-э! Рули сюда, магарычовое дело!

Приглашённые в свидетели – доходяга Венька Герасименко, по прозвищу Мумушка – сложное производное от Герасима и Муму, и медвежковатый Иван Сыромясов, больше именуемый собутыльниками как Сыромяс, – находясь в достаточной степени опьянения, поначалу не могли взять в толк, что за документ им предстоит завизировать. Потом всё-таки поставили свои закорючки ниже подписи Борьки. Алексей внимательно прочёл расписку: «Я, Провоторов Борис Петрович, отдаю Нартову Алексею Александровичу свою

жену Провоторову Марину за три литра спирта. Навечно. Обещаю своими претензиями обоих больше не тревожить».

– Ну, всё? Доволен? – уточнил нетерпеливый «бартерщик». – Вот и ладушки. А то нам праздник sprysnutь давно пора. Про-фес-сио-нальный! Только ты, Сыромяс, поперёд за кваском сгоняй: у твоей бабы самый классный, ей-ей! Уважаю! А мы тут пока с Мумушкой сальца подрежем да капустки изыдем из погреба... А ты вали, вали, лейтенант, пользуйся... обедами с барского стола! На хрена она мне теперь сдалась – голодранка, пройденный этап! Вот выпью – и весь гардероб её подпалю! И перину! А больше у неё и нет ничего! Уразумел? Развод и девичья фамилия!

Алексей нервно сглотнул, но желание двинуть хозяину домовладения в рожу переборол. Выкатил мотоцикл со двора, завёл. Уезжая, услышал в спину:

– Скатертью дорога!

Борька пил вусмерть четыре дня подряд. Сначала с приятелями, позже в одиночку. Весь спирт подчистую оприходовал. Про работу, понятно, напрочь забыл. Какое там – он и во двор-то выходить перестал уже на вторые сутки.

Главное, и дядька нашего запойного горе-героя ещё в понедельник с утра в столицу подался – глобальные вопросы по СПК решать. А из Москвы, поразмыслив, уж заодно и в Санкт-Петербург махнул. Так что некому оказалось алкаша авторитетно к порядку призвать. Нет, конечно, бригадир домой к прогульщику дважды ездил. Полнобуется на изрыгающее матерные ругательства нетрезвое тело, плюнет – и отбывает несолоно хлебавши. А на пятый день Борька с чугунной головой выполз наконец на крыльцо дома и узрел новый забор сплошной набивки, ограждающий флигель и кусочек двора. Позвольте, это ещё что за дурацкие шутки?

Походил, ничего не понимая, вдоль грубо оструганных сосновых досок с треугольным верхом. Выглянул на улицу – ещё сюрприз: в старом фасадном заборе вторая калитка появилась. Прямо перед флигельком. Запертая.

«Ах они, мерзавцы! Отделились, стало быть, без моего ведома! – сообразил наконец Провоторов. – Как же, значит, я и не услышал даже? Ну, ничего, это гадство мы сейчас живо поправим!»

Притащил из сарая стремянку, запасся топором и с натугой одолел деревянное препятствие, спустившись вниз по деревянным же лагам.

Флигель был закрыт, да оно и понятно: середина дня, квартирант и бывшая жена на работе оба. Подрубить заборные столбы, а потом завалить доски – и вся недолга. Будут знать, как посягать на частную собственность!

Вот только топор в ослабевших с похмелья руках вёл себя по-предательски. В итоге Борька едва не оттяпал себе пальцы на ноге, взмок и плюнул на шикарный замысел «ломать не строить». С третьей попытки перелез на «свою» территорию, уселся на любимом месте – верхней ступеньке крыльца, выкурил последнюю сигаретку из мятой пачки «Примы». Потом на кухне прямо из банки похлебал огуречного рассола. Есть не хотелось. Хотелось похмелиться, но не было ни денег, ни желания тащиться в магазин на свинцовых ногах. Оставалось ждать. И поневоле – думать...

Около половины седьмого на мотоцикле подъехали Алексей и Марина.

– Э-эй! – осипшим голосом закричал им Провоторов. – А ну, подождите! – И заковылял через две калитки к флигельку.

– Побаловались – будя! – стараясь придать голосу твёрдость, заявил он. – Маринка, домой!

– Никуда она с тобой не пойдёт! – отрезал Нартов. – Пропил ты её! Променял! Или забыл уже? Вот она, копия расписочки-то! – Достал он из нагрудного кармана форменной рубашки сложенный вчетверо стандартный лист. – Ознакомься. Можешь даже порвать. Или съесть – я их пять штук наксерил, не жалко. Ну, читай! Тут и подписи свидетелей имеются.

– Дак это... – Про «бартер» Борька, как ни удивительно, помнил. Поморщился, по складам разбирая текст расписки. – Шутейно же всё было... Ты чего? Жена она мне!

– А кто развестись грозился? И все вещи её спалить? Слава Богу, кое-чего из носильного забрали, пока ты невменяемый четверо суток валялся. Перину, кстати, тоже. И паспорт – знаешь, на всякий пожарный...

– Ну... Чего по пьяни да в горячке не ляпнешь?.. Пстой-пстой... Это ж какой день сегодня?

– Четверг, однако, – с усмешкой отозвался Алексей.

– Брешешь!

– Собаки брешут! – с металлом в голосе отрубил офицер.

– Ладно, ладно, вырвалось... Маринка, ну хватит уже выпендриваться, пошли, а?

– Ни за что! – на резкой ноте вступила та в разговор. – Я от тебя только оскорбления да колотушки за всё время получала! Да и взял-то ты меня как – помнишь? Только потом тюрьмы испугался – называется, «осчастливил!» А он – стихи свои читал! Знай: я уже заявление на развод подала! И согрешила, и не жалею, чтоб не зря меня изменами попрекал!

– Маринка-а-а! – вдруг в похмельной истерике взвыл Борька и бухнулся на колени. – Вернись, матерью покойной клянусь: и пальцем не трону!

– Нет! И вообще, скоро в полку общежитие офицерское откроют, так мы с Лёшей сразу же туда уйдём! А ты хоть подавись своим особняком – мне он без надобности! В детдоме и малому радоваться научили!

– В общем, уходи подобру-поздорову, – подытожил Нартов. – Нам ещё ужин готовить да лечь надо пораньше, а то завтра на полёты в первую смену...

– Не имеешь права гна-а-ать! – запричитал Борька, с усилием подымаясь с колен. – Это моя земля-а-а! И флигель то-оже! Уходи са-ам! Сам уходи! А её оставь!

– Алёша, поедем отсюда, – предложила Марина. – Ведь покоя не даст!

– Но куда?

– К тётке. Как-нибудь в сараюшке на старых одеялах перекантуемся. Ночи-то пока тёплые – на удивление.

– Ладно. Только захватить с собой надо кое-что.

– А как же я-а-а? – голосом обиженного ребёнка вскричал Борька.

– А ты – сам по себе! – жёстко ответила Марина и, брезгливо обойдя пока ещё законного мужа, стала отпирать дверь флигелька.

Уезжали двое на мотоцикле под заунывно-угрожающие вопли третьего...

На следующий день в станицу вернулся дядька Бориса. Быстро вник в ситуацию и тут же помчался к руководству лётного полка.

Дело лейтенанта Нартова скоропалительно вынесли на суд офицерской чести. Заместитель командира полка по воспитательной работе свою обвинительную речь построил, главным образом, на том утверждении, что помощник начальника службы снабжения горючим «украл со склада ГСМ три литра этилового спирта высшего сорта и использовал их для разрушения семейной ячейки общества».

Другие выступающие лейтенанту тоже попеняли, но всё больше как-то несерьёзно, пряча улыбку. Оживление сослуживцев вызвали лишь детали «бартерной сделки». Кто-то из зала высказался, что раз инициатором её был именно Провоторов, значит, он-то и есть главный виновник конфликтной ситуации. Нартов же тут сбоку припёка, пристыжная лошадка. Бориса в первую очередь судить следует! На что сразу получил из президиума отлуп: это не в нашей компетенции, и нечего отступать от темы, а любой выкрик с места есть нарушение воинской дисциплины!

Впрочем, когда Алексей принародно и наотрез отказался порвать связь с Мариной, присутствующие неохотно согласились: да, наказать его, конечно, надо, но вот как? Зам. по воспитательной озвучил мнение руководства: за поступки, дискредитирующие честь российского офицера, ходатайствовать об увольнении лейтенанта авиации Нартова А. А.

из Вооружённых Сил. А стоимость похищенного спирта взыскать с виновного в пятикратном размере. Несколько офицеров высказались мягче: за предупреждение о неполном служебном соответствии.

Главный воспитатель полка взял слово вторично, продолжив с трибуны настойчиво гнуть свою «принципиальную» линию:

– Мы не вправе поощрять аморальность! Разбить молодую семью! Похитить военное имущество! А самое страшное и печальное – он ведь до сих пор так и не осознал и не признал тяжести своих проступков! О чём тогда дискутировать? Вдумайтесь: покрывая вора и разлучника, вы проявляете элементарную и непростительную политическую незрелость! Уволить! Однозначно!

И так-таки настоял на своём, заявив, что по полной программе будет разбираться с лицами, защищающими «двойного» преступника.

Упомянутое ходатайство требовалось утвердить «на самом верху», а посему Алексей временно продолжал службу. Ночевали они с Мариной пока у Евдокии Спиридоновны.

Борис же на работу так и не вышел. Целыми днями валялся на диване, на удивление, трезвый, тупо смотря мимо работающего телевизора или – со ступенек веранды – в на редкость безоблачное небо. А потом застрелился в огороде из двустволки, подаренной ему дядькой в честь окончания срочной службы. Курок нажал большим пальцем ноги.

В горлышках двух пластиковых бутылок из-под «бартерного» спирта сотрудники милиции позднее обнаружили аккуратно скрученные бумажные листы. На первом из них оказалось короткое завещание, заверенное главой сельской администрации. Второй лист – записка следующего содержания: «Прошу в смерти моей никого не винить. Я продал жену за три литра спирта. Нет мне прощения, я это полностью осознал. Дом и всё имущество оставляю жене. Никто меня не преследовал, из жизни ухожу добровольно».

Дядька покойного самострельщика рьяно пытался найденное завещание опротестовать. Переселившимся из флигеля в добротное жильё вдове и её любовнику угрожал, требуя уматывать с чужой территории. «И пока по-хорошему, а не то...» Даже обещал подключить криминал. На защиту законной наследницы решительно встал капитан Богатырёв. Завдетсадом тоже в стороне не осталась: районным функционерам на предпринимателя крепко пожаловалась.

Спустя полгода счастливая супружеская пара – у Марины к тому времени явственно округлился животик – наследство удачно продала и из станицы уехала. Предположительно на родину Алексея, на тот момент уже уволенного из армии. Где точно они теперь живут и кем работают, история умалчивает. Но хоронила Бориса и все поминки (после погребения, на девять дней и, соответственно, на сорок) организовывала именно его «трёхлитровая» жена, как впоследствии окрестили Марину в станице.

ШОКОЛАДНЫЙ СИМВОЛ ВОЛИ

Давно дело было... В конце шестидесятых. Я тогда в пятый класс ходил. И очень любил конфеты, особенно шоколадные с белой начинкой: «Пилот», «Весна», «Озеро Рица». Не скажу, чтобы уж так часто они мне перепали, а всё же почаще, чем старшей сестре Иринке. Сладким обоим больше баловала бабушка Дуся, наш главный воспитатель.

Заканчивалась вторая четверть, и я жил в предвкушении новогоднего праздника и зимних каникул. Во дворе снежинками на иголках серебрилась уже купленная отцом разлапистая ель. Так хотелось поскорее её украсить...

И вот наконец отец принёс из сарая крестовину, чуточку подпилит ствол лесной красавицы и установил её посреди зала. В комнате вскорости запахло хвоей. Игрушки развешивали мы с сестрой – разумеется, под контролем бабушки.

О, эти ёлочные игрушки моего детства! Пузатые будильники, на которых всегда без пяти двенадцать, лубочные избушки с заснеженными крышами, фигурки сказочных зверюшек, переливчатые рыбки, грибы-крепыши... А красная звезда из стекларуса

на проволоке чудом сохранилась у меня и поныне. Айболит и Старик Хоттабыч, светофор и матрёшка, труба, скрипка и барабан – все ручной росписи. Космонавт и ракета, витые сосульки, аж три кукурузных початка, гирлянды из флажков. И, конечно, жизнерадостные шары всех цветов и размеров, с портретами вождей, с серпом и молотом, с узорами, с отражателем, с серебристой присыпкой, неярко блестящие среди колких мохнатых ветвей. Сегодняшние же пластиковые шарики оптом сработаны на одну колодку и без души. Единственный плюс, да и то сомнительный, – не бьются.

Под ёлку мы поставили Снегурочку и Деда Мороза из папье-маше, с надрезанным мешком: по малолетству Иринка пыталась найти в нём подарок.

В заключение священнодействия бабушка принесла ещё и конфеты «Пилот» – двенадцать штук, я их сразу сосчитал, и мы на нитках подвесили лакомство за хвостики фантиков. Потом бабушка предупредила:

– И чтоб ни-ни! Пусть пока покрасуются, а уж после праздника разделите.

Ничего себе – испытание для меня, сладкоежки! Ещё и ёлка рядом с моим диваном: утром глаза открыл – конфеты с веток дразнятся; спать ложишься – опять душевное расстройство.

Словом, уже через два дня «не вынесла душа поэта»... Ведь половина конфет моя. Так какая разница, когда именно их употребить? Ну, не довисели, подумаешь, это-то мы замаскируем.

Первой «жертвой» стал «Пилот» с нижней ветки. Подгадав момент, я вытянул его из фантика и с наслаждением сжевал, а пустую бумажку свернул так, чтобы казалось, будто конфета цела. Лиха беда начало – в тот же день добрался и до второй, а следующим утром – до третьей. Ликвидировав полдюжины «Пилотов», временно остановился: оставшиеся-то уже, вроде, и не мои...

Однако я быстро пришёл к мысли, что сестра почти взрослая, и вообще, за свою длинную жизнь куда больше меня всяких вкусностей съела, значит, пора восстанавливать справедливость. И без всяких угрызений опустошил пару очередных фантиков. Потом, даже внутренне не оправдываясь, просто «приговорил» две следующие конфеты. Доел бы и последние, с самого верха ёлки: семь бед – один ответ. Но тут наступило 30 декабря, и на школьном новогоднем празднике мне вручили традиционный подарок.

Я было хотел подстраховаться, завернуть в пустые фантики конфеты из кулька, но... Это почти все шоколадные повыбрать? Жа-алко...

Развязка наступила после новогоднего ужина – его нам с Иринкой устраивали в девять вечера, и я на нём сидел как на ёлочных иголках... Эх, и быть бы мне битым широким отцовским фронтальным ремнём, на котором папа точил трофейную бритву «Золинген», однако меня отстояла бабушка. Только изъяла четыре наиболее красивые конфеты из оставшихся в кульке и вручила кровно обиженной сестре, тоже любительнице сладкого. Мне же попеняла:

– Нету у тебя, друг ситцевый, силы воли ни на грош. А ещё мужчина будущий. Срамота!

И отошла, бессильно махнув рукой.

Очень меня те слова пробрали, даром что мал был. Любым путём доказать захотелось: конфеты – пустяк, а сила воли имеется, и настоящий мужчина – такой, как мой кумир актёр Жан Маре из любимого фильма «Парижские тайны» – из меня обязательно получится.

Пожалуй, то был первый в моей жизни по-взрослому осознанный поступок. В опустевшем кульке-подарке оставалась большая шоколадная медаль в серебряной фольге и с выступающей картинкой: космический корабль, удаляющийся от Земли к звёздам. Медаль сберегалась напоследок – вкуснее будет казаться. Взял я её и с отчаянной решимостью принёс бабушке:

– На, возьми, а отдашь на следующий Новый год, тогда и съем. И попробуй только после сказать, что у меня силы воли нет!

– Э-э-э, друг сердешный, так дело не пойдёт! – возразила бабушка. – Невелика важность, если я шоколадку под ключ упрячу. А вот ты её в свой стол положи, чтоб всё время под рукой, и потерпи годик. Тогда – герой!

На том и порешили. И ещё – что это будет наш секрет.

Намучился я. Особенно – спервоначалу. Сядешь уроки учить – а мысль о рядом лежащей сласти все знания отгоняет. Вынешь шоколадку, помотришь на неё – тьфу, сгинь, искусьительница! – и назад, в ящик.

Я уж и серебряную фольгу аккуратно снимал, и шоколад нюхал, и кончиком языка к выпуклому изображению прикладывался. Ах, как хотелось отгрызть ту же «Землю», либо хотя бы ракету слизать... Сейчас-то понятно: сам соль на рану сыпал. Но – кое-как держался. Бабушка же время от времени интересовалась:

– Ну, что там твоя медаль? Есть ещё сила воли, не съел?

Я нёсся к столу и предъявлял заначку. И как был тогда горд и счастлив!

Летом сдерживать себя оказалось проще: каникулы, ещё и в гости уезжал. Вернулся домой – и сразу к столу: на месте ли шоколад? Да куда ему деться...

А вот в сентябре едва не сорвался. Получил нагоняй от матери за то, что гулял много, по-летнему, а за уроки садился под вечер. И так захотелось эту распроклятую медаль изничтожить! Спасибо бабушке – вовремя углядела, что с внуком что-то неладное, и о «силе воли» спросила...

Дотерпел-таки я до следующего Нового года! За праздничным столом бабушка открыла домашним нашу тайну и торжественно подвигла меня на поедание шоколадного символа воли. Медаль к тому времени треснула – как раз меж Землёй и ракетой, немного посветлела и сильно затвердела. Пришлось её натурально грызть.

И всё равно: это был самый вкусный шоколад, который мне довелось попробовать в жизни!

СОБУТЫЛЬНИКИ

Глухая стена сараев и сходящийся под прямым углом забор надёжно скрывали дальний пятачок двора от любопытных глаз. Здесь, в тени пустующей голубятни, вокруг импровизированного стола-ящика, кто на чурбачке, кто на сложенных в столбик старых кирпичках, мостились Иванов, Петров и Сидоров.

На застеленном газетой ящике красовались водочная бутылка, разнокалиберные стаканы, треть буханки хлеба и пара свежих огурцов. В добавление к обычным атрибутам выпивки-закуски в кулёчке, слипшиеся, лежали конфеты-леденцы.

Сервировавший стол Иванов довольно обвёл его глазами и заявил:

– А чё? Вроде все кайфово получилось!

– Ну, погнали? – подпрыгивал на чурбачке нетерпеливый Сидоров. – Погнали, а?

– Спешка нужна только при ловле блох, – авторитетно повторил Иванов где-то услышанную поговорку, важно выдержал паузу и скомандовал: – Разливай!

– По половинке или как? – проконсультировался Петров, хватаясь за бутылку.

– По полной! – распорядился Иванов. – Мы не слабаки!

– А пьём за что? – уточнил и опять подпрыгнул Сидоров.

Прятели задумались...

– Во! За дружбу! – наконец провозгласил стоящий тост Иванов.

– Мирово!

Прятели подняли стаканы. Чокнулись. Выпили...

Иванов принялся усиленно нюхать хлеб. Сидоров надкусил огурец, пожевал и сплюнул в сторону.

– Горький, жуть!

Огурец вернулся на газету. А Петров скромно взял конфетку и громко зачмокал.

– Как маленький! – возмутился Иванов. – До таких лет дорос, а всё сладкоежка.

Но по инерции и сам потянулся к кульку. За ним – Сидоров...

Посасывая конфетку, Иванов вдруг качнулся и прогнусавил в его сторону:

– Т-ты... Ты мне друг или н-нет?

– А тебя это сильно колышет? – удивился Сидоров.

– Сильно! – И, подумав, Иванов схватил Сидорова за рубашку: – А может, ты вообще бандит!

Петров как бы невзначай снова сунулся к кульку.

– Сбесился, что ли? – дёрнулся в сторону Сидоров.

От его рубашки отлетели две пуговицы, одна с «мясом».

– Козёл! – обидчиво возмущался Сидоров, шаря по траве. – Мы так играть не договаривались! Думаешь, на год старше, так и всё можно? Что я теперь ма-аме скажу?

– Ой-ой! Маменькин сынок! Из-за чего бы плакаться...

Иванову и самому было неловко за оторванные пуговицы, но смущение он пытался скрыть под маской грубости.

– Сам ты сынок маменькин! – стонал Сидоров, поднимая клочок рубашки с пуговицей.

– Щас как бы дал в рыльник!

– Ты чё, обнаглел, мелкий? – уже озлился Иванов: ещё бы, такой удар по авторитету!

Петров досасывал очередной леденец.

– Подумаешь, крупный нашёлся! – огрызнулся Сидоров. – Щас вот... приёмчиком...

– Сопляк македонский! – подскочил к нему с угрозой Иванов. – Вчера на секцию записался?

– Шухер! – крикнул Петров, вскочив и поспешно закинув в рот ещё два леденца.

Перед распетушившимися мальчишками стояли трое взрослых мужчин. У одного красноречиво оттопыривался пиджачный карман, другой держал в руках газетный свёрток. Несколько секунд взрослые обзревали следы детского застолья.

– Гадёныши! Что делают, а? – вдруг взревел крупный мужик с сизым носом в фиолетовых прожилках.

– Куда учителя смотрят? Стервецы! – поддержал негодующие возгласы второй мужчина, в очках.

– Д-да... С таких лет... – негромко попенял ребятне морщинистый, с сильной проседью третий мужчина.

Закончил воспитательную работу, как и начал её, сизоносый: живительная влага просилась в глотку, и горе-актёров требовалось поскорее разогнать с облюбованной территории.

– Пороть их всех надо! – потрясая сжатым кулаком, рявкнул здоровяк и стал вытаскивать брючный ремень.

Иванов чуть ли не с разбега пронирынул сквозь дыру в заборе. Сидоров по трухлявой лестнице взлетел на голубятню, спрыгнул оттуда на сарай и помчался по разновысоким крышам, соображая, где лучше спуститься на землю. Петров же, не забыв прихватить кулёчек с остатками леденцов, резким виражом обогнул старшее поколение и юркнул в проход меж сараями и забором.

– Д-да... И дети же пошли... С малолетства – и нате вам... – продолжал монотонно-приглушённым голосом мужчина с сильной проседью.

– Ну мы-то не дети! – И при этих словах мужчина в очках развернул свёрток с закуской. – Имеем полное право! Выходной!

Здоровяк вдруг неуловимым движением опрокинул в рот содержимое оставленной на столе бутылки – в ней ещё виднелось немного прозрачной жидкости.

– Э-э! Куда! – возмущённо завопил мужчина в очках, но сизоносый уже сплюнул и выругался, отшвырнув бутылку в сторону.

– Вода, бли-ин! – с болью разочарования в голосе протянул он.

– Ничего-ничего, – утешил его мужчина в очках, радуясь, что собутыльнику не досталось лишнего глотка спиртного, – по деньгам пусть оно и мелочь, а другой-то раз

именно её, в аккурат, и не хватает. – И по-хозяйски поднял отброшенную стеклотару, тут же проверив: цела ли.

А морщинистый мужчина с горечью и грустью посетовал:

– Да-а... А мы-то, помнится, в детстве всю дорогу в войну играли.

Ольга СОЛОВЬЁВА*

* По желанию автора биографическая справка отсутствует.

ТРИ В ОДНОМ (ИХ МАЛЬЧИК)

Своих детей не было. Был племянник.

Муж её был человеком в городе известным. Даже очень известным. И никогда бы их пути не пересеклись, если бы не случай. Точнее, подряд два случая. Сначала в троллейбусе она нечаянно влезла в спор какой-то мужской компании о футболе. Ехали они, опаздывая к началу матча, говорили про него что-то интересное, но неверно назвали имя одного из защитников, и тогда она, не удержавшись, поправила... Они обалдели: чтобы девушка – и так... Она смутилась, извинилась, что вмешалась в разговор, хотела даже выйти – но тут троллейбус подъехал наконец-то к стадиону... Когда они увидели, что девушка ещё и на матч идёт...

Потом как-то наткнулась на него, пьяного, на улице. Он обрадовался встрече, увязался за ней... Потом его «развезло», он попытался прилечь на скамеечку у её дома. И тогда она – дело было зимой – притащила его к себе, чтобы не замёрз на улице. Целую ночь с ним, пьяным, возилась. А потом целое утро опять о футболе разговаривали.

Проснувшись в незнакомом месте, он не очень смутился – видно, не впервые. Но что-то в её поведении его зацепило. И интерес к футболу, и то, как его, пьяного, откачивала. Если бы вот так столкнуться в толпе, он бы её и не заметил! А к толпе привык. Был музыкантом, группа их концертировала, ездила то туда, то сюда, женщин вокруг было немерено... Но эта отличалась от всех. Было в ней что-то, с чем он раньше не сталкивался. Кстати, и играла немного – на гитаре...

А футбол вошёл в её жизнь, можно сказать, ещё до рождения. Отец был фанатом и маму приучил, да она чуть у телевизора не родилась, когда родители никак не могли оторваться от трансляции матча!

Своих детей не было – и без её вины. Муж чем-то переболел в юности – и как следствие... Это она потом узнала. Впрочем, он по этому поводу не расстраивался. Когда она, поняв, что своих не будет, предложила ему взять ребёнка из детдома, он даже руками замахал: «Да ты что! Да ты посмотри вокруг, что делается, какие детки растут!.. У всех же одни проблемы – их детей, своя жизнь сразу кончается! И не потому, что время и силы на них уходят... Они, детки, совсем другие, чем мы хотим и ждём, – они чужие! Если не шизик, не наркоман и не бандит – уже можно радоваться, нужно радоваться! Ты же для души ребёнка хочешь, чтобы – твоё продолжение, чтобы близкий... Забудь!.. Читала, небось, как стариков в древности их дети-внуки со скал сбрасывали, чтобы обузой не были? Так это символ, понимаешь, символ отношения к тем, кто тебя породил... Может, это божья милость, что у нас нет детей... Посмотри вокруг...»

Когда смотрела, понимала: он прав. Даже там, где, казалось, всё благополучно, подозревала: скрывают родители. Или ещё не пришёл срок. А скрывают часто. Вспомнилось, как её одноклассник в беременную учительницу стулом запустил. А родители ещё защищали сына, пытались как-то оправдать. Учительницу обвиняли, что вела себя не так, говорили про нехватку к детям внимания... А между прочим, оба

врачами были, должны были, вроде бы, понимать, что агрессия сына не случайна, что психически здоровый человек не мог так...

Своих детей не было, племянник был...

Удивительный рос мальчик. В первом классе вдруг заявил, что влюблён – в одноклассницу какую-то, Варю. Специально пошла в школу посмотреть – оказалось, обыкновенная девочка, ничего особенного. Рядом были такие куколочки! Спросила: а почему она? Задумался. Ждала: сейчас пожмёт плечами и скажет: «Не знаю...» Но он ответил: «Она ни разу глупости не сказала...» Где-то через полгода поинтересовалась, как там Варя и его чувства к ней? Улыбнулся, развёл руками – и так весело, почти удивлённо: «Прошло!»

Может, она и сестру-то оттого любила, что та этого мальчика на свет произвела. А иногда ей казалось, что сестра – лишь лоно, выносившее его. А настоящая мать – она. И тогда ей хотелось, чтобы сестра куда-нибудь делась, исчезла. Нет, не совсем, не из жизни – таких мыслей у неё и быть не могло – а, например, вышла бы замуж куда-нибудь подальше, в другую страну, например, сейчас это модно. А он бы ей остался. Думала, что если бы ей пришлось выбирать между ним и мужем – она бы его выбрала. Да и что она знала про мужа? Что талантлив, в меру известен, женщин было – не сосчитать, к ней, вроде, привязан, но не настолько, чтобы очередную пассию не завести... А про него, ей казалось, она знает всё. Хорошо бы, пусть бы сестра – замуж, и подальше. Она же одна, отца у него нет. То есть есть, конечно, но неизвестно, где и кто. Ей неизвестно. Сестра-то, мать, знает, наверное...

Он долго не знал, что означает это слово «папа». Слышал, как его произносят другие, и, совсем ещё маленьким, всё искал ему применения. Тронет цветок и – вопросительно: «Папа?» Ткнёт пальчиком в машину: «Папа?..» В незнакомую коробку с чем-то там внутри: «Папа?»

У неё сердце разрывалось всё это видеть и слышать. Но как объяснишь?.. А потом он перестал спрашивать – то ли сам понял, то ли... помогли понять.

«Папу» она спустила с лестницы ещё до рождения сына. Вместе с принесёнными соками, фруктами, деньгами... Швыряла всё это в лестничный пролёт! За сочувствие вместо любви. За то, что вместо брака предложил аборт. За то, что верил чужим словам, а не ей!

Она и не знала, что сможет такое, всегда казалась себе слабой, нуждающейся в защите. Может, и была такой когда-то. Пока всё это в лестничный пролёт не полетело. И слёз не было. Внутри полыхало, плавилось огнём. Может, тогда и сгорела прежняя она – беззащитная, маленькая, доверчивая... А новая – жестокая и безжалостная – решила: у того, кого она спустила с лестницы, никогда не будет сына. Она не позволит. Однажды, когда гуляла – с маленьким ещё, рядом остановилась машина, и из неё «папочка» выскочил... Но она и увидеть ребёнка не дала – собой заслонила! Усомнился, твой ли? Значит, не твой! Пошёл вон!

Получилось, кстати, даже лучше, чем она хотела: сыновей у него вообще больше не было. Женился дважды, обе рожали – но девочек, только девочек!.. К жёнам у неё никаких претензий не было, да они уже после неё появились. Может, даже и пожалела бы их – если бы сохранилась в ней способность жалеть... А сына она сама вырастит. И никогда, в самые трудные времена помощи не попросит. Её сын. Только её! И никогда ничем не будет он похож на того, которого она с лестницы...

Иногда казалось: она ничего про своего мальчика не знает...

В классе был сам по себе, с «коллективом» не сливался. Мог целый урок просидеть, глядя в окно, никого и ничего не слыша. Однажды, ещё в первом классе, её к директору вызвали – мол, сын ваш не справляется с программой, надо в обычную школу переводить (а учился в элитной гимназии).

– Как не справляется? – удивилась она. – А по какому предмету?

– По всем. По слогам читать не может...

– Как «по слогам»?.. Да он в школу пошёл, уже свободно читая! Он уже Библию читал!

Оказалось, скучно ему было, он о чём-то своём думал, а когда просили «продолжить» – просто не знал, откуда начинать. Учительница его тогдашняя, спустя годы, когда он уже давно миновал начальные классы, к ней, матери, на улице подошла – видно, мучило, мозжило: «Простите, я про него ничего не понимала тогда...»

Это ещё ладно, малой кровью обошлось, а сына её подруги в своё время из этой самой гимназии таки выставили! Тоже как не справляющегося с программой. «Дебилов не держим!» – сказал директор и швырнул матери документы. Мальчик этот потом другую, попроще, школу закончил. И университет с отличием. И всякие гранты из-за границы имел. А всё потому, что в той обыкновенной школе нашёлся человек, учитель, который в мальчике что-то разглядел. Вызвал мать. «Ваш сын – от природы физик. Он и в математике мыслит как физик. Только не знает ничего. Разрешите мне с ним позаниматься...» Памятник бы тому учителю поставить. Только его уже в живых нет... А директор гимназии, который матери документы швырял, между прочим, тоже физиком был...

Мальчик мой... В шестом, что ли, классе в жизни его появилась девочка. Одноклассница, за одной партой сидели. Она тоже, видно, к нему неровно дышала – на день рождения свой его позвала, единственного из всего класса. Только он недолго там пробыл. Бабушка девочки потом рассказывала: что-то там он у неё попросил – то ли фотографию какую-то посмотреть, то ли книжку – она почему-то не разрешила. Фразу договорить не успела, а он уже пальтишко надевает – и к выходу... Она, чуть не плача, бежала за ним по лестнице: «Вернись, пожалуйста, я тебе всё-всё дам, я не хотела...» А он не оглянулся даже. И не потому, что девочка не нравилась. Наоборот. На школьной дискотеке она пошла с кем-то танцевать, так он – рассказывала потрясённо учительница – отвернулся к окну, руками вцепился в раскалённую батарею, а по щекам слёзы... Но ни слова, ни звука. На дискотеки больше не ходил...

К детям – дочерям – никогда не относилась так, как теперь к внуку. Нет, жизнь за них отдала бы, не задумываясь, и, уж конечно, и с больными сидела, и раны-ушибы их всякие врачевала... Но сейчас было что-то совсем другое. То ли пришло «время любить», то ли позднее осознание того, что он, внук, существо другого – противоположного – пола...

Он открывал ей мир – она видела, понимала то, о чём раньше и не подозревала, и не догадывалась... Ещё крохотный, тихо, молча лежал, устремив взгляд куда-то вверх – за потолок, сквозь потолок. И она вдруг услышала как будто биение иного пульса и ощутила себя не в комнате – во вселенной... И обрела веру в Бога. Это он, маленький, направил её, указал...

Она многое с его появлением стала воспринимать иначе. Раньше, например, относилась к представителям мужского мира как к существам грубым, прямолинейным, внутренне более, что ли, примитивным. И только теперь, с его появлением, как будто увидела их вблизи – и удивилась своей прежней слепоте и ограниченности!.. Только глядя на него, подмечая в нём, растущем, именно мужские черты, видя, как трудно ему – даже не физически – эмоционально! – «встраиваться» в жизнь, стала вдруг отчаянно жалеть всех их – сильных, грубых, казавшихся примитивными мужчин всех возрастов: мальчиков, подростков, зрелых, старых... Хотелось крикнуть: берегите их, они слабее!

Да, слабее. Женщина эмоционально выносливее, она чаще готова разделить с кем-то свою боль, опереться на сочувствие. И так называемые «сильные» женщины тоже – может быть, они жаждут опоры ещё больше, хотя позволяют себе быть слабыми, снять с плеч бремя ответственности, прислониться...

Мужчина, наоборот, не ищет сострадания, стыдится обнаружить свою уязвимость, несёт ношу сам – он всегда более одинок!.. Почему они раньше умирают? Почти все мужчины её рода уходили в пятьдесят с небольшим, а женщины жили ещё лет двадцать-тридцать... Да потому, что там, где девочка заплачет, мальчик ударит или... себя порешит. Особенно подростки. Психолог, с которым свёл случай, говорила: они же совсем без защиты, вы не знаете статистики, сколько в этом возрасте самоубийств и попыток самоубийств, и почти все – мальчики... Они, мужчины, и болеть не умеют – то паникуют по мелочам, а когда дело обстоит действительно серьёзно, ведут себя легкомысленно... Женщины, по сути, хранительницы – очага, дома, детей. А мужчины – группа риска – добытчики, охотники, защитники, идущие навстречу зверю. Хоть в лесу, хоть на войне, хоть на улице...

Поняла всё это, только когда появился он. С ним всё время что-то происходило. Иногда ей казалось, она так устала, что нет больше сил за него бояться. В детстве – везде лез, отовсюду падал. Однажды подпрыгнул (с крыши сарая!), попытавшись ухватиться ногами за дерево – как «супермен» в каком-то дурацком фильме – ну и... головой о землю... Хорошо ещё, там какой-то мусор был, смягчило удар... А то решил перейти открытый погреб на руках вниз головой... Рухнул туда, конечно. Хорошо, накануне оттуда стеклянные банки с заготовками вынули. Сколько их, мальчишек, только в нашем дворе с деревьев да сараев попадало... А может, они ещё так смелость свою демонстрируют? Ведь девчонки на ребят с забинтованными головами как на героев смотрят!

В классе к нему нормально, пожалуй, даже хорошо относились. Не дружил ни с кем, но и не задевал никого, не хитрил. Легко давал списывать – да вскоре у него и разрешения перестали спрашивать, сами лезли в портфель, доставали нужную тетрадку. На себя, как говорят, одеяло не тянул. Когда ребята стали из поликлиники справки о плохом зрении приносить, чтобы за первыми партами сидеть, он сел за последнюю, не возражая, хоть видел оттуда неважно. Когда позднее, уже в старших классах, стали мальчиков вызывать в военкомат и все снова справки понесли (кому же хочется в нашу «несокрушимую и легендарную!») – он, единственный из всей школы, оказался «стопроцентно годен». На самом деле всё было совсем не так: он только что перенёс инфекционное заболевание с осложнениями, анализы были плохие, врач пытался отправить его на обследование – а ведь как кстати, вовремя, вот бы воспользоваться! Но он в больницу не лёг, справками запастись не стал, в военкомате сказал: «Всё в порядке, проблем нет».

Агрессивным не был, но однажды вдруг сорвался – повалил на пол одноклассника (одного из немногих, с кем как-то общался) и стал бить... Учителя разнять не сумели, пришлось вмешаться охранникам. И, не зная, что произошло, весь класс стал на его сторону – он же никогда никого пальцем не тронул! Потом выяснилось: мальчик тот унижал его. А пока не знали, как его (не того, битого!) успокоить, из школы одного не отпустили, звонили матери, чтобы кто-то за ним пришёл...

Дома он ничего объяснять не стал. Сказал: «Переводите в любую школу, в эту больше не пойду». И не пошёл. Но тогда стали приходиться ребята: «Не уходи, ты что, мы не хотим, чтобы ты уходил...» Он был почти потрясён тем, что его пытались вернуть – оказывается, он был кому-то нужен... Последним позвонил побитый: «Слышишь, не валяй дурака, не уходи... Мы с тобой разберёмся...» Мать потом спрашивала классного руководителя, не она ли организовала все эти хождения. Та только головой покачала – нет, не она. Сами ребята. Сами.

Отличником никогда не был. К оценкам относился почти безразлично. Однажды только, получив единственный в классе «тройку» за сочинение, вдруг дрогнул, отреагировав: «Я... хуже всех?» Когда – в другом случае – один из педагогов сказал о нём: «Самый высокий интеллект в классе» – почти презрительно отмахнулся, как будто тот сказал какую-то глупость... Если был чем-то заинтересован, говорил хорошо – обычно его все слушали. Только раскрутить его, чтобы заговорил, было нелегко. И уж совсем невозможно было предсказать, как он поступит в том или ином случае... Почему-то

не пошёл на школьный выпускной... Господи, что ещё будет-то... Спаси и сохрани его, Господи!..

Кселена ЛИТВИНОВА

Кселена Литвинова родилась в 1976 году в г. Нестерове. Окончила Саратовский государственный медицинский университет. Живёт и работает врачом в Саратове. Окончила Саратовскую художественную школу. Её стихи публиковались в журналах «Волга–XXI век» (Россия), «Эрфольг» (Россия), «Смена» (Россия, Москва), «Литературный меридиан» (Россия), «Зов» (Венгрия), «Венский литератор» (Австрия). В апреле 2013 года стала победителем литературного конкурса, организованного интернет-журналом «Эрфольг».

ЛУННЫЙ ГОРОД

ДЕТСТВА КУСОЧЕК

Белая шёрстка, тёмные пятна –
Брызги чернил на спине...
Ветер качает веточки мяты,
Кошка о чём-то бормочет невнятно,
В летнем запутавшись сне.

Жёлтые луны, узкие щёлки –
Время игры мотыльков,
Ухо щекочут травы-метёлки,
Солнце латает блестящей иголкой
Порванный край облаков...

Длинное тельце – лень и истома...
«Киска! Кис-кис! Муська! Мусь!» –
Девочка ищет кошку у дома...
Детства кусочек из фотоальбома
В руки возьму, улыбнусь...

Не жалея краски лунной,
Ночь рисует город свой:
За оградой чугунной
Контур виден золотой.

Шпили, башенки и крыши
И дугой прозрачный мост...
Ты и я на нём, а выше –
Многоточие из звёзд.

Удаётся лишь немногим
Очутиться здесь во сне...
Городские все дороги
Прямиком ведут к Луне!

Это город мокрых крыш,
Серых улиц, коридоров,
Где живут дожди, где лишь
Звон гитарных переборов.

Поделён на всех талант,
Вдохновения – довольно:
Каждый житель – музыкант,
Небо – слушатель невольный.

Струн обычных голоса
Здесь звучат совсем иначе.
Стон гитары – небеса
В тучи прячутся и плачут.

Это город мокрых крыш...

ПАРАД

Цветом белым сады припорошены,
Как виски у тебя – сединой...
День Победы слезами из прошлого,
Светлым счастьем приходит весной.

Память машет знамёнами алыми
Самой лучшей на свете страны...
Жгут гвоздики ладони усталые
Ветеранов Великой войны.

Им, защитникам нашей истории,
Рукоплещет Победный парад...
Посмотрите: цветут территории –
Поле боя вчерашних солдат!

Глас Москвы раздаётся по радио...
Маршируют, тревожа эфир,
В небеса наши деды и прадеды,
Оставляя спасённый нам Мир.

Виталий ЗЕМЛЯК

Виталий Оскарович Ланцман (псевдоним – Виталий Земляк) родился в 1936 г. в Киеве. С 1941 по 1945 гг. находился в эвакуации в с. Покровка Купинского района Новосибирской области. После реэвакуации семья вернулась на Украину. В 1946 г. переехал с семьёй в Саратов. Окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства. С 1957 по 1959 гг. принимал участие в строительстве ЛЭП и электрификации строящегося жилья. С 1959 г. живёт в Саратове. Работал учителем, журналистом. С конца 80-х гг. печатается в местной прессе, последнее время составляет и публикует сканворды.

БЕЗ РОЗОВЫХ ОЧКОВ**ВОЕННОЕ ДЕТСТВО – В ПАМЯТИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ**

Мои самые яркие воспоминания из детства – это начало войны и эвакуация в сибирское далёко из Киева, где жила наша семья... К сожалению, воспоминания эти весьма фрагментарны и не могут составить единое целое. Вот несколько «клочков» из этого полотна воспоминаний...

Утро 22 июня. В этот летний воскресный день мне, пятилетнему мальчику, отец принёс купленные в магазине замороженные сливы, которые показались тогда вкуснее традиционного мороженого. Но семейная радость была омрачена утренним сообщением о бомбёжке родной земли и выступлением в полдень по радио Вячеслава Молотова. Сразу вспоминаются строки из песни: «Киев бомбили, нам объявили, что началась война».

Отец на следующий день был мобилизован в отряд самообороны, а всю нашу семью вскоре вывезли из Киева в Путивль. Очень смутно, но вспоминается эта утомительная поездка в открытом кузове грузовой машины. По бортам кузова были воткнуты ветки деревьев для примитивной маскировки от прямой атаки с воздуха. Среди бегущих из Киева людей в кузове была и вся наша семья – моя мама, бабушка, младшая сестра мамы, приехавшая в Киев из Курска в свой первый рабочий отпуск после окончания мединститута, и, конечно, я.

Путивль бомбили, мама и её сестра вместе с жителями города по вечерам, во время налётов фашистской авиации, дежурили на улице. Иногда брали с собой и меня, словно на прогулку. Хорошо запомнились бегущие по ночному небу лучи прожекторов, которые старались высветить вражеский самолёт для залпа зениток, в руках у взрослых – большие щипцы на длинных ручках для захвата зажигательных бомб. Возле домов стояли бочки с водой, в которых тушили упавшие с неба и горевшие с шипением и искрами куски металла.

Мама, учительница младших классов, попыталась устроиться на работу, ведь приближался новый учебный год, и поехала в горисполком. И меня с собой взяла. Маму принял председатель горисполкома Ковпак. Да, тот самый Сидор Артемьевич, который стал одним из руководителей партизанского движения. (Он написал книгу о вкладе партизан в победу над врагом «От Путивля – до Карпат», кстати, мемориальная доска с его именем висит на здании «Саргорэлектротранса» по Большой Казачьей, где он работал в начале прошлого века.) Ковпак сказал маме: «Какая там работа! Бегите отсюда, мы отступаем из города, так что хватай своего хлопчика и тикай отсюда подальше!»

Следующий фрагмент в памяти очень короток. Нас куда-то везут, сначала мы едем в кибитке вместе с уходящим цыганским табором, затем в полutorке, куда нас милостиво посадили военные. Один из них подкармливал меня, голодного мальчишку, сухарями...

Сейчас ни мама, ни её сестра не помнят названия станции, где нас погрузили (именно так!) на открытую платформу товарного поезда, двигавшегося через всю страну в Сибирь.

Поезд часто обстреливали фашистские лётчики, поливая мирное население свинцовым дождём. При звуках приближающихся самолётов (их резкий звук стоит в ушах до сих пор) поезд останавливался, и беженцы враспынную разбегались, ища хоть какую-нибудь защиту от этого «дождя». Мне, мальчишке, лежащему на земле под прикрытием тел моих близких, всегда было любопытно наблюдать возникающие иногда очень близко пыльные фонтанчики от пуль. Во время одного из налётов эти фонтанчики пробежали по телам лежавших невдалеке от нас женщины и её дочери, а нам повезло...

Но самое крупное везение случилось на следующий день. На станции Лиски состав остановился, и с утра было организовано бесплатное горячее питание для беженцев. Каждому наливали по черпаку пшённного супа из армейской передвижной кухни, досталось и нам. Уж очень горячим и вкусным был этот суп! Мама с тётёй управились со своей порцией достаточно быстро, а я, несмотря на энергичные подбадривания, быстро расправиться с супом не сумел. Бабушка кричит с платформы, что поезд трогается (поезда тогда трогались не так быстро, как сейчас, наверняка для того, чтобы успели догнать их все задержавшиеся). За считанные секунды было принято решение: бабушке – сбросить с платформы все пожитки, а мне дать доесть редкий в те дни горячий суп! Заодно поела горячего и бабушка...

Только через пять-шесть часов, уже во второй половине дня, мы сумели погрузиться на платформу следующего состава. При проезде небольшой станции мама стала прижимать меня к себе, решительно закрывая обзор. Всё же я сумел вывернуться и увидеть покорёженные рельсы другого пути, разбитые платформы, вещи, повисшие вдоль полотна, и людей, засыпающих песком кровь погибших. Чуть позже мне объяснили, что я и пшённный суп – талисманы нашей семьи, так как тот состав, на котором мы ехали до пересадки, немцы разбомбили и расстреляли с воздуха...

Путь от Лисок в Сибирь не оставил в памяти ни одного фрагмента. Помню лишь вечерний перрон в Новосибирске и погрузку в уже крытые вагоны другого поезда, на котором почти все беженцы были доставлены в райцентр Купино, а уже оттуда развезены по сёлам района. Нас привезли в село Покровка, в нескольких километрах от казахстанской границы... К остановке на железной дороге за семьями беженцев приехало несколько подвод, так что последние три километра нашей эвакуации до села нас везли лошадки...

Был конец августа, мама начала работать в сельской школе. Одно из ярких воспоминаний тех лет – немцы Поволжья, которых привезли в это же село. Там к ним относились как к фашистам, многие из них умирали от недоедания, хоронили их без гробов. А позже, когда в селе появились ленинградцы, пережившие блокаду, начался настоящий голод. Меня возили в школу на санках, так я опух и не мог двигаться. В селе съели всех собак и кошек, принялись за сусликов и кору деревьев... Мама раз месяц ездила в облоно в Новосибирск, привозила оттуда небольшой паёк и книги...

Вернувшись в 1945 году в Киев, мы обнаружили, что дом, в котором мы жили до войны, разбомбили. Хотя маме предложили выселить некоренных киевлян из любой квартиры, она этим не воспользовалась – мы уехали в Иванков, где мама когда-то проходила педагогическую практику. Во время войны и сразу после её окончания потерявшихся родственников искали в Центральном справочном бюро, эвакуированном в город Бугуруслан, недалеко от Уфы. Тогда его название служило символом поиска и надежды, а летом 1946 года я узнал, что мой отец не погиб, напротив – жив и живёт в Саратове. Вскоре мы переехали в этот ставший нам родным город.

Через 30 лет после войны я, возвращаясь из туристической поездки на Байкал, побывал в том самом селе Покровка, нашёл дом, где нас приютили летом 1941 года, и даже пару ночей переночевал на железной кровати в старом домике, где мы прожили все военные годы... Многие сельчане помнили мою бабушку и маму, с 1942 года ставшую директором сельской школы, заходили и слушали привезённые мною магнитофонные записи

с благодарностями сибирякам за приют в тяжкие годы испытаний. Сельчане плакали, вспоминая пережитое...

ВОСПОМИНАНИЯ О ДРУЖБЕ С «ВРАГАМИ НАРОДА»

Ныне большинство людей не могут себе даже и представить, насколько «интересной» была жизнь всего лишь сорок–пятьдесят лет тому назад! И ведь находятся же люди, которые в ностальгическом затмении рассудка вспоминают это время с радостью. А радость эта – лишь в их молодости в ту пору, когда весь мир видится сквозь розовые очки. Смерть Вождя и Учителя и знаменитый партсъезд чуть-чуть приоткрыли для нас «железный занавес» – в 1955 году уже можно было написать за рубеж своим сверстникам, найдя подходящий адрес в журнале «Всемирные студенческие новости». Правда, письмо направлялось (для цензуры, конечно же!) не за границу, а в Москву, в Комитет по связям советской молодёжи с зарубежьем (КМО), в основном со странами Социалистического Содружества.

В институтах города учились студенты из стран народной демократии. В моей учебной группе были румын, два венгра, чех, словак и несколько болгар. Живя рядом с общежитием СГУ на ул. Вольской, попытался я «закадрить» улыбчивую полячку с биофака. Так не дали: кто-то донёс, меня вызвали в комитет ВЛКСМ и предложили с ней «поссориться», чтобы не отдаться в руки и объятья вражеского зарубежья. Пришлось подчиниться, так как могли исключить из комсомола за «моральное разложение» (это стандартный штамп советских времён), и тогда – прощай институт!

А тяга к зловредному зарубежью с годами отнюдь не уменьшалась, наоборот. Купленный со стипендии скромный двухдиапазонный «Москвич» был за большие деньги переделан на приём коротких волн, а значит, я получил возможность слушать сквозь вой, шум, скрежет и грохот «глушилок» и «Голос Америки», и ВВС, и «Немецкую волну». Вот только «Свобода» не могла прорваться даже глубокой ночью, когда, по идее, должны были заснуть операторы «глушилок» у Сенного. (Честное слово, пишу и вижу недоумение на лицах молодёжи: да разве могло быть такое?! – Могло, да ещё как!)

Так или иначе, но завязал я переписку с зарубежными братьями по духу и общему хобби (был я, каюсь, филателистом). Сразу же посыпались неприятности: сначала вызвали в партком, потом спровадили на ул. Дзержинского. К счастью, там всегда работали профессионалы, которые, будучи умнее всей комсы и партноменклатуры, криминала в моих поступках не нашли (или сделали вид?) и благополучно выпустили из орлиных когтей восворяси.

Закончил я институт и уехал по назначению в сибирский город Иркутск, благополучно переведя на свой новый адрес расширившуюся переписку и марочный обмен. Но и там я не выскользнул из-под недремлющего ока славных чекистов – письма приходили распотрошёнными, с лицемерным штампом: «Получено в повреждённом виде», словно зарубежные почтари (как ныне наши) только тем и занимались, что пытались найти в письмах своих граждан крамолу.

Но наступили шестидесятые годы. После снятия Никиты Хрущёва оттепель закончилась. Вызвали меня к замначпочтамта и предложили завершить позорящие советского человека связи с буржуазным зарубежьем. Ни одна моя просьба о предоставлении возможности рассчитаться с инокорреспондентами за присланное учтена не была – все письма или пропали, или вернулись в обезображенном виде со штампом, поставленным по-русски на Московском международном почтамте: «Адресат неизвестен». В результате человек пятнадцать иностранцев считали меня (по воле властей) бессовестным человеком и жуликом.

Стыдно до сих пор. И не за мою «преступную» связь с «врагами советского народа», а за наш серый, по-лагерному упорядоченный быт. Ах, как коротка память наших граждан! Всё забыли или делают вид, что забыли, но ведь за вынесенный с поля колосок сажали надолго, а могли и расстрелять; забыли, что часами стояли в очередях за мылом, солью,

спичками, не говоря уже о водке, молоке, масле и привозимых из столицы мясе и колбасе. Забыли о том, что регулярно пропадали лезвия для бритвы, носки, резинки для трусов, спички, табачные изделия (особенно после регулярных пожаров на нашей «табачке»), и несть им числа, этим знаменитым советским дефицитам, а уж о пиве, бананах и ананасах надо было долго-долго мечтать.

А ведь и в те годы за граница была врагом лишь для простых людей, а для властей всех уровней она – дом родной. И отдых – там, и простейшие операции у самых главных «патриотов» – там, и дети их учатся – там, не говоря уже, что у многих там и дома, и виллы, и дачи, и земли, и вклады в банках... Как прежде, так и ныне.

ПЯТИЛЕТКА НА САРАТОВСКОМ ОСТРОВКЕ «АРХИПЕЛАГА ГУЛАГА»

Всё меньше остаётся людей, которые создавали промышленные районы нашего города, названные именами вождей прошлого – Ленина и Сталина. (Правда, вскоре после смерти Вождя и Учителя всех народов Сталинский район был переименован в Заводской.) Молодёжь и люди среднего возраста, видимо, не знают и того, что заводы в этих районах были построены руками заключённых, как практически все великие стройки коммунизма. И в сороковые, и в пятидесятые годы, да и в начале шестидесятых стройплощадки вдоль трамвайной линии «тройки» были опутаны рядами колючей проволоки и украшены сторожевыми вышками, в которых топтались на ветру, в мороз и в зной одинокие фигурки стрелков ВОХР. Мало осталось и тех, кто хорошо помнит и знает, что именно творилось внутри стройзон, какие трудовые подвиги совершали люди, лишённые воли, как в зонах внедрялись передовые методы труда и развивалось соцсоревнование...

Волею судьбы первые годы моей трудовой деятельности прошли среди заключённых – сначала в зоне «политиков» в Иркутске, где я оказался по окончании вуза по распределению, а по возвращении в родной Саратов – в зоне напротив станции «Трофимовский-1», где тогда только ещё строились один из объектов отечественного ВПК, впоследствии переименованный в НИИ «Волна», и «Алмаз». Строительство велось силами треста «Сарстрой» в зоне, отпочковавшейся от уже работающего завода приёмно-усилительных ламп. Кроме взвода солдат-строителей на объекте в самые горячие дни трудилось до полутысячи заключённых, добравшихся в любую погоду пешим строем от «Сарлага» (невдалеке от того места, где он располагался, ныне стоит памятник воину-строителю). Мы, вольнонаёмные, оформив пропуск в зону в отделе кадров «Сарстроя», подолгу стояли у проходной, дожидаясь, пока «поштучно» не пересчитают и не запустят в зону строительства всех зэков. И так было ежедневно: сначала проходили они, потом – мы: мастера, прорабы, работники ОКСа и вольнонаёмные.

Порядки в зоне были жёсткими и порой жестокими. В те далёкие годы у зэков были «зачёты»: при перевыполнении дневной нормы срок заключения уменьшался на два-три дня за один отработанный. Выходной у зэков был один – воскресенье, а вот у строителей в военной форме зачастую ни одного, так как все траншеи для внешних коммуникаций они копали либо после заключённых, либо по выходным, когда зона никем, кроме дневного сторожа, не охранялась. За выполнением норм (что давало право на «зачёты») и за порядком в бригадах следили бригадиры («бугры»). Мы, вольные, в это не вмешивались, ибо бригадиры своё дело знали, жесточайшим образом пресекая «сачкование» и безалаберность отдельных членов бригады. Несколько раз я видел, как бригадир разнорабочих, всегда разгуливавший по зоне с прутком из тонкой арматурной стали, избивал им отлынивавшего от работы зэка. Надзиратель молча и неподвижно стоял в стороне...

Режим в зонах был резко ужесточён, когда со стройки завода «Генератор» несколько лихих зэков совершили дерзкий побег на захваченной автомашине, протаранившей

шлагбаум вахты. Беглецов вскоре поймали (одного, по слухам, уже в Волгограде), а зоны огородили ещё одним рядом «колючки», окопали глубоким рвом и усилили шлагбаум и ворота вахты. Но побегии продолжались. В каждой зоне знатоки находили полузаброшенные или не учтённые охраной подземные коллекторы, через которые можно было при благоприятных условиях вырваться на волю. Хотя бы на день-два, но на свободу! Беглецов ловили весьма быстро, причём у вохровцев не было недостатка в добровольных помощниках, ведь не зря утверждают, что в те годы страна делилась на тех, кто сажал и охранял, на тех, кто сидел, и на тех, кто доносил, чтобы первая треть посадила за решётку вторую. Труд заключённых, из кожи лезших вон, чтобы заработать «зачёты» и поскорее выйти на волю, был экономически выгоден: почти вся их мизерная (по сравнению с вольнонаёмными) зарплата уходила на «самообслуживание»: на охрану самих себя, на скудное питание, обшарпанное обмундирование и на лагерный ларёк, чтоб поддержать силы, необходимые для тяжёлой физической работы.

Мне приходилось почти ежедневно обедать со своей бригадой электриков. Обед привозили в зону на машине в бидонах и термосах, причём первое блюдо было более или менее съедобным, даже иногда кусочки мяса попадались в лагерной баланде, а вот ежедневная перловая каша, заправленная подсолнечным маслом, заменялась большинством моих подопечных батонами с маслом, заранее купленными в лагерном ларьке и запиваемыми глотками чифиря из пущенной по кругу кружки (половина или даже пачка чая на кружку воды заваривалась на «козле», электрической печке, что стояла в нашей элитарной по лагерным меркам «бендежке»). Пара глотков этого напитка давала ощущение бодрости и лёгкого хмеля. Пачки чая проносили в зону все, кто так или иначе был связан с зэками, причём охрана часто закрывала глаза на нарушение режима, ибо стройка должна была идти строго по плану и графику (не зря же пару планёрок на стройке провёл небезызвестный Алексей Иванович Шибаев!), а работа у зэков после обеда всегда шла активнее, чем с утра. Нелишне заметить, что, когда зачёты были отменены и пошли разговоры о ликвидации стройзоны (готовилась замена зэков на полчища стройбатов), вся зона уселась и практически перестала работать, мол, и так, безо всякой работы, нас и охранять будут, и накормят – по закону положено...

За забором зоны – территория завода ПУЛ, на котором работало много молодых женщин. И как охрана ни старалась это пресечь, но с ежедневно подрастающей почти на метр стены будущего корпуса НИИ туда, на волю, за забор бросались призывно-любовные записки, завязывались знакомства, на перекрытиях и стенах готовых этажей устраивались смотрины и даже назначались свидания у щели в заборе. Когда корпус заимел свою крышу, а на верхнем, техническом этаже появились вентиляционные трубы диаметром в полтора-два метра, свидания молодых женщин с понравившимися им зэками стали реальностью: в свой свободный день девушка, упросив ночного сторожа-инвалида или обманув его, проникала в зону рано утром, до того, как ВОХР возьмёт стройку под свой контроль, поднималась на технический этаж, забиралась в вентиляционную трубу и... ждала, когда к ней проберётся её возлюбленный.

...Вскоре зона прекратила своё существование, и объект достраивали стройбатовцы и гражданские рабочие. На этом и закончилась моя работа в зоне с обитателями одного из островков обширного «Архипелага ГУЛАГа».

Вспоминая то время, разговоры с зэками, рассказанные ими горестные истории их поломанных судеб, когда большинство в нашей зоне было осуждено за халатность, злоупотребление служебным положением, хулиганство, пьяные драки, карманные кражи и прочую «мелочёвку», не могу не закончить эти краткие заметки широкоизвестной народной мудростью: «Коль отлично ты живёшь, не зарывайся – от суммы и от тюрьмы не зарекайся!»

Виктор СЕМЁНОВ

Виктор Иванович Семёнов – кандидат медицинских наук. Живёт в Саратове.

ВОЙНА ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКА

Я рос в селе Малые Озёрки Новобурасского района Саратовской области. Напротив нашего дома был большой школьный двор. Там пара могучих тополей осеняла два деревянных строения в зарослях лиловой и белой сирени. Из них большее – было церковью со снесёнными колокольней и куполами, а меньшее – прежде служило для размещения церковного причта. С 1937 года оба этих здания занимала Малоозёрская средняя школа. Мой отец, Иван Кузьмич Семёнов, был в ней учителем, а с 1935 года – директором. Мать, Нина Алексеевна Семёнова (в девичестве – Братчикова), работала там же библиотекарем. В Малоозёрской школе я проучился с 1938 по 1946 год. Когда мы занимались в классе, помню, на стенах сквозь тонкий слой побелки проступали лики святых...

О войне мы с отцом узнали только вечером 22 июня 1941 года. Целый день мы рыбачили на реке Медведица, а возвращаясь домой, увидели около большого здания школы густую толпу народа. Мужчины, женщины, дети – все были возбуждены. Нам сообщили, что Германия напала на СССР и её самолёты уже бомбят наши города. Шёл митинг. Военком говорил: «Не плачьте, бабы, через две недели мы разобьём немца и ваши мужья вернутся домой».

Утром 23 июня к сельсовету подогнали подводы для отправки призывников в армию. Было пролито море женских слёз... В армию также забрали тракторы, автомашины, всех здоровых лошадей. Некому и нечем оказалось убирать хлеб в страду. Хлеба полагалось теперь по 300 граммов на работающего и 150 – на иждивенца.

Косить спелую рожь косами вышли пожилые мужчины. Женщины вязали снопы, подростки укладывали их в кресты. В крестах колосья лежали до самой зимы: не было комбайнов для молотбы. Уже по снегу рожь развозили по домам для обмолота.

На следующий год опытные крестьяне на выгоне рядом с селом срезали дёрн, полили водой площадку, освободившуюся от травы, укатали гладко обструганным толстым бревном. Был сделан ток для обмолота ржи, и мы, подростки, а также молодые женщины стали там трудиться. Стоя среди развязанных снопов, разостланных на земле рядами, колосья в которых были направлены друг к другу, мы по очереди ударяли цепями по вороху колосьев, стараясь не задеть соседа. Мне по душе была эта артельная работа, для которой требовалась сноровка; нравился ритмичный стук наших цепов: «тук-тук-так, тук-тук-так», хотя труд на току был нелёгким. По сравнению с ним прополка проса на колхозном поле в долине Лашмино казалась мне просто прогулкой...

На убранных полях подростки собирали колоски проса, ячменя, ржи, которые толкли в ступах, получая зерно. Взрослые женщины ходить за колосками боялись, так как за это судили и давали до восьми лет лишения свободы. В избах появились ручные мельницы, на которых мололи зерно в домашних условиях.

С ранней осени школьники копали колхозную картошку, морковь, свёклу, затем стали убирать капусту. А когда выпал снег, пришёл черёд срезать шляпки подсолнуха. Именно поэтому по приказу районо в первый год войны занятия в школе начались только с 1 января 1942 года.

К 1941 году у нас в семье было трое детей: моя старшая сестра Галина, 1926 года рождения; я, Виктор, 1930 года; мой младший брат Валерий, 1939 года рождения, а после войны, в 1947 году, родилась наша младшая сестрёнка Лида. Ожидая призыва на фронт

и беспокоясь о семье, отец починил нашу обувь, купил зёрна, муки, завёз нам дров на зиму. Поэтому первая военная зима прошла у нас относительно благополучно. Но запомнился голодный 1943 год, когда случился неурожай картошки. Выручал домашний скот: корова, овцы.

Но нельзя было зазеваться: повсеместно развелось много волков. По ночам они выли, прибежали в наше село и рвали собак. Однажды, когда мы, трое подростков, поехали кататься на лыжах, то со склона Щелконового оврага, что в двух километрах от нашего села, с испугом наблюдали на дне его стаю из одиннадцати волков, которая направлялась в сторону леса.

Отца призвали в армию в ноябре 1941 года. Ему шёл 37-й год. Мужчин такого возраста не посылали на передовую. Уже выпал снег, и до Новых Бурас отец доехал на сани. Оттуда до Саратова 70 километров. Эту дорогу призывникам пришлось преодолевать пешком в течение двух дней. Отец первоначально попал в Красный Кут, в части воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС). Затем его перебросили в район станции Долгопрудная под Москвой, на один из пунктов войск противовоздушной обороны (ПВО).

Всего из Малоозёрской школы в армию забрали восемь учителей: Семёнова И. К., Кошкина П. И., Федулова Ф. А., Софьина С. А., Ежова В. В., Ножечкина С. Д., Бантеева, Чиндова. В нашей школе стала ощущаться резкая нехватка педагогов. Четверо учителей с фронта не вернулись. Пришли домой только Семёнов И. К., Кошкин П. И., Ножечкин С. Д., Бантеев.

В наше село пошли похоронки: то в одном, то в другом доме раздавался женский плач. На фронте погибли два брата моей матери – Виктор и Александр Братчиковы.

Исчезли спички, и мальчишки быстро освоили древнейший способ получения огня с помощью кресала, кремня и трута. Пропали соль и керосин. Не стало мыла. Теперь для мытья головы использовали щёлок, то есть печную золу, а для мытья ног – синюю глину, которую копали под оврагом.

Годы войны мне вспоминаются как время тяжёлого труда, голода и холода. С весны, как только сходил снег, и вплоть до глубокой осени все ходили босиком. Кожа на подошвах стоп грубела и становилась толстой, словно стелька ботинка, ноги были все в цыпках...

С 11 до 15 лет я освоил все крестьянские профессии. Научился отбивать косу, косить, метать копну и омёт; пилить деревья, колоть дрова; подшивать валенки; сажать картофель под лопату; делать ручные мельницы. Я даже сумел изготовить кадушку на четыре ведра для засолки огурцов!

В своём домашнем хозяйстве мы тратили много сил на полив овощей водой из ручья. В день приходилось поднимать из оврага до 30 вёдер воды, чтобы полить свой огород! Мотыжили картофель, заготовливали топливо – делали кизы из навоза.

В сенокос, наскоро позавтракав, я с косой шёл в лес и работал до полудня. С наступлением жары ложился под куст и спал около часа, а затем снова продолжал косить. Возили сено из леса на тележке, в которую впрягались втроем: мама в середине, в кореннике, а мы с Галиной по бокам, в пристяжке.

По вечерам моей обязанностью было встречать нашу корову и следить, чтобы она не зашла на чужой огород, когда стадо пригоняли в село. За мной по пятам ходил братишка Валерий; я должен был за ним присматривать, хотя – надо отдать должное – он рос тихим мальчиком.

С наступлением темноты в Малых Озёрках, как и повсеместно в Саратовской области, соблюдался режим светомаскировки. В период Сталинградской битвы мы, подростки, до 12 ночи должны были нести дежурство на улице, проверяя затемнение окон и пугая возможных диверсантов звонкой колотушкой.

В июне я уходил в лес для заготовки бересклета. Это кустарник, кора подземной части которого шла на изготовление резины для фронта. Работа по заготовке бересклета была трудной. Сначала корень надо было окопать, затем подрубить топором. Когда набиралось

около десятка корней, с них на пеньке молотком обивали кору. Собранную за день кору, вес которой в лучшем случае составлял 1–1,5 кг, сдавали леснику. Несмотря на нещадно кусавших комаров и слепней, несмотря на то, что рубашка становилась мокрой от пота и всё время хотелось пить, работу продолжаешь изо дня в день, пока не выполнишь весь план заготовок. За это лесник предоставлял нам поляну для сенокоса и пеньки на дрова.

Самым тяжёлым трудом для меня была косьба ржи при помощи косы с грабельцами. Для вязки снопов колос должен был ложиться к колосу! И коса, и рожь тяжёлые, и уже через десять минут начинали болеть плечи. Зато в обед нас кормили мясными щами... Тяжело было работать также на конной лобогрейке – предшественнице комбайна. С её помощью косили овёс попеременно с дикими и кормовыми травами. Кучер должен был вести лошадь строго по краю покоса, а я обязан был сталкивать овёс и траву с платформы лобогрейки на землю. Хоть и ломит плечи, терпишь до конца загона, чтобы отдохнуть...

Но ошибочно было бы думать, что в военные годы мы, подростки, занимались исключительно только трудом. Бывали вечера, когда молодёжь отдыхала. Отдых у нас был свойственным возрасту – активным, с подвижными играми и подчас озорством. Мальчишки с шутками, прибаутками играли в «чижик», «клёк», «чехарду», «ремень».

Вечером мы собирались у избы Сапожниковых. У двора там были брёвнышки, на которых удобно сидеть. У нашей компании – меня, Володи Сапожникова и Володи Кошкина – были музыкальные инструменты: гитара, мандолина и балалайка. Мы умели их подстраивать так, что получался целый оркестр. Не зная нот, мы, музыканты, по слуху наяривали что есть силы! Играли для танцев: вальса, польки, краковяка. Были и шутки, и смех. Девчонки, наши сверстницы, подпевали и танцевали на утоптанной площадке и были вполне довольны нашей игрой. А утром мать не могла меня разбудить на покос...

О победе в войне в нашем селе узнали в полдень 9 мая 1945 года. Нам, ребятам, дали старый грузовик-«полуторку», вручили красный флаг и просили объехать как всё наше село Малые Озёрки, так и близлежащий мордовский посёлок Скат. Мы это сделали, крича во всё горло: «Победа!» «Победа!» Затем около Малоозёрской школы состоялся митинг. Среди собравшихся присутствовали: работник военкомата с табельным оружием, участковый милиционер с пистолетом, а также крестьяне, увлекавшиеся охотой и имевшие ружья.

По окончании митинга крики «ура!» смешались с ружейным салютом и выстрелами из пистолетов. В конце июня 1945 года пришёл с фронта отец и началась новая жизнь...

«ХЛЕБНУЛИ МЫ ГОРЯ...»

(Записано со слов Марии Павловны Филипповой (Солдусовой), 1926 года рождения)

Отец мой, Павел Андреевич, в Петербурге, ещё в первую мировую войну, охранял Зимний дворец. И на фронте был. Потом он попал в плен. Из плена он бежал. Ночью полз, а день сидел в болоте, одна голова только, а сам в болоте. Ну и каждый день смерти ждал.

И вот дополз он до самой Голландии. В Голландии он в богатую семью попал, встретили его так хорошо. Он замёрз, холодный, мокрый весь – они сразу ему баню истопили, потом в чистую одежду переодели. А хозяин и говорит: «Павлуша, а ты иди в магазин, и какой нужно, такой костюм и бери».

И начал работать у них там... Ещё молодой он был. У меня только сестра родилась в 1914 году. Голландцы – те оставляли его у себя работать, а он говорит: «Нет, я не могу остаться, только дочь родилась в четырнадцатом году. Поеду повидаться с дочерью, потом вернусь».

Так обещал. Дали ему документы. Сколько он был в Голландии, я этого не знаю. И сколько был в плену, не знаю. Только сколько-то пожил он на родине – и его посадили, в 33-м году. Не за то, что в плену был, а по какой-то политике. Там должна быть справка, я уже припасла, если хочешь, смотри. Вот, читай: «Солдусов Павел Андреевич, 1892 года рождения... репрессирован по постановлению тройки П. П. ОГПУ по Нижне-Волжскому краю от 25 мая 1933 года по статье 58–10, 11 УК РСФСР по обвинению в участии эсеровской контрреволюционной организации к заключению в концлагерь сроком на 5 лет...»

И за что отца посадили, не знаю. У нас посадили полсела. Отсылали некоторых далеко. У всех страх был. Отец рассказывал: «Такие умные у нас в лагере сидели, и вот их каждую ночь забирали и расстреливали. Приезжал «чёрный ворон». Все смерти ждали каждую ночь».

А к семье какое отношение? Всё отобрали у нас. Две лошади было, корова и ещё тёлочка. Тёлочку мама догадалась отправить сестре на тот конец Шереметьевки. Спрятали. Остальное отобрали. Пришёл человек в кожаной куртке, непростой такой человек, нарядный – всё отбирайте, говорит. Верёвки, вожжи, хомуты – ну всё забрали, голых оставили. Начали хлеб искать. А мама спрятала хлеб под печкой, заложила кирпичом и забелила – вот только это и осталось. И потом ничего не вернули, всё пожрали, 33-й ведь шёл год. Но ведь помню я его, других не помню, а этого помню – в кожаной куртке. И кто он такой был?

И не кулаки были, нищие были, верёвочкой подпоясывались или какой цепью... И в это время – этот, в кожаной куртке, брюки такие... Вот взяла бы тогда и убила его, дали бы мне пистолет – я бы его расстреляла.

А мы ходили в лаптях, в самотканом. Одеть-обуть было нечего. Когда я пошла учиться в школу, у меня были опорки рваные (это вроде ботинок), и я ноги простудила. Сама заболела, зубы заболели. Вот с каких лет начало всё болеть у меня. Три километра до школы, а снега-то какие были!..

Так я школу и бросила, всего три года проучилась.

Да-а, были тогда школы – это когда Ленин выгнал царя, начали школы, ликбезы открывать. Эх, были у меня две книжки про Ленина, и ещё сказки, куда они делись? Как бы читала я их сейчас!..

И вот сидел отец в концлагере, на Севере, в Архангельске, что ли, точно не скажу. Реабилитирован он в 1989 году. И меня реабилитировали. Читай: «...как оставшаяся

в несовершеннолетнем возрасте без попечения отца, необоснованно репрессированного по политическим мотивам, признана подвергшейся политической репрессии и реабилитирована...»

Никто, кого в лагерь посадили из нашего села, не вернулся, кроме отца. Как он сумел, не знаю. Вот отпустили его, а он там научился штукатурить красиво и год после освобождения ещё там оставался работать, уже свободный. Привёз нам матерьял.

В 38-м году он пришёл. Чуть только побыл он дома – и тут война началась, его первым послали туда. Он и брат мой были на фронте, а мама, сестра и я – в тылу.

Брат попал в рабочий батальон, они за войной шли, делали мосты, пилили доски, на лесоразработках были – тоже тяжело. Брат на год постарше меня, с 1925 года. А 1926-й был последний год призыва.

Брат пришёл с фронта живой. Но на войне чем-то отравился. Умер рано. Мало про него знаю. Отец-то про себя много рассказывал, поэтому про него я знаю больше.

У сестры, Татьяны Павловны, тоже муж погиб на фронте. Как раз мама умерла – и прислали похоронку на мужа сестры, Соколова Ивана Никифоровича. Он пришёл первый раз, раненный в плечо. Потом сколько-то прошло, вызывает его военкомат. А у него рука моталась, плечо ранено – куда его брать вообще? Но председатель наш сдал Ваню. Ваня за председателя пошёл – тот себя спас. Вот Ваню и послали, а рука моталась. Из Аткарска пошёл эшелон, под Орлом его разбили. 1943 год был. Налетели самолёты, разбомбили эшелон, и все в нём погибли. До фронта даже Ваня не доехал. Ну кто там может прийти, когда эшелоны целые разбивали? Кто такую страсть пережил, разве кто надолго в живых остался? И били, и стреляли. Их никого уже нет.

А муж мой, Александр Васильевич Филиппов, служил в морской пехоте. Обучал солдат и отправлял их на фронт, ехал с ними в эшелоне из Владивостока в Севастополь. Раз в Севастополе была жестокая бомбёжка, и разбомбили их эшелон. Сколько там осталось солдат, все они бежали и забежали куда-то на кладбище и ночевали в склепе.

Тоже страшно. Тоже видел страх. А сколько у него было медалей! А мои все медали посмотрели, ничего не забыли? Гляди, гляди. Награждали каждый юбилей. Это вот новый, 2015 год. За них я ничего не имею, ни гроша не имею. Смотри: удостоверение «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны», «Знак «Труженику тыла 1941–1945 гг.», удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, удостоверение ветерана труда.

Сколько горя я хлебнула, девчонки! Вот вспоминаю сижу и плачу, и плачу. Как начинаю говорить, не могу я. Хватанули мы горя. Там, на фронте, кровь проливали, а мы ничего хорошего не видали. С тёмного до тёмного работали, работали, подумать даже страшно.

Жила я тогда в Лысогорском районе, в Шереметьевке. Как началась война, сразу по радио стали о ней передавать. Репродуктор такой огромный был у нас в правлении. Мне ещё не было 14 лет, когда началась война, отправили нас в колхоз работать. Больше некому было. Вот работаем мы в колхозе. Самым младшим – лет по четырнадцать. Совсем-то маленьких не посылали, хотя, может быть, они где-то пололи или сено сгребали – у всех дело было.

И каждый день мы в поле были. Вот вынь да положь 30 трудодней! А за них ничего не давали абсолютно. Работали на плугах, на сеялках, а то иди за трактором и смотри, чтобы зерно мимо дырочки не упало. На боронах мы бороновали.

Один раз подругу мою чуть не забороновали. Вот шла она за бороной, а я как схватила её за кофту, и вот начала кричать страшно, чтобы трактор остановился. И всё-таки как же он остановился? Или оглянулся, или что, иначе бы её забороновало. Да-а, было и такое...

Потом окопы послали копать. Вы в Лысогорском районе не были? Это за семьдесят километров от Саратова, Озёрки тама. Вот в стороне от них копали мы окопы на полях. Ведь тогда, в сорок втором году, в Саратов немца ждали. Немец-то – он дошёл уже до Сталинграда и до Воронежа, а Воронеж-то от нас недалеко. А как летят от Воронежа

самолёты немецкие, мы сразу выходим и слушаем. Такой гуд страшный стоит! Так летит, аж страшно. Как долетит до Саратова – видно зарево. Крекинг бомбили и мост. Немцев поволжских тогда Сталин взял и выселил в 24 часа.

И вот, когда мы на окопах были, порвались у меня варежки, мослы вот тут были, на ладонях-то. Приду домой, хозяйка тёпленькой водичкой отпарит. А потом пошли нарывы между пальцев, такие зелёные нарывы, жёлтые – заражение пошло какое-то. А нас не отпускали, охрана кругом. Мы хотели бежать – охрана начала стрелять вверх, пугала нас. Так и копали мы мёрзлую землю. А морозы-то какие были – в сорок градусов! Это вот сейчас у всех штаны есть, а тогда никаких штанов не было. Вязали себе чулки, ходили в валенках. А валенки непросушенные замерзают, и ноги мёрзнут, и сзади поддувает.

Только отпустили нас домой, через неделю опять вызывают на окопы. А разве мама меня отпустит с такими нарывами? Сама за меня поехала, месяц она пробыла там, на окопах, вернулась – и заболела. Высохла – вот лучинка. А через три месяца она умирает, это в 43-м году, 23 апреля. Водянка и рак. Съел быстро он её.

Вот тут я горе приняла. Корову надо было подоить, печку надо истопить и на работу бежать, не отставать от людей. Старшая ещё была сестра Татьяна, я самая младшая.

Так я и жила. Половину без отца прожила, половину без матери. Всё на мне было. Налоги брали, а платить-то нечем. За трудодни ничего не давали.

А хлеба много было, такие вороха были, такие риги – все поля. Огромные риги были, прикрытые соломой, всё в риге, ни один колосочек, ни одно зерно не пропадало. Вот как жили. А в карман нельзя было брать. Возьмёшь, насыплешь – дадут пять ли, десять лет. Обездчки ездили, сумки отбирали. Они-то себе в любое время взять могли. Вот раз мы с подружкой взяли семечек – думали, лепёшек напечём каких-нибудь. Отобрали. Мы как плакали, за меня пошла сестра просить, в ногах у председателя валялась. Тот кричит: «Посажу!» Не посадил. А других сажали.

В ночь мы, бывало, ходили работать – сеяли, веяли. Просишь председателя: я поработаю в ночь, чтобы днём у себя картошку подбить. Трудно было очень. Всю войну было так. Снопы вязали и везли в омет. Как поедem, просят меня женщины: «Маруся, лезь на воз, мы будем подавать». Высоко, а никто больше не залезет, а если я на этом, на возу-то, то я и кидала.

Зимой на поле едем за соломой. Поле у нас за пять километров было. А ураган, метель! А мы не садимся, идём пешком, в валенках тащимся, хоть ни дорог, ничего. Сначала трактор пройдёт, а потом всё равно дорогу заметает, ураганы были страшные. Много скота было, вот и ездили за соломой. У нас и коровки, и теляточки, и ягняточки – всех накормим, за всеми уберём. Некогда было отдыхать. А всё равно старались вечером на танцы сбегать.

Хочешь, чтобы тебя не выселили за два трудодня – значит, работай. Обед – горох, чечевица, супы из них. До сих пор чечевицу видеть не хочу. Горяченького похлебаем, и всё. И хлеба ещё давали сто, что ли, грамм. Мы даже и не понимали, какой это хлеб, добавляли в него что-нибудь или нет. А дома – парили тыкву или свёклу.

Отец уговорил меня поехать в Кутаиси к родственникам: «Маруся, поезжай, они зовут». Собрали меня, и уехала я в Кутаиси в 1949 году. Сестра отца работала на кондитерской фабрике, и буквально через два дня она устроила меня на работу. А я не знала ничего, три класса у меня образования. Но всё я узнала, как Господь мне помогал, и всё я поняла. Вот и работала, и даже была мне благодарность. Из Тбилиси приехало начальство – а я в это время проминала арку на помадку – и говорит: вот эту девушку нужно отправить к нам учиться.

Не успела я. Турция зашевелилась. А она где? За горой. Ну, наши продали квартиру и уехали.

А я поехала на лесоразработки в Кострому, чтобы обуться-одеться. Жила я у тётки моего двоюродного брата. Мы вместе с ней работали, она за меня деньги получала и не отдавала мне полностью. А сама я получать боялась: вдруг сгонит меня с квартиры.

А потом я всё-таки пошла – и так много денег получила! Поехала, купила отцу сапоги, потом материалу много купила, килограммов на 10–12, и отправила большую посылку. И сама я немножко приделалась.

Только вернулась я домой, пишет тётка из города Семёнова (это Горьковская область): «Маруся, приезжай ко мне, я живу тут одна». Отец говорит: «Езжай, что ты опять в колхозе останешься». Не хотелось мне отца оставлять, плакала я. С отцом мы пилили доски маховой пилой. Пришёл он когда с фронта, я говорю: «Папанька, у нас пол гниёт, а где мы возьмём лес-то?» А потом нашли, ночами ездили и привозили. «А с кем я буду пилить?» – «Со мной, папанька». И пол настилали сами, с ним вместе. Всё сама я делала.

А потом всё-таки уехала я в Семёнов, там мне пришлось устроиться в ресторан пекарем. И опять я хорошо работала! Был у нас на Октябрьскую в ресторане банкет. Играет духовой оркестр, и вдруг меня вызывают: «Солдусова Мария Павловна». А как я подошла, начали мне вручать сто рублей премии – за хорошую работу. Дорогие тогда были деньги. А музыка как заиграла, а слёзы у меня как покатились! Директор подошёл: «Мариночка (он меня Мариночкой звал), Мариночка, ты чего?» А я говорю: «От радости».

Какое-то время я поработала – отец пишет: «Маруся, приезжай, стал плохой я уже». Поехала. Жалко отца мне было. Это, кажется, 52-й был год. А в 57-м году отец умер. Умер он от сердца.

Я немножко пожила и уехала в Саратов. Сестра осталась. А я уже устала в колхозе работать за палочки.

Приехала я к дальней родне в Саратов, встретили меня хорошо. Дядя мой работал на шарикоподшипниковом заводе. По две тысячи человек в смену ходили, а ведь три смены было, значит, шесть тысяч! И это на каждый завод. Вот сейчас у нас одна грязь кругом, а тогда всё под метёлочку было. Чистота во всех улицах-переулочках. Везде дворники. Ещё и дороги водичкой обольют, чтобы пыли не было. Вот что делали – хорошо было как!

В Саратове я тридцать лет проработала в высшем инженерном курсантском училище имени Лизюкова. Числилась я там служащей Советской Армии, а работала поваром. Работали мы в две смены. Ездили мы по военным лагерям, где обучались курсанты.

Эх, какие же военные выходили у нас! И кормили их очень хорошо. Привозили даже французское мясо, красивое и жирное. И своих свиней было очень много. Делали плов, кашу гречневую с котлетами, с мясом порционным, макароны по-флотски. А завпроизводством – вот и подливает в макароны масла, вот и подливает!..

Ах, какие ребята были! А какие банкеты! Не приходилось тебе бывать на банкетах? Что ж ты не завоевала себе тут курсанта? Эх, ты! Какие же умницы выходили они, интеллигентные такие, красивые! Вот идут они, и с девушками, и с жёнами – девушки и жёны в белых платьях, а у самих костюмы салатовые. А накрывали как! И чёрная икра была, и красная икра была, и чего только не было! Вина наставят – ни один курсант не валяется нигде. Вот воспитание!

На пенсию вышла как все, а потом ещё 14 лет в аэропорту отработала, так до 82-х лет и трудилась. И теперь поздравления присылают из училища. И не только. Эх, у меня их сколько! Даже есть от Путина и Медведева. Вам показать? Даже в Москву звали на 9 Мая в прошлом году, да не с кем поехать мне было...

Записала Елизавета Данилова

Андрей ТИМОФЕЕВ

Андрей Николаевич Тимофеев родился в 1985 году. Окончил Литературный институт имени Горького. Участник II Всероссийского некрасовского совещания молодых писателей. Ведёт авторскую рубрику «Дневник читателя» на сайте «Росписатель». Публиковался в журналах «Новый мир», «Наш современник», «Подъём». Победитель III Литературного форума «Золотой Витязь» в номинации «Дебют». Живёт в Москве.

О СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ КРИТИКЕ

ВСТУПЛЕНИЕ. О КРИТИКЕ ВООБЩЕ

Подобно настоящей литературе, настоящая критика есть подлинное искусство.

К сожалению, в современном литературном процессе критика чаще всего выполняет роль рекламно-развлекательного чтения, целью которого является привлечь внимание аудитории к тому или иному произведению (ярким примером является известный блог Л. Данилкина). Но даже если такая критика старается быть объективной, то всё равно, по большому счёту, сводится лишь к вкусовым оценкам. В самом лучшем случае современная критика становится критикой идейной, т. е. наблюдающей за литературным процессом сквозь призму достаточно жёсткой идеологии и чётко разделяющей авторов на «наших» и «не наших».

Итак, попытаемся сформулировать и систематизировать основные проблемы современной критики.

Во-первых, это **отсутствие преемственности**. Критики сейчас ссылаются только на своих современников, чаще всего – товарищей по журналу или литературному направлению. Достаточно определённо можно сказать, кто ближе такому критику – Владимир Бондаренко или Наталья Иванова, но, сторонник он критики исторической или эстетической, от кого ведёт свою традицию – от Белинского, Чернышевского или Григорьева, – догадаться совершенно невозможно.

Из отсутствия преемственности следует отсутствие внятных художественных ориентиров. В лучшем случае в современной критике царит почтительное отношение к классической литературе прошлых веков без ощущения какой бы то ни было связи с ней (так почтительно взирают на старые иконы в дорогих рамках, даже не допуская мысли помолиться перед ними).

Вторая проблема – это **отсутствие идеала**. Читая современную критику, почти невозможно понять, в каких идеальных категориях тот или иной автор оценивает мир и литературу, т. е. во что верит данный критик. И потому, лишённая внутреннего ощущения идеала, современная критика так и остаётся набором разрозненных эстетических замечаний.

В связи с этим особенное значение приобретает личность критика. Настоящий критик должен обладать независимым мировоззрением. В этом мировоззрении, в глубине собственного логико-волевого взгляда на мир, он находит те точки опоры, на которых строится его критическое творчество. И потому настоящий критик всегда говорит не столько о своих субъективных предпочтениях, сколько о том, как он понимает объективность. Пусть это исключительно его (субъективный в достаточной мере) взгляд, но критик верит в то, что в меру его понимания (т. е. в некотором приближении) объективность именно такова.

Надо сказать, что в современном критическом процессе уже появляются авторы, готовые взять на себя ответственность говорить от лица объективности или хотя бы признающие необходимость этого. Так, например, Валерия Пустовая в своей статье «Китеж непотопляемый» настаивает на том, что высшим выражением критики является отнюдь не «*умение трактовать и препарировать, разлагая уже и так не первой живости явления текста на ещё более мёртвые элементы идей и приёмов*», а «*построение собственного мира идей, основанного не на образности, а на вере*»¹. А Андрей Рудалёв в статье «В поисках нового позитива» даже предпринимает небезуспешную попытку построения такого мира, провозглашая «*инстинкт веры*» главным свойством талантливого писателя².

Но мало сформулировать эстетически-мировоззренческую позицию и даже очертить контуры своего «мира идей» – необходимо наполнить его художественным содержанием. Таким образом, мы переходим к третьей проблеме современной критики: **отсутствие ясных критериев художественности**. В современном литературном процессе непонятным образом сосуществуют и мёртвая сконструированность текстов Дмитрия Быкова, не имеющая никакого отношения ни к реальности, ни к правде жизни; и серая безъязыкость Романа Сенчина; и талантливое, проблесками яркое и правдивое творчество Захара Прилепина, кажется, ещё не до конца отдающего себе отчёт, что же у него хорошо, а что плохо – всё это варится в одном котле, и никто не может или не хочет выстроить хоть сколько-нибудь адекватную художественную иерархию этих текстов.

А между тем настоящий критик должен отличать настоящую литературу от подделки. Не всякая книга, даже разошедшаяся большими тиражами, даже получившая престижные премии, является феноменом литературы. Мы слишком много говорим о том, чего просто нет, анализируем, объясняем, ищем скрытые смыслы, тогда как разбираемый текст может быть обычной графоманией, то есть вообще не существовать в пространстве художественной литературы.

Утрачивая художественные и мировоззренческие ориентиры, мы постепенно утрачиваем и принципы критического осмысления литературы. Поэтому нашей задачей будет если не восстановить эти принципы, то хотя бы попытаться предложить собственный вариант. И в первую очередь, на наш взгляд, необходимо ответить на два вопроса. Во-первых, на вопрос о соотношении эстетической красоты и реальной жизни в художественном произведении; во-вторых, на вопрос о том, что же есть самое важное в литературе и как это важное проявляется в самом художественном тексте. Без ясного внутреннего понимания ответов на эти вопросы не может работать ни один настоящий критик, не может существовать ни одно адекватное критическое направление.

Но прежде чем сформулировать собственные ответы на эти фундаментальные вопросы, мы должны «почувствовать землю под ногами», найти в традиции то, на что мы можем опереться. Для нас отправной точкой станут работы А. Григорьева «Критический взгляд на основы, значение и приёмы искусства», «Русская изящная литература в 1852 году» и др.³ Впрочем, мы не будем заниматься литературоведением, а отметим лишь те мысли критика, которые являются существенными именно для нашей статьи.

И наконец, прежде чем перейти к содержательной части, хочется сделать одно важное замечание. Говоря о подлинной литературе, мы должны отдавать себе отчёт, что перед нами – тайна, одно из самых сложных и загадочных явлений в мире. И потому мы не будем посягать на построение законченной системы в области художественного творчества, а лишь на то, чтобы приоткрыть отдельные грани таинственного, прикоснуться к нему с осторожностью и благоговением.

1 «Октябрь», 2006, № 10.

2 «Урал», 2007, № 2.

3 Григорьев Аполлон. Эстетика и критика. М., «Искусство», 1980.

ЭСТЕТИКА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

В статье «Критический взгляд на основы, значение и приёмы искусства» Аполлон Григорьев замечает, что современная ему критика пошла целиком по пути первенства реальной жизни над эстетической красотой: *«приняла жизнь как явление за норму искусства»*, стала *«видеть в искусстве рабское служение жизни»*. *«Величайшая вина этого направления против искусства заключается именно в той натуральности, которая рабски копирует явления действительности, не отличая явлений случайных от типических, не озаряя их разумною и истинно любовною мыслию»*, – говорит он в другой своей статье – «Русская изящная литература в 1852 году».

С тех времён прошло полтора столетия, в которых уместились и расцвет русской литературы второй половины XIX века, и возникновение модернизма, а затем и постмодернизма. И потому нам опять приходится возвращаться к вопросу о соотношении эстетической красоты и реальности в художественном произведении. И если А. Григорьев сетовал на то, что критика и литература в его время пошли по пути натурализма, мы должны констатировать, что стали свидетелями противоположного заблуждения, а именно: торжества мёртвой, отвлечённой эстетики довольно низкого уровня, апофеозом которого стал постмодернизм. Жизненность и правдивость отошли на второй план, уступив место рассудочности, литературной игре и вторичности.

В 2000-х годах постмодернизм практически сошёл с отечественной литературной сцены, и потому не станем посвящать ему много времени. Приведём лишь один пример, как даже небольшая деталь, связанная с реальностью, случайно попавшая в постмодернистский текст, бывает настолько значительнее его «эстетической красоты», что полностью разрушает её. В качестве иллюстрации возьмём прозу преподавателя Литературного института А. Антонова⁴, представляющую из себя характерный образец постмодернизма. Во-первых, эта проза отдалена от реальности, во-вторых, основана на литературной игре, в-третьих, целиком пропитана классикой, её героями, образами, переливающимися из одного произведения в другое, – всё это вполне мастерски по форме, но пусто по внутреннему содержанию: *«И взял я тогда, позаимствовал тогда заглавие у уважаемого мною писателя М. А. Булгакова», «Утром, подобно владельцу трёхсот душ Тентетникову, что из 2-го тома «Мёртвых душ», вставал не раньше, чем проснусь и выплюсь»* («Не вполне театральная повесть»), *«А она вечно была молчалива, потому что, по слухам, была потомственная княгиня Марья Алексеевна, а вот по-французски как раз не умела»* («Чёрная речка»). Однако есть у А. Антонова одно произведение, на котором нам хотелось бы остановиться подробнее.

Рассказ «Потусторонний» написан в той же манере, что и остальные рассказы, и, наверно, также воспринимался бы в рамках литературной игры, если бы не одна подробность. Рассказ начинается так: *«Дочь умерла во вторник. Похороны пришлось на пятницу, и пришлось отпроситься с работы. В четверг я одолжил у Сергеева чёрный костюм, а рубашка, тоже чёрная, была на мне своя. Я стоял в головах могилы, почти на краю, и смотрел, как комья падают на крышку гроба»*. А дальше: *«В субботу я купил четыре жёлтых цветка и отправился на кладбище. Так делают все»*. Эта смерть дочери сразу задаёт тон всему повествованию, а холодность, с которой рассказчик её встречает, мгновенно открывает нам бездну бесчувствия в нём самом. Мы ожидаем проникновения в эту бездну, нам кажется, что сейчас внутренняя логика текста подчинится этому глубокому повреждению в человеке (как, например, в романе А. Камю «Посторонний», к которому как раз и отсылает нас заглавие рассказа). Но вместо этого А. Антонов принимается плести свои обычные кружева – появляется какая-то женщина, следует любовное приключение с откровенными подробностями, наконец, герой совершает непонятное убийство и т. д. Автор, кажется, даже не задумывается о том, что одно только

касание серьёзной темы сразу же выбросило его рассказ в иную смысловую плоскость, придало тексту дополнительное измерение, которое, разумеется, не смогло наполниться содержанием, так как автор изначально был настроен на постмодернистскую игру. Он не чувствует границы, до которой игра оправдана, а за которой – просто невозможна не то чтобы по идейным, но даже по эстетическим соображениям.

Итак, далеко не всё в художественном произведении следует из его собственной отвлечённой эстетики, есть вещи, вытекающие из самой объективности устройства реальности, которые никак не хотят превращаться всего лишь в пазлы даже самой яркой эстетической картинки. Условность литературы не бесконечна, эстетика не может совсем оторваться от реальной жизни. Возможно, это косвенное свидетельство разумности устройства мира, где всё взаимосвязано между собой и где из пренебрежения одним сразу же следует повреждение в другом.

БЫТОВИЗМ, ИЛИ ПРАВДА ЖИЗНИ: САМОЕ ВАЖНОЕ В Л????????

ИТЕРАТУРЕ

Однако связь эстетического устройства текста с изображаемой в нём реальностью не означает подчинение художественного творчества самой реальности, иначе мы пришли бы к другой крайности, о которой как раз предупреждал нас А. Григорьев: прямолинейному бытовому натурализму. На самом же деле, открывая произведение художественной литературы, мы не хотим найти там реальную жизнь, потому что её в избытке мы можем найти вокруг себя, на худой конец – в публицистических статьях, энциклопедиях, репортажах с места событий и т. д. Подсознательно, порой даже не отдавая себе в этом отчёта, мы ищем в художественном произведении не реальность, а реализм – ту самую Правду жизни, сгущённую живую субстанцию, которая отражает суть происходящего в человеке и во всём мире.

Причина, по которой авторы или критики выбирают между эстетикой и реализмом, состоит именно в том, что реализм понимается ими буквально и вульгарно, а именно – как бытовые зарисовки из реальной жизни. Они забывают, что реализм – это «в человеке увидеть человека», вскрыть глубинные основы реального мира, понять его внутренние законы. Подлинный реализм – суть литературы, её ключевой элемент.

Отчётливо почувствовать разницу между бытовым описанием реальности и самой Правдой жизни мы сможем, например, сопоставив эпизод из романа Захара Прилепина «Патологии», посвящённый первому бою главного героя, с описаниями боя, взятыми нами из воспоминаний двух известных фронтовиков – Михаила Лобанова и митрополита Антония Сурожского.

Вот описание Прилепина:

«Хасан с двумя бойцами из своего отделения пошёл впереди. Метрах в тридцати за ними – мы – по двое; сорок человек.

Очень страшно, очень хочется жить. Так нравится жить, так прекрасно жить. Даша...

Ежесекундно поглядываю на заводские корпуса: «Сейчас цокнет – и прямо мне в голову. Даже если сферу не пробьёт, просто шея сломается, и всё... А почему, собственно, тебе?.. Или в грудь? СВДэшка броник пробивает, пробивает тело, пуля выходит где-нибудь под лопаткой и, не в силах пробить вторую половинку броника, ricoшетит обратно в тело, делает злобный зигзаг во внутренностях и застревает, например, в селезёнке. Всё, амбец. И чего мы бежим? Можно было доползти ведь. Куда торопимся? Цокнет – и прямо в голову. Или не меня?..

Ненавижу свою «сферу». Утоплю её в Тереке сегодня же. Далеко, интересно, этот Терек? Надо у Хасана спросить...»⁵

Видим, что описание Прилепина представляет собой последовательную фиксацию событий. Психологические детали сводятся к словам о страхе смерти и воспоминаниям о любимой девушке.

А вот примеры из воспоминаний М. Лобанова и митрополита Антония Сурожского:

«На передовую мы шли ночью, впереди небо было в трассирующем свечении, в бегущих друг за другом огненных светлячках, пунктирах, оставляющих за собою круглые полудужья или же растягивающихся по горизонту. Казалось, что там – главное. Все там вместе, вся армия, все делают сообща что-то налаженное, почти праздничное, это чувствовалось по непрекращающемуся кружению трассирующих огней...»

Прямо с ходу неожиданно подошли к окопам. Чувство было самое обыденное, как до этого на привале. Видимо, скоро будет рассвет, очень хотелось есть. Сухой паёк был съеден двое суток назад, вспоминалась буханка хлеба, найденная накануне на дороге. Странно было, что её не подобрали до нас. Я её поднял, и мы жадно съели её. Неизвестно, сколько прошло времени, я писал письмо матери, и слова приходили от какого-то другого во мне человека, но и мысли не было, что, может быть, это последние в жизни слова...»⁶

«Я лежал на животе, был месяц май, стреляли над головой, я делался как можно более плоским и смотрел перед собой на единственное, что было: трава была. И вдруг меня поразило: какая сочная зелёная трава, и два муравья ползли в ней, тащили какое-то зёрнышко. И вот на этом уровне вдруг, оказывается, есть жизнь, нормальная, цельная жизнь. Для муравьёв не было ни пулемётов, ни стрельбы, ни войны, ни немцев – ничего, была крупица чего-то, что составляло всю жизнь этих двух муравьёв и их семейств...»⁷

Посмотрите: описания фронтовиков не сводятся к фактическому описанию событий – где они остановились, что съели, как бежали в атаку (хотя такие подробности там тоже есть). Но в каждом из этих отрывков есть и другое, а именно: проникновение в глубину, в самую суть события и его восприятие человеком. Для М. Лобанова суть происходящего в ощущении великого общего дела, которое сообща делает вся армия и в которое предстоит влиться и ему; для митрополита Антония – ощущение ненормальности происходящего вокруг, где люди убивают друг друга, противопоставление войны естественному миру природы. Заметим, что это всего лишь частные воспоминания (пусть даже таких мудрых людей), а не отрывки из условных «Войны и мира» или «Тихого Дона». Согласитесь, странно, что эти частные воспоминания выходят на порядок глубже, чем художественный роман, написанный профессиональным писателем.

Итак, настоящий писатель не только излагает свой жизненный опыт, он переживает его внутри себя. Чтобы потом не просто написать о реальности, которую видел, а выразить сгущенную Правду жизни, открывшуюся ему в переживании этой реальности. Эта Правда жизни и есть, на наш взгляд, самое важное в литературе.

СУБЪЕКТИВНЫЙ АСПЕКТ ПРАВДЫ ЖИЗНИ: ОБ «УДАРАХ» В ЛИТЕРАТУРЕ

Завершив рассмотрение вопросов о соотношении эстетики и реальности и о том, что же есть самое важное в литературе, мы можем наконец перейти к практическому вопросу о том, как именно Правда жизни проявляется в художественном тексте. Для этого,

⁵ Прилепин Захар. Патологии. М., «АСТ», 2011.

⁶ Лобанов М. П. В сражении и любви. М., «Ковчег», 2003.

⁷ Митрополит Сурожский Антоний. Духовная жизнь. М., Фонд «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского», 2011.

следуя за Аполлоном Григорьевым, будем выделять два элемента деятельности истинного художника – субъективный (т. е. стремление истолковать происходящее в мире, показать его тайную суть в соответствии со своим внутренним пониманием жизни и искусства) и объективный (собственно само воспроизведение явлений внешнего мира в его объективной реальности).

Мы начнём с первого, но прежде заметим, что истолкование происходящего ни в коем случае не может свестись к рассудочному утверждению некой «правильной» истины (каких бы то ни было идейных убеждений данного автора). Нет, должен существовать таинственный механизм, благодаря которому читатели смогли бы перенестись из мира бытовых явлений и происшествий в мир Правды жизни, – механизм именно художественный. Далее мы перейдём к внимательному рассмотрению этого самого механизма.

Среди суеты обыденной жизни бывают такие моменты, когда нас словно пронзает и нам открывается как бы самая суть бытия. Это может произойти от чьего-то слова, поступка, от какой-то внезапной мысли, от случайной встречи. И тогда мы стоим, поражённые этим неожиданным «ударом». Вся шелуха спадает, и нам удаётся, пусть на короткое мгновение, увидеть мир преображённым. Как ценны эти моменты, как подолгу мы потом храним память о них! И часто лишь по прошествии времени начинаем понимать, что, может быть, это и было единственным настоящим переживанием в нашей жизни.

Подобные «удары» существуют и в литературе, более того, именно они и составляют то самое важное, что в ней есть. Среди словесной «шелухи» – бессильных описаний, утомительных диалогов, рассудочных авторских утверждений – вдруг встречается эпизод, ценность которого гораздо выше прямого значения описываемых событий, и тогда читатель уже не различает слов, а как бы падает в глубину открывающейся перед ним бездны. И коль скоро в начале нашей статьи мы говорили об отсутствии в современной критике связи с классической литературой (и ещё отчасти из-за того, что в современной литературе сложно найти «удары» подобной силы), покажем, что есть «удар» на примере романа В. Гюго «Отверженные».

Пока мы читаем описание жизни Диньского епископа, его встречи с каторжником Жаном Вальжаном, самого момента воровства, поимки преступника и прощения, нам кажется это всё интересным и важным. Но мы понимаем замысел автора лишь умом – конечно, милосердие епископа должно благотворно повлиять на душу бывшего каторжника – но ещё не ощущаем кожей. И вот только когда сразу после оказанного ему неожиданного милосердия Вальжан встречает на дороге маленького мальчика, отбирает у него монету, а потом, содрогнувшись от поступка настолько злого и нелепого, что его душа уже не способна согласиться на него, срывается с места и начинает кричать: «Малыш Жерве, малыш Жерве!», ищет обиженного мальчика, чтобы вернуть ему монету, но не находит, а заметив на дороге случайного путника, бросается к нему и просит арестовать себя, потому что он вор, – вот только тогда мы ощущаем внутри себя страшный «удар», переламывающий жизнь надвое. Текст натягивается, напрягается, и уже неважными становятся сами слова. Суть бытия, подлинная Правда жизни, как лава из разлома земной коры, вырывается наружу.

На таких «ударах» стоит вся литература: раскаяние Иудушки Головлёва, «чёрное солнце» Григория Мелехова, ощущение связи прошлого и будущего в конце рассказа Чехова «Студент» и т. д. Это и есть самое важное в художественном произведении. И, разумеется, если мы говорим о современной литературе, если пытаемся предъявлять к ней хоть какие-то серьёзные требования, то в первую очередь мы должны находить в ней именно такие «удары». Конечно, речь идёт не о равноценном сравнении, скорее, о попытке, о правильном векторе, об умении автора вырвать из обыденности хоть что-то более важное, чем описание событий, мыслей героев и их чувств. Но такие попытки, если они сколько-нибудь удачны, должны отмечаться обязательно.

Для примера рассмотрим известный роман Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом»⁸.

Вообще сам роман построен на двух удачных, хотя, по большому счёту, рассудочных приёмах: во-первых, на противопоставлении простодушного тона рассказчика тем страшным вещам, о которых он говорит: *«Почему я идиот, я знал уже тогда. У меня в мозгу сидел золотистый стафилококк. Он ел мой мозг и гадил туда...»*; во-вторых, на противопоставлении грубости бабушки героя её реальной заботе о внуке и любви к нему: *«Господи! Ведь есть же на свете дети! В музыкальных школах учатся, спортом занимаются, не гниют, как эта падаль. Зачем ты, Господи, на шею мою крестягу такую тяжкую повесил?!»*, а через несколько страниц: *«Пошли мне, Господи, часть его мук. Я старая, мне терять нечего. Смилуйся, Господи! Верно говорят: за грехи родителей расплачиваются дети. Ты, Сашенька, страдаешь за свою мать, которая только и делала, что таскалась. А я стирала твои пелёнки, и на больных ногах носила продукты, и убирала квартиру...»* Без этих системообразующих приёмов роман превратился бы в собрание бытовых подробностей жизни героя; нарочитых, хотя и вполне достоверных ругательств бабушки; череды неоправданных сгущений нелепости отдельных ситуаций и даже откровенных «сххм».

Важны в романе и попытки автора углубить образы второстепенных героев: деда, мамы, «карлика» дяди Толи (сделанные в общем-то бесхитростно – введением воспоминаний героев об их жизни); подлинно и правдиво чувство героя к матери. Но всё это (и системообразующие приёмы, и отдельные ценные моменты), по большому счёту, лишь подготовка к главному.

И вот уже ближе к концу романа происходит то, что можно назвать настоящим «ударом». Воспользовавшись отсутствием бабушки, мать забирает сына из её дома. Мальчик болен, у него высокая температура, но нельзя терять ни минуты, иначе такого шанса больше не представится. С трудом они успевают собраться, едут на метро, входят в квартиру, где живёт мать со своим гражданским мужем. И здесь-то мальчик Саша начинает понимать, что что-то «сломалось» в его жизни, что достижение мечты (жить с матерью) таким нечестным способом (убежать от бабушки) не сделает его счастливым: *«Казалось, я должен был бы радоваться, суесться, получив в своё распоряжение столько чудесных минут, или, наоборот, неспешно располагаться, зная, что смогу теперь говорить с мамой сколько захочется, но я сел в кресло, и всё стало мне безразлично. Мне казалось, что время остановилось и я нахожусь в каком-то странном месте, где дальше вытянутой руки ничего не существует. Есть кресло, есть стена, с которой удивлённо смотрит на меня вырезанная из чёрной бумаги глазастая клякса, и ничего больше. А вот ещё появилась мама... Она улыбается, но как-то странно, как будто извиняется, что привела меня в такой ограниченный мир. Только теперь я понял, что мы с ней совершили. Мы не просто ушли без спросу из дома. Мы что-то сломали, и без этого, наверное, нельзя будет жить... Я встал с кресла и прижался к маме, чтобы вознаградить себя за все потери счастьем, минуты которого не надо теперь считать, и с ужасом почувствовал, что счастья нет тоже. Я убежал от жизни, но она осталась внутри и не давала счастьем занять своё место...»*

В этом моменте (и как следствие его – в следующей за ним сцене скандала) сходятся в точку все противоречия, подспудно существовавшие в тексте; абсолютно явными становятся непримиримость героев, глубокая несовместимость их «правд» и позиций. Мы на мгновение ощущаем саму стихию жизни, её бесконечную несправедливость, невозможность втиснуть её в рамки монологической этической системы и сказать, кто в этой ситуации прав, а кто виноват. Именно этот прорыв прозаического бытования героев и есть «удар» – в нём и заключается главное достоинство романа Санаева.

Итак, механизм проникновения Правды жизни в ткань художественного текста есть явление над-языковое и даже над-психологическое, это и внутренний нерв подлинной литературы, и невыразимая словами концентрация её драгоценного содержания.

ОБЪЕКТИВНЫЙ АСПЕКТ ПРАВДЫ ЖИЗНИ: О ЛЮБВИ И ЕЁ ОТСУТСТВИИ

Мы попытались внимательнее присмотреться к субъективному элементу проявления Правды жизни в художественном тексте, а именно: к внутренней правде художника, неразрывно связанной с индивидуальными свойствами его личности, проявляющейся в тексте посредством механизма, который мы назвали «ударом». Теперь же нам предстоит перейти к элементу объективному, а именно: к воспроизведению явлений внешнего мира. Однако, в отличие от научно-популярных жанров и беллетристики, в настоящей литературе объективность достигается не только и не столько за счёт строгой фиксации событий, мыслей или чувств героев. Объективность в литературе неразрывно связана с понятием Истины.

Можно сказать даже сильнее, не таясь за общими рассуждениями и метафорами. Если Бог существует, если мы верим в Его существование, то Он и есть самая объективная реальность. И тогда выражение высшей Правды жизни для писателя – увидеть образ Божий в каждом герое и промысел Божий в каждом происходящем событии (разумеется, при этом вовсе не обязательно говорить о Боге явно). Впрочем, это очень высокая планка, которую не позволяли себе ставить даже крупные писатели, ясно осознавая своё человеческое ничтожество перед такой задачей. Но есть то, что в какой-то мере мы можем требовать от любого автора – это любовь к своему герою.

Любовь автора к герою, подобно любви одного человека к другому, выражается не в положительной этической оценке, а в подлинном интересе к его личности. Любящий автор никогда не позволит, чтобы его герой был картонно-одномерным. Будь это положительный персонаж или злодей – не важно, в каждом герое такой автор увидит индивидуальные черты, характеризующие личность.

В наши дни в литературе подобный внимательный и тёплый взгляд на своих героев – чрезвычайная редкость. Критик Андрей Рудалёв в работе «В поисках нового позитива» так говорит о современной литературе: *«аутичная, самозамкнутая, амбициозная, плотоядная, где зачастую персонифицируется лишь я-голос писателя, а всё остальное лишь декорации, которые нужны лишь до времени»*. И, пожалуй, самым явным примером подобного явления в литературном процессе последних лет является проза Романа Сенчина.

В главном герое романа Р. Сенчина «Елтышевы»⁹ Николае Михайловиче автор подмечает лишь то, что он обычный человек, похожий на своих сверстников; что он «проспал» начало 90-х и потому всегда раздражён и недоволен жизнью; что он работает в вытрезвителе и ожидает, что когда-нибудь к нему попадёт пьяный богатей с набитыми деньгами карманами. Автор подчёркивает: это совершенно серый человек без каких-либо особенных индивидуальных черт. Не предпринимается никаких попыток углубиться в его характер, подметить хоть что-то характерное (не говоря уже о психологическом обосновании совершённых героем убийств). Неужели Р. Сенчин на самом деле считает, что есть на свете люди, всё существование которых сводится к мыслям о деньгах, собственных неудачах и зависти к другим? Но если автор больше ничего не видит в своём герое, то, может, это просто не его герой и не стоит о нём писать?

Другие герои романа выписаны ненамного глубже. Кульминацией психологического бессилия автора можно считать характеристику сына Елтышева, Артёма: *«Однажды он услышал слово, поразившее его, – слово это произнесли не в его адрес, но с тех пор Артём*

часто мысленно повторял, обращал его к себе: «Недоделанный». Обидное, но точное слово...» И страшно даже не то, что герои у Сенчина получились одномерными, что не хватило таланта, взял не ту тему – всё это простительно. Пожалуй, самое страшное, что автор искренне считает, что есть на свете «недоделанные», или просто серые люди.

Можно было бы привести примеры из классики (образ Иудушки из «Господ Головлёвых»), сравнить героев Сенчина с героями хрестоматийной современной прозы (Белов, Распутин), но чтобы не заниматься утверждением очевидного, возьмём для сравнения роман «Книга без фотографий» другого молодого автора – Сергея Шаргунова¹⁰.

В романе Шаргунова есть второстепенные герои – Коля и Аня Болбас, которые чем-то напоминают Елтышева и его жену Валентину. Они также прожили всю жизнь друг с другом, также многое потеряли в 90-е; подобно Елтышеву, Коля Болбас сильно пил и от этого умер. И даже отношения в этих семьях отчасти похожи. Вот что думает Елтышев о своей жене: *«И не поймёшь, как вместо девчонки, от которой не отлипал, рядом оказалось привычное, необходимое, но неинтересное существо. Жена»*. А вот короткий эпизод из жизни Коли и Ани: *«Я привёз Болбасов к моим родителям, где дядя Коля стремительно накачался водкой.*

– Мучитель мой! всю жизнь мне сломал! – вздыхала тётя Аня.

Он же, насупившись, бабьим квёлым голосом начал её материть...»

Казалось бы, похожие герои, в чём-то схожи и взгляды авторов на них. Но вот – характерный момент. Умирает Елтышев. Несколько строчек о том, как его хоронили – и сразу же автор переходит к рассказу о том, как жена продавала оставшийся от Елтышева автомобиль. Ни одной, пусть даже самой тривиальной детали, показывающей, как Валентина пережила это событие. А вот рассказ Ани Болбас о смерти своего мужа: *«Он лежал и мычал. «Что ты хочешь?» Глаза мокрые, пытается сказать, но не может. «Во... во... вод...» – «Водки?» – спрашиваю. Обрадовался как ребёнок. Часто-часто моргает: мол, так и есть, хочу. А я ему с издёвочкой: «На-ка, выпей» – и кукиш. «Водки он хочет! Много ты моей кровушки попил с этой водкой. Разбило тебя, вот и лежи теперь, и будет всё по-моему. Сколько ты меня мучил, всю жизнь сломал!» Лежит он, глаза закрыты, и руку мне сжимает. Нежно сжимает, как в первое время, когда любовь у нас закрутилась...»*

И в этом эпизоде мы как живых видим и Аню, и Колю, более – проникаемся симпатией и состраданием к ним. Значит, есть подлинные искры и у современных молодых авторов, есть стремление проникнуть в глубину человеческого характера, полюбить своего героя, а через это дать возможность полюбить его и читателю. Потому что, полюбив человека, пусть самого обычного, пусть самого безобразного, нельзя не увидеть в нём личность, единственную и неповторимую.

Итак, в художественной литературе для изображения внешнего мира недостаточно одного лишь зоркого писательского взгляда и некоторой талантливости, недостаточно просто воспроизводить жизнь и даже типизировать её явления. Подлинный художник всегда освещает изображаемые явления светом своей любви. На этом и стоит вся литература, особенно отечественная. Без этого тёплого, любящего взгляда писателя «объективное» изображение жизни будет искажённым, отвлечённым и, по большому счёту, необъективным. И такой взгляд вовсе не является особенностью каких-то отдельных авторов (как может показаться при поверхностном рассмотрении – будто бы на мир можно смотреть и иначе, например, со злостью и едкостью). Любовь автора к своим героям следует из самой объективности Истины и не может подвергаться сомнению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

О ЗАДАЧАХ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ КРИТИКИ

В начале нашей статьи мы уже пытались сформулировать, какой должна быть критика вообще. Мы говорили о преемственности, о наличии идеала, о внятных критериях художественности. Но теперь нам важно пояснить, какой мы видим именно органическую критику. От её лица мы уже постарались ответить на фундаментальные вопросы о соотношении эстетики и реальности и о том, что же есть самое важное в художественном произведении и как оно проявляется в самом тексте, но этого мало. Нам нужно ещё показать, чем именно органическая критика отличается от других критических направлений.

На наш взгляд, органическая критика есть не только преемственность, идущая от работ какого-либо критика (в данном случае А. Григорьева), а **ясная живая связь** с его наследием и вообще со всей классической литературой. Органическая критика не просто исповедание какого-либо идеала, но **идеала любви**. И наконец, органическая критика – это не просто наличие сформулированных критериев художественности, а ощущение **живой художественной реальности**, умение *«подмечать всё живое и находить фальшь в «деланном»*.

Задача любой критики – создать собственный мир. Задача органической критики – создать мир, наполненный живым художественным содержанием, чтобы там царствовали не философская рассудочность, а ясность и простота логического вывода и подлинная теплота художественного чувства.

Эта колоссальная задача, безусловно, не решается в рамках одной статьи или даже цикла статей одного автора. Должно сформироваться целое направление, объединяющее критиков, обладающих особым чутьём, чтобы отличать подлинное художественное творчество от отвлечённого эстетизма и бытового натурализма, владеющих способностью распознавать «удары», выбивающие читателя из реального мира в мир Правды жизни, и, наконец, обладающих отзывчивым сердцем, чтобы ощутить между строк ту любовь автора к своим героям, которая позволяет ему проникать в глубь их характеров, находить в них бесценное внутреннее содержание.

Вопрос о том, смогут ли эти критики сойтись и не станут ли противоречить друг другу в основных вопросах, практически достаточно сложен. Но принципиального барьера здесь нет. Как писал А. Григорьев в статье «Критический взгляд на основы, значение и приёмы искусства»: *«Как искусство, так и критика искусства подчиняются одному критерию. Одно есть отражение идеального, другое – разъяснение отражения. Законы, которыми отражение разъясняется, извлекаются не из отражения, а из существования самого идеального»*. Так что если эти критики будут хранить в душе один и тот же идеал, то и законы, по которым они станут судить то или иное художественное произведение, окажутся одинаковыми.

Итак, мы ждём от современной органической критики не мгновенного отклика на актуальные вопросы нашего времени, не определения границ литературных течений, не философских рассуждений на тему недавно вышедших произведений. А ответа на вопрос: что же современный литературный процесс может предложить на суд вечности, что же действительно ценного есть в современной литературе.

Потому что, рассуждая о сиюминутном, мы придём лишь к сиюминутным выводам, которые перестанут быть важными через месяц, год, десятилетие. Рассуждая же о вечном, мы придём к вечному.

Наталья МОЛОВЦЕВА

Наталья Николаевна Моловцева – прозаик, журналист. Родилась в с. Константиновка Ромодановского района Мордовской АССР. Окончила факультет журналистики МГУ. Работала в районных газетах Магаданской области и Якутской АССР, областной газете на Сахалине. Как прозаик публиковалась в «Литературной России», журналах «Молодая гвардия», «Подъём», «Кольцовский сквер», «Странник», «Ковчег», «Север», «Молоко», «Волга–XXI век», сборниках прозы «Женская логика» и «Чистенькая жизнь». Автор книг «Меня окликни» и «Тонкий серпик Луны». Живёт в г. Новохопёрск Воронежской области.

ВОТ ПРИДЁТ БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА

Она ехала к нему с другого конца жизни.

На том конце она была молодой, весёлой, не очень красивой, зато обаятельной, а обаяние, в отличие от красоты, вещь более долговечная. Впрочем, сейчас уже можно не говорить и об этом. Потому что когда тебе почти семьдесят...

На том конце жизни, когда она встретила ЕГО, она была одна. А теперь у неё дочь, внучка...

Внучка появилась на пороге её квартиры перед самым отъездом:

– Ты куда, бабуль?

Хорошо, что она сумела соврать:

– К подруге. Хочу навестить подругу юности...

А как можно сказать правду, если и сама толком не знаешь ответа? К тому же внучка ошарашила её сообщением, отмечающим её собственные (и не эгоистичные ли?) переживания:

– Бабуль, я выхожу замуж! Кандидатуры три. Ставь чайник – сейчас мы их все обсудим.

Машинально она налила в чайник воды, сунула штепсель в розетку. Лена уже сидела за столом и уминала блинчики с творогом.

– Послушай, – решила она не медлить более с вопросом, – три кандидатуры – это не слишком ли много?

– Но я же не собираюсь за всех сразу! Выбрать-то надо одного!

Она разлила чай по чашкам.

– Ну, давай рассказывай...

Кандидата номер один она отмела сразу: во-первых, старше неё, внучки, на десять лет, во-вторых, уже был женат, в-третьих, преподаёт в Ленкином институте – наблюдающие глаза покоя не дадут. Ленка кандидатуру отстаивала: да, разведён, но бездетен; квартира есть, и жене оставил, значит, ни у кого ничего она не отнимет. И в институте его ценят как коллеги, так и студенты...

– Может быть, студентки в основном?

– Бабушка, поверь, я объективна.

– Хорошо, поверю... Ну, а вторая кандидатура?

– Вторая... Вторая в некотором роде противоположность первой. Первокурсник-юнец, пишет стихи, поёт под гитару, мечтает о сцене...

– Он на первом курсе, ты на втором – ну, и как же, на что же вы будете жить?

– Признаться, эта мысль приходила в голову и мне. Так, может, третий?..

Она почувствовала, как в сердце возникла, с каждой минутой всё более разрастаясь, волна возмущения; в голове тотчас закружило, замутило. И почему всё самое трудное в воспитании этой юной особы достаётся ей? Мама живёт в том же городе, но она

предпочла обсуждать проблему не с ней, а с бабушкой. Почему? Рассчитывает на снисхождение? Или понимание?

Хорошо, она попытается понять. Она спросит себя (пока себя) так: ну чего, скажи, ты хочешь от юной вертихвостки, если сама три раза была замужем?! И что самое интересное – её первый муж, отец её дочери (царство ему небесное) тоже был на десять лет старше её! Второй – да, стихов не писал, под гитару не пел, но успехом у женщин тем не менее пользовался большим, точнее даже сказать – чрезмерным, отчего и расстались. Третий...

– Да кто третий-то?

– Третий, бабуль, немного странный. Женат не был, стихов не пишет, но...

– Ты меня пугаешь. Говори конкретно: в чём состоит его странность?

– Он какой-то... несовременный, что ли.

– Я просила конкретики.

– Ну, ему наплевать на карьеру. Ходит пешком и не думает покупать машину, хотя, мне кажется, вполне может себе позволить это. Он говорит... говорит, что смыслом его жизни вполне могла бы стать я...

Ленка сидела, задумавшись, сама удивляясь тому, что только что произнесла, и не сразу сообразила, что бабушка, на всё предыдущее прореагировавшая адекватно, молчит. Молчит и отстранённо смотрит куда-то.

– Бабуль, ты чего?..

От одиночества люди спасаются по-разному. Кто-то заводит собачек, кто-то – кошек. Она заводила мужей.

Первый её муж умер, второй от неё ушёл. От третьего ушла она сама, решив, что – хватит. Хватит делать вид, что всё в её жизни благополучно, всё как у людей. Первый, Максим, подарил ей дочь, и она за это по гроб будет ему благодарна. Если бы его не скосила болезнь, они, скорее всего, жили бы вместе и сейчас. Но судьба распорядилась по-своему. И она пошла замуж ещё и ещё. Только вот одинокой быть не переставала...

Может, она оттого и пустилась в эту ничем не мотивированную поездку и оказалась на второй полке (это в её-то годы!) поезда дальнего (ну очень дальнего!) следования? Можно было сказать: она ехала в юность.

...В тот далёкий город на Западной Украине она попала благодаря дяде Лёше, мамину брату, служившему в должности политрука в одной из воинских частей. Она окончила медучилище, а он приехал в отпуск. «Успеешь ещё, наживёшься в своём городишке. Пока молодая – посмотри мир. Нам как раз нужна медсестра...»

Так она оказалась во Львове. Точнее, в его ближайшем предместье, где воинская часть располагалась.

Поначалу у неё кружилась голова: обязанностей много, молодых людей, военных самых разных возрастов и званий, – рой, а начальник санчасти, хоть и женщина, строга и колюча, и опоздать на работу нельзя ни на минутку – дисциплина-то военная...

Санитарочка Варя, с которой её поселили, на первых порах тоже паниковала. Варя была родом из Вологды, по ночам плакала в подушку. «Завербовалась, дура. Как и ты, мир захотела поглядеть. А тут – одна тоска».

Но со временем они привыкли и к новой жизни, к вечному круговороту дел, и однажды...

Она оформляла очередного заболевшего солдатика, когда почувствовала на себе взгляд. У двери стоял, прислонившись к косяку, высокий светловолосый лейтенантик и смотрел на неё так, словно она была пришельцем из другого мира. Потом он ей так и скажет: «Знаешь, вот словно каким-то особым лучом света высветили тебя в ту минуту: смотрю и вижу всё-всё. Всё, что снаружи и что внутри». «Ну, что касается снаружи – так ничего особенного тут и нет. А что касается внутри... б-рр-рр...» – «Ну, я же не о физиологии, не о брэнном теле...»

Сказать честно – она пережила тогда нечто подобное. Был целый мир – и был он. И – странное дело – они уравнивали друг друга...

Варя тоже перестала тосковать, заведя роман с начальником кухни. Перед сном они откровенничали:

– Ой, располнею я теперь... И не только от жрачки...

– Ты... о чём?

– О том самом. А-а, ничего, с нашей строгой докторшей всегда можно договориться...

Ну, а ты что?

А она не знала, что сказать. Ведь не поверит же, что смотрят на звёзды и читают друг другу стихи...

Она закрыла глаза и не заметила, как под монотонный стук колёс заснула. А проснувшись, поняла, что едет уже не одна: внизу сидели две женщины. Точнее, это были женщина и девочка, и взрослая голосом строгой учительницы внушала девчонке:

– ...Но это всё история. Самое же главное – русские всегда были грязными и ленивыми, так что уважать их совсем не за что.

До сих пор, если при ней возникали постперестроечные разговоры на национальную тему, она стояла на том, что тема эта надуманна: разошлись правители, пожелавшие стать царьками в своих государствах, а простые люди как были настроены дружелюбно друг к другу, так и осталось до сих пор. Она хотела вступить в разговор и высказать свои мысли вслух, но тут её пронзило: так ведь сейчас внизу – те самые простые люди!

Всё, всё изменилось в этом мире! Давно нет государства, в котором она жила. И бывшие дружественные республики как-то смешно и нелепо стали называться «ближним зарубежьем». Ну, можно ли было когда-то предположить, что, пересекая условную черту – границу между Россией и Украиной, ей придётся предъявлять паспорт и прочие документы, дважды проходить через таможенный контроль? И разве не предупреждала её соседка, которой она оставила ключ и попросила присматривать за квартирой: соображай, куда едешь, поменьше болтай по-русски. Вот, пожалуй, надо последовать именно этому совету: отвернуться к стене и молчать. В конце концов для неё сейчас главное – добраться до...

«Дорогая моя! Знаешь, с чего начинается моё утро? Я беру в руки твою фотографию и несколько минут смотрю на твоё лицо – так я заряжаюсь энергией на целый день. Ну а потом уже иду на службу...»

Через год после её приезда его перевели в другую часть. Да ещё куда – на Камчатку! И полетели письма: от него к ней, от неё к нему. От него были чаще, и иногда он сердился: «Какая ты жестокая, тебе, видимо, нравится меня мучить. А вот я без твоих писем совсем не могу. Я понимаю, конечно, что главный мой долг – защищать Родину, но ведь это так ясно, что не требует доказательств. Не требует доказательств и моё отношение к тебе. Ну, разве что поэтических:

*В своей скитальческой судьбе
Я много думал о тебе.
Словами строгими,
Как в гимне,
Не помышляя о тепле,
Я думал:
Все пути легки мне,
Пока ты ходишь по земле...*

Поэтические доказательства она принимала, но – тут он не ошибался – ей хотелось доказательств ещё и других! Почему он до сих пор не сделал ей предложения? Она так

ждала этого перед его отъездом на Камчатку! Несколько раз ей казалось, что он вот-вот готов произнести ожидаемые ею слова, но... что-то его останавливало... Что?

Его письма в своей уже замужней жизни она хранила сначала в коробке, а потом, когда мужа несколько раз невольно наталкивались на них («Что это там у тебя?»), в простом целлофановом пакете, в комодке под бельём. Когда ей нездоровилось или просто становилось грустно, она брала какое-нибудь из них, используя его как таблетку. Помогало – боль проходила. И так было всю жизнь.

Целую жизнь она перечитывала письма снова и снова. Она знала их наизусть, и, кажется, никаких открытий для неё тут быть уже не могло. И вдруг однажды...

Однажды её обожгли слова: «Почему ты отказала мне в праве на сомнение, на ошибку?»

Целую жизнь она считала: в том давнем конфликте, который возник между ними и который в конце концов их разлучил, виноват он. И вот...

...Он давно звал её домой – познакомить с родителями. Она отнекивалась по той простой причине, что было страшно. Но в следующее лето он приехал на родину в отпуск и сразу же появился у нее: «И вот теперь мы поедим ко мне домой вместе! Возражений не принимаю! Учти: нас уже ждут! И я наконец-то прошу твоей руки – в обмен на своё сердце».

Так началась сказка...

Они вышли из автобуса на самой окраине города, где были уже не высотные и многоквартирные, а самые обыкновенные дома. Впрочем, не такие уж и обыкновенные – поняла она вскоре. Те дома были гораздо внушительнее и респектабельнее окраинных домишек её родного городка. Сейчас, конечно, и в её городе новые русские тоже понастроили всякого, а тогда... тогда она действительно испугалась: «Это же не дом – это почти дворец!»

Он открыл калитку и решительно взял её за руку: «Пошли». И она пошла... Сначала это была посыпанная песком дорожка сада, потом выложенные плиткой ступеньки крыльца, потом застеленный ковром пол коридора.

Стол был накрыт как для приёма высоких гостей. Его мама сияла улыбкой и новым нарядом; отец непонятно почему хмурился, но думать об этом было некогда, да не особо и хотелось. Потому что всё остальное было прекрасно! Их угощали, окружали вниманием, спрашивали о том и о сём. Заминка возникла только один раз, после того, как она высказала своё восхищение вслух:

– Как же у вас замечательно! Я чувствую себя Золушкой на балу...

И тут его отец (нет, имени она уже не вспомнит) медленно, со значением произнёс:

– До тридцать девятого года было ещё замечательней.

Мама (и её имени она, увы, не вспомнит тоже) тотчас замахала руками: «Перестань, посмотри, какие счастливые наши дети!..»

Они действительно были счастливые! С этим удивительным чувством она пробыла целый вечер, потом заснула (ей постелили в отдельной комнате), а проснувшись, испугалась: ой, проспала!

Он стоял в проёме дверей и смотрел на неё.

– Как ты красива. Нет – ты прекрасна!

– Вот ещё глупости...

Она чувствовала, что он хочет к ней подойти. Признаться честно, ей хотелось того же, но... как можно?! Нет-нет, надо скорее встать, умыться, и – вон из дома...

Словом, вскоре они уже гуляли по городу. День был солнечный, светлый. Он водил её по улицам, просил посмотреть направо и налево, показывая достопримечательности. Ели мороженое, болтали... Уже сгущались сумерки, когда он сказал:

– Я же тебе ещё не показал свой любимый парк!

Парк ей тоже понравился: он раскинулся вдоль реки, и с высокого берега город был виден как на ладони. Уставшие, они плюхнулись на скамейку, любясь открывшейся

панорамой. Он вдруг не сильно, но настойчиво потянул её к себе. Она с благодарностью уронила голову ему на плечо, в полном блаженстве зажмурилась и... вдруг вспомнила слова его отца.

– Ты знаешь, мне кажется... кажется, что я твоим родителям не слишком-то понравилась.

– Глупости! – решительно заявил он. – Мама от тебя в восторге.

– А отец?

– Ну, отец...

Он замолчал, и она поняла, что попала в самую точку.

– Говори! – потребовала она.

Он попытался уйти от ответа, но она проявила настойчивость и в конце концов услышала: перед самой войной, после присоединения Западной Украины к России (в том самом тридцать девятом), его родителей сослали в Сибирь. Там он и родился. На родину семья вернулась уже после войны, в начале пятидесятых.

– Теперь ты понимаешь? Отец ничего не имеет лично против тебя. Но ты – русская. Понимаешь?

Ничего-то она тогда не понимала! Тогда её захлестнула обида: я-то тут при чём?! Всё было давно, сколько воды утекло с тех пор. Вон какие перемены произошли в стране: все уже давно живут дружно, мирно и совсем по другим законам...

Наверное, он всё же решил, что они всё наконец выяснили, потому что опять потянул её к себе, но на этот раз она протестующе выставила вперёд ладошки. И тогда он резко спросил:

– Чего ты всё боишься?

Ему бы на этом и остановиться, а он...

– Твоя Варя вот не боится ничего!

– То Варя, а то я, – добавив к недавней обиде ещё одну, растерянно пробормотала она.

– Про тебя тоже всякое говорят!

– И ты... веришь? – медленно, сознавая, что сейчас может произойти непоправимое, прошептала она.

Он уже понял, что сказал лишнее. И поспешил ситуацию исправить:

– Прости! Ну, пожалуйста, прости... Тебе же прекрасно известно, как я к тебе отношусь!

Но она уже не могла остановиться:

– Вот только не надо больше про любовь! Всё, хватит! Я уезжаю! И меня совсем не надо провожать!

– И когда же мы теперь увидимся снова? – с отчаянием, почти зло спросил он.

– Когда? – Она не знала, что ответить и потому сказала нелепицу: – А вон – когда придёт Большая Медведица!

– Какая медведица? – Досада в его голосе уступила место удивлению.

– Да вон – прямо над твоей головой висит!

Интересно, а как бы поступила в такой же ситуации внучка? Хотя... разве не ясно, как они сейчас поступают, наученные телевизором и современной «раскованной» литературой? Идеиные разногласия их интересуют меньше всего. Впрочем, Ленка, кажется, не совсем такая.

Но как похожи! Как похожи слова, которые были сказаны её внучке и которые услышала в тот далёкий вечер она: «Запомни: ты в моей жизни всегда будешь одна».

Похоже, что так и было...

Первое письмо после ссоры она написала ему через пять лет. Он ответил: «Я ещё не взял в руки конверт, но уже знал, что письмо от тебя. Так и оказалось. Ты спрашиваешь, как я живу. Живу. Выполняю должностные обязанности. Пробовал жениться, но прожил с женой только год. Больше не смог. С тех пор один».

«Он один. И я одна – хоть и вся в мужьях, – только и подумала она тогда и привычно на него разозлилась: – Так ведь сам виноват! Сам всё испортил!»

Пройдут годы, прежде чем она, вспоминая их последний вечер, поймёт: а ведь он тогда поделился с ней своей бедой. А она, вместо того чтобы разделить её на двоих, выставила вперёд ладошки...

Пройдут годы, прежде чем она, ещё и ещё раз вспоминая поездку к его родителям, придёт к выводу: а ведь он и с предложением медлил именно потому, что этого не хотел отец. Он любил её, но уважал и волю отца.

И вот когда она всё наконец сложила, а потом разложила по полочкам и всё окончательно поняла – тогда она сказала себе: поздно, все поезда ушли и ничего уже не исправить.

И в сорок, и в пятьдесят, и в шестьдесят она считала, что – непоправимо поздно.

А в семьдесят вдруг решила вскочить в проходящий поезд и всё-таки ехать к нему. Ну, не дура ли?..

Конечно, дура. Хорошо хоть ничего не сказала внучке. Не признаваться же ей, старой дуре, в том, что нестерпимо вдруг захотелось его увидеть – человека, с которым простилась ещё в юности. Увидеть – и не простить, нет, а – попросить прощения самой. И ещё – прикоснуться к его руке. К его щеке...

Конечно же, поначалу она сделала запрос в адресный стол. И не однажды. Но ответа ни на один из её запросов так и не пришло. Та же соседка ей толковала: «Ты хочешь, чтобы эти бандеровцы тебе ответили? Не будь наивной». И тогда она решила ехать наудачу...

Дом стоял на своём прежнем месте. Сейчас она откроет калитку, пройдёт по посыпанной песком дорожке. Нажмёт кнопку звонка...

Сердце встрепенулось и замерло...

За дверью слышались лёгкие шаги. Неужели его мама? Нет, мамы уже не может быть в живых...

Значит... он?

Сердце опять встрепенулось, но замирать не стало – напротив, бешено застучало в груди.

На пороге появилась незнакомая моложавая женщина.

– Вам кого?

– Скажите, здесь живёт...

Она назвала имя.

– Даже и не слышали о таком.

За плечом женщины вдруг появился пожилой, неряшливого вида мужчина в мятой одежде. «Лежачий больной?» – мелькнуло у неё в голове.

– Чего вы хотите? Что вам надо? – в голосе мужчины не было и тени дружелюбия.

– Мне от вас совсем ничего не нужно, – вспомнив наставления соседки, сделала попытку объяснить причину своего появления она. – Я только хотела узнать...

– Будьте добры, убирайтесь отсюда подобру-поздорову.

– Папа, так нельзя, – сделала попытку сгладить ситуацию молодая женщина. – Давай пригласим гостью в дом.

– Гостью? Я к себе никого не приглашал! И чего они, русские, лезут к нам без спроса?..

Дальше она слушать не стала – повернулась и пошла к калитке.

И вдруг вспомнила про Медведицу! И решила: надо дожидаться вечера. Смешно, глупо, но надо идти в тот самый парк и дожидаться вечера...

Это было невероятно, но скамья стояла на месте!

Это была уже другая скамья, но стояла она на том же самом месте! Она протёрла глаза, ущипнула себя за руку – руке стало больно, скамья не исчезла. Правда, она была занята –

на ней сидела немолодая, наверное, ровесница ей самой, женщина. От всего пережитого за день она так устала, что ей тоже захотелось сесть, но... вдруг её встретят так же «дружелюбно», как совсем недавно? Однако ноги дрожали, и она не совсем твёрдой походкой всё-таки дошла до скамьи, в изнеможении опустилась на крашенные дощечки.

Довольно долго они молчали, и она мысленно благодарила за это незнакомку: та дала ей время перевести дух. И вспоминать, вспоминать...

– Вы из России?

От неожиданности она вздрогнула и повернулась к соседке по скамье, обречённо подумав: «Ну вот, сейчас всё и начнётся...» Но женщина миролюбиво продолжила:

– Знаете, а я целую жизнь здесь прожила.

В голосе говорившей по-прежнему не было неприязни, и тогда она решилась спросить:

– Как вы думаете, мы будем когда-нибудь снова дружны?

– Если у наших правителей хватит на это ума... – раздумчиво сказала соседка.

– Вы думаете, дело только в них? – снова отважилась она на вопрос.

– Нет, конечно. Иначе бы не случилось оранжевой революции.

Они опять долго молчали. И опять молчание нарушила соседка:

– Обычно я ухожу из парка засветло. Жизнь стала такой беспокойной. А сегодня почему-то засиделась. Знаете... Если вам негде заночевать, пойдёте ко мне.

Она собралась ответить, но тут в её сумочке раздалась трель звонка. Она достала мобильный телефон.

– Алло, бабушка, ты где? – кричала Ленка. – Ты приехала, куда хотела?

– Да, Леноч...

Что-то в её голосе внучку насторожило.

– У тебя всё в порядке? – встревоженно спросила она.

– У меня всё в порядке, не беспокойся. Скажи, а ты... ты сделала свой выбор?

Некоторое время трубка молчала. Потом Ленкиным голосом раздумчиво произнесла:

– Ты знаешь, я решила, что быть чьим-то смыслом жизни – это не так уж плохо.

– Ты молодец! Я тебя целую! Пока!

Она положила телефон на место и повернула к соседке радостное лицо:

– Вы знаете, всё-таки я приехала сюда совсем не напрасно! Ой, смотрите... Смотрите на небо!

С левой стороны небосклона, над большим калиновым кустом, росшим у самого обрыва, всеми своими звёздами сияла Большая Медведица...

Людмила МИЛОСЛАВСКАЯ

Людмила Милославская живёт и работает в Пензе. Пишет стихи и прозу. В литературно-художественном журнале публикуется впервые.

ИСТОРИЯ С ТЕАТРАЛЬНЫМ

Памяти моей мамы посвящается

Эта история произошла в далёкие восьмидесятые, когда по стране прокатился модный «театральный бум». Тогда все выпускники, едва закончив школу, бросались сломя голову поступать в театральный. И казалось им всем, что это и есть их судьба. А уж имеется артистический талант или нет, неважно, главным было жгучее желание почувствовать себя артистом.

Много юных душ смололи эти безжалостные жернова, отсеяв потом как мякину за ненужностью. Но молодёжь не умнела. И с каждым годом столицу захлёстывала новая мощная волна абитуриентов. Приёмные комиссии работали буквально в две смены, как на заводе, с утра до позднего вечера прослушивая сотни абитуриентов. Конкурс доходил до 250 человек на место, но это только раззадоривало, давая дополнительный тонус для борьбы. Ни в одном ВУЗе Москвы не кипели так сильно страсти, как в театральном.

Был ли толк в этой борьбе? Наверное, нет. Ведь истинных талантов во все времена было мало. Да и найти песчинку золота в пригоршне простого песка порой бывает очень нелегко. Но ради этой одной песчинки и работали комиссии, усердно отсеивая всё остальное. И юные девушки, услышав дежурное «Спасибо, вы свободны!», захлёбывались слезами, считая, что их жизнь кончена. Наиболее впечатлительные получали душевные травмы, залечивать которые приходилось годами. Как правило, это были те немногие, которые искренне верили, что театр – это их жизнь и призвание. Вот именно этих последних – наивных и непосредственных – было по-настоящему жаль. Поступали они в театральное не по прихоти, не за славой, а по зову сердца. Но беда была в том, что у них отсутствовали актёрские способности. Обычно если ребёнка с детства тянет рисовать, то у него развивается талант художника; если петь – талант певца. Но иногда природа даёт чудовищный сбой. Юное существо тянется к театру, в его душе рождаются горячая любовь к искусству и стремление к самовыражению, а таланта, увы, нет! И в этом заключена трагедия личности. Ведь театр – это как наркотик. Излечиться от этой зависимости очень сложно.

I

Она не помнила, как очутилась возле Пассажа. Очнулась только тогда, когда услышала: «Девушка, вам плохо?» Подняла невидящие глаза. Перед ней стояла пожилая, участливо смотрящая на неё женщина. «Да, да, мне плохо!» – хотелось выкрикнуть из самого сердца, но вместо этого пришлось только отрицательно мотнуть головой и кинуться в толпу, плывущую к подземному переходу.

...В то утро Вика встала раньше обычного. Наскоро позавтракав, она тут же бросилась приводить себя в порядок. Строптивый шёлк розового платья, того самого, в котором Вика была на выпускном, долго не хотел разглаживаться. Особенно пришлось потрудиться над оборками, прежде чем они легли красивой волной на плечах и подоле. Облачённая в эту

розовую шуршащую пену, девушка казалась очень юной. И когда она, стоя у зеркала, одной рукой приподняла свои длинные волосы, тётя Настя, колдовавшая у плиты, невольно залюбовалась Викой. «Присядь на дорогу, Виктория. Успеешь ещё...» Девушка послушно опустилась на краешек стула. Она казалась спокойной, только под правым глазом предательски дрожала голубая жилка. «Ну, с Богом! Смотри не заблудись. Выйдешь на Площади Революции. Там сделаешь переход до Арбатской. А уж от площади прямо до Собиновского переулка. Там спросишь». Прислушиваясь к топоту Викиных туфелек по ступенькам, женщина подумала с горечью: «Глупенькая! И эта туда же. И никак не поймёт, что слишком скромная она для артистки. Добро бы родители в Москве жили... А так что?»

II

Вика летела как на крыльях, стараясь лавировать в толпе прохожих. Всё в столице было непривычным и чужим. И эти большие серые дома, и эти шумные улицы, и неиссякаемый поток автомобилей. Особенно же чужими казались эти люди, вечно спешащие куда-то, с какими-то одинаковыми равнодушными лицами...

Вика вдруг остро ощутила свою ненужность среди этой нарядной бесстрастной толпы. Она замедлила шаг и поёжилась как от холода. Нестерпимо захотелось домой, к маме, в тихий провинциальный городок, где всё знакомо и привычно. Она испугалась этой мысли, и кровь с силой толкнулась в висок. Вика ускорила шаг.

Подойдя к институту, девушка опять оробела. Точно такая же толпа, ничуть не меньше, расположилась на скамейках в саду, у входа и даже просто на земле. Кто вполголоса декламировал стихи, кто старательно пытался воспроизвести этюд, а какой-то парень лихо отбивал чечётку. Молодёжи было столько, что получилось бы два приличных стройотряда. «Неужели все на сегодня?» – со страхом подумала Вика. Провожаемая любопытными взглядами, она доплелась до двери и дёрнула ручку на себя. Полутёмный коридор был пуст, как будто всё вымерло. Двери учебных аудиторий закрыты. Она уже хотела повернуть назад, как вдруг из глубины показался какой-то парень в фирменном костюме. Сообразив, что это студент, девушка робко окликнула его: «Извините, вы не подскажете, где можно записаться на прослушивание?» Парень остановился. Удостоив девушку небрежным взглядом, махнул рукой: «Прямо и направо».

III

Протиснувшись сквозь плотное кольцо абитуриентов, окружавших стол, Вика лихорадочно вытащила из сумочки паспорт и протянула вахтёрше. Та недобро покосилась на штемпель прописки. «Издадека... М-да, тоже к нам, в актёры! Сколькo вас сегодня... Если нет таланта, так тут у нас и делать нечего...» У Вики задрожали губы, такого поворота она совсем не ожидала. «Зачем вы так? – вмешалась одна из абитуриенток, высокая светловолосая девушка. – Мы все специально и пришли сюда, чтобы проверить свои данные. И комиссии решать, кто талантлив, а кто нет. Но уж никак не вам!» Вахтёрша фыркнула: «Будешь восемьдесят третьей по списку».

Выйдя на воздух из душного помещения, Вика ощутила нехороший осадок в душе от такого начала. «83-я по списку... Это придётся ждать, наверное, весь день». Она опустилась на освободившуюся скамейку. Мимо белой лебедью проплыла миловидная девушка. Наверное, эта прошла прослушивание, вот счастливица-то! «Жанна, тебя можно поздравить?» – послышался мужской голос. По дорожке неторопливо прошествовал знакомый уже студент, слегка поддерживая за талию свою спутницу. Та шла, лениво покуривая сигарету, затянута вся, как в панцирь, в узкую «фирму». «Да, роль небольшая, но перспективы...» Вика проводила парочку долгим взглядом. Так вот они какие, студенты ГИТИСа! Раскованные, модные. Пройдут мимо и взора не кинут. Она вдруг ощутила себя на их фоне просто жалким существом. Печально вздохнув, подумала: «И почему все

жители столицы такие высокомерные? Все «выхоленные, изнеженные», как говорит тётя Настя, особенно молодёжь...»

«...Господи, как долго ждать». Прошло около получаса, и внезапно подступившее чувство голода властно напомнило о том, что уже полдень. Вяло поднявшись, Вика поплелась к выходу из скверика. Нужно немедленно перекусить, иначе недолго и обессилеть.

IV

В маленьком продуктовом магазинчике, куда забрела Вика, она случайно заметила высокую светловолосую абитуриентку. Девушка поспешно допивала кефир из бумажного пакетика, закусывая чёрствой булкой. Они познакомились. Абитуриентку звали Ириной, она была родом из Киева, года на три старше Вики и уже имела небольшой опыт «киношной» работы как ассистент режиссёра.

– Ни на кого не обращай внимания, – инструктировала она Вику, жевавшую сырок. – Эти все вахтёры и прочие – ничего не знают. Зато гонору и важности – как у сытых мопсов. Ещё бы, в таком заведении работают, рядом с известными актёрами! Отсюда и спесь. На студентов тоже не смотри. Они ещё пребывают в эйфории от своего поступления. Для тебя главное – комиссия! Сумей обратить на себя внимание, ведь перед ними ежедневно проходят толпы таких, как мы. Нужно показать себя, выделиться из толпы. Соберись, не будь рассеянной. Читай свою программу так, словно ты одна в зале. Ты и комиссия. Комиссия и ты. Остальные – пустое место...

Разговаривая, девушки свернули в маленький скверик за магазинчиком. Сели на скамейку.

– Давай повторим программу. Только вполголоса, чтобы не мешать друг другу.

И Ирина старательно уткнулась в томик Чехова. Вика попыталась сосредоточиться, но мысли рассеянно где-то летали. Выделиться из толпы – как это? Поступают в основном москвичи – бойкие, уверенные в себе. Эти могут себя преподавать даже при отсутствии таланта. Всё ясно как божий день. Ох, неужели тётя Настя права и ей действительно нечего здесь делать? С усилием отогнав «крамольную» мысль, Вика принялась повторять басню.

– Простите, я не помешаю? – раздалось над самым ухом.

Пожилой мужчина грузно опустился на скамейку рядом с Викторией. Маленькие глазки из-под толстых стекол очков пытливо рассматривали девушек.

– Вы, наверное, в театральный поступаете? – Мужчина тряхнул седой гривой. – Это сразу бросается в глаза. Абитуриентов видно за версту. Да и потом, куда ещё могут поступать симпатичные девушки? Конечно, в ГИТИС! Сейчас все сломя голову несутся в театральный. Да не все становятся артистами, даже из поступивших, уж поверьте моему многолетнему опыту. Я преподаю во МХАТе. Передо мной за день проходят две сотни молодых людей, но лишь один – я подчёркиваю: один – допускается до экзаменов, выдерживая все туры. Потому что главное в будущем актёре – ин-ди-ви-ду-аль-ность! Нужно оставаться прежде всего самим собой.

Ирина и Вика слушали незнакомца как заворожённые. (200 человек на место – это ж надо!) Им не верилось, что настоящий преподаватель театрального института разговаривает с ними.

– Что это у вас, Чехов? Очень хорошо, гм... Экзаменаторы любят Чехова. Давайте-ка я отмечу вам те отрывки, которые наиболее выгодны для прослушивания. Вот, посмотрите их. – Он передал книгу Ирине. – Но это ещё далеко не вся премудрость. Есть ещё особые секреты; я вам их открою, если хотите, но только вы, пожалуйста, меня не выдавайте. – Он предложил руку Вике. – Пока ваша подруга просматривает отрывки, мы с вами отойдём немного и поговорим о поступлении.

Несмотря на то, что отошли они недалеко и Ирина была в поле зрения, Вика чувствовала себя очень неуютно рядом с этим человеком. К тому же мужчина смотрел на неё оценивающе и всё не начинал разговор. Девушка уже покаялась, что отошла от Ирины, и соображала, какой найти предлог, чтобы убежать, когда незнакомец вдруг спросил:

– Сколько вам лет?

– Восемнадцать, – ответила Вика и внутренне содрогнулась от его острого, неприятного взгляда.

– Да, прекрасный возраст! Прекрасная внешность, и коса какая у вас чудная! У вас, девушка, есть все данные для нашей профессии. Хорошая фактура в актёрской профессии значит многое. Но что совершенно в вас неприемлемо – ваша скромность, застенчивость и, я бы сказал, неискущённость. Эти качества – не для будущей актрисы. Они будут мешать. Ведь что такое театр, искусство? Это богема, свободная жизнь, не скованная предрассудками.

Дойдя до этого определения, мужчина закатил глазки и стал произносить слова как заигранная пластинка. Похоже, подобные эмоции ему приходилось испытывать довольно часто, да и «монолог» был тщательно отрепетирован. Видимо, незнакомец прибегал к нему не в первый раз, мороча голову очередной провинциалке.

– ...Это жестокий мир, где нужно драться и вырывать у жизни своё. Вас растопчут с вашей наивной простотой. Вы не состоите как актриса, вам и талант не поможет. И это будет страшный удар для вас. Мне жаль вас, и поэтому я хочу вам помочь. Доверьтесь мне, я помогу вам пройти это. Я обеспечу вам лёгкое поступление в ГИТИС. Я заранее подготовлю вас к тому, что вас ожидает, чтобы вы вошли в мир театральной богемы уверенной и сильной. Я предлагаю вам своё покровительство, – вкрадчивый голос перешёл на шёпот.

На Вику нахлынуло чувство дурноты, отвращения, ноги стали как ватные, горло перехватил спазм. Девушка сознавала, что слушает недозволенное, что «преподаватель» говорит что-то не то, но ещё не понимала, чего от неё хотят. Облизнув пересохшие губы, она выдавила из себя:

– Я не понимаю...

Мужчина недобро усмехнулся:

– Чего ж тут непонятного? Вы не догадываетесь, о чём идёт речь? Я же объяснил вам, что такое закулисная жизнь. Там с вами никто нянчиться не будет, там взрослые люди. Если вам такой подход не нравится, зачем поступаете сюда? Или ваша хорошенькая головка забита бреднями о «святом искусстве»? Так его никогда и не было, этого «святого». Да не смотрите на меня с таким ужасом! Нельзя быть такой недотрогой. Сразу видно, что вы не москвичка. Одни провинциалки корчат из себя оскорблённую добродетель. А нужно идти в ногу со временем... Смотрите на жизнь проще, откажитесь от предрассудков. За всё на свете надо платить, и за театр тоже...

Вике казалось, что она близка к обморочному состоянию. Мужчина это заметил.

– Подумайте над моим предложением, – торопливо проговорил он, – я принимаю прослушивание в ГИТИСе. Буду в составе комиссии. Если вы согласны, я переговорю кое с кем, и всё решится в вашу пользу. Но только дайте знать мне об этом заранее, до экзамена.

Девушка отрицательно мотнула головой, голос не повиновался. Трусливо оглянувшись по сторонам, «преподаватель» быстро ретировался.

Вика молча стояла под деревом, глядя ему вслед. Однако подскочившая Ирина быстро вывела её из оцепенения:

– А ну, встряхнись, не вздумай раскисать, подруга, а то потеряешь форму. Я слышала конец вашего разговора. Ну, не надо, не надо, не плачь! Плюнь ты на него, не верь его циничным рассказам. Знаешь, такие грязные типы есть в любой сфере. И если все их «предложения» принимать близко к сердцу, здоровья не хватит. Турнула его и забудь... А я-то ведь тоже хороша, попалась на удочку. Сижу как дура, читаю Чехова. Тьфу!

И, высказав в адрес «преподавателя» ещё несколько нелестных эпитетов, Ирина повела подругу в ГИТИС.

VI

Уже сам факт, что на прослушивание пропускали десятками, а не поодиночке, был неприятен. Но, пожалуй, не то было страшно, что нужно показывать свою программу перед девятью любопытными «товарищами по несчастью» (это ещё можно вынести), а то, что комиссия была совершенно равнодушно настроена по отношению к каждому соискателю. Вике это сразу бросилось в глаза. «Верно, устали и уже оставшихся пропускают чисто по шаблону», – подумала девушка. И действительно, троица преподавателей, сидящая за зелёным суконным полем стола, выглядела утомлённой. Особенно благообразная старушка в интеллигентных очках, сидящая с краю. Да и подобравшаяся десятка абитуриентов, не очень талантливая, видимо, способствовала этому. Программу свою отчитывали либо вяло, либо слишком уж вычурно, совершенно без души. (Ирина в эту десятку не вошла, и к лучшему, не то бы пришлось с ней соперничать. А так можно использовать Ирнины советы, которые здесь, кажется, придутся очень кстати!) «Вон как старушка дремлет под монотонный монолог Чацкого. Ну, а парень зачем только взял этот «избитый» отрывок из Грибоедова? Он бы ещё «Онегина» подготовил, а потом удивлялся недоуменно: и почему это его не пропустили на второй тур? Надо же подбирать программу с учётом своих возможностей...» Вика поймала себя на мысли, что анализирует выступление каждого абитуриента. Нет, нужно отвлечься, настроиться на своё. В зале никого нет, только она и комиссия, комиссия и она. Всё будет хорошо, она выиграет, обязательно выиграет, только нужно поверить в себя, поверить в свою победу. И как сквозь сон раздался голос ассистента, зовущего её на испытание.

То, что она произвела впечатление на преподавателей, Вика поняла сразу. Благообразная старушка встрепенулась и перестала дремать. Сказала что-то шёпотом коллеге и, кивнув в сторону Вики, улыбнулась. Да и другие, похоже, были настроены благосклонно: слушали внимательно, не перебивали, ни разу не останавливали. Вика приободрилась. Теперь уже ничто не смогло её смутить, никакая преграда. Девушка читала самозабвенно, голос её то поднимался ввысь, звенел, то переходил почти на шёпот. Она и была уже одно целое со своими героинями, словно растворялась в них. И не было в тот момент в зале совершенно никого: ни зелёного стола с приёмной комиссией, ни притихшей стайки абитуриентов; не было и самого зала, а только бессмертные творения великих мастеров слова, вечная и живая игра, к чему теперь приобщилась Вика. И когда она произнесла слова горьковского Данко: «Что сделаю я для людей?» – сильнее грома крикнул Данко, и заблестали молнии... и лил дождь, и гром гремел...» – в распахнутом окне аудитории эхом прокатились дальние раскаты грозы, на улице полил сильный дождь. В зале кто-то испуганно охнул. Так, в подтверждение слов Вики и героя Данко, отдавшего своё сердце людям, началась настоящая гроза.

Это был подарок судьбы. Вика прошла первый тур.

VII

Всю ночь ей снился один и тот же сон. Глубокий снег, а на нём – огромное зеркало. И Вика идёт по этому снегу, идёт, увязая в сугробах; потом подходит к зеркалу и начинает расчёсывать свои длинные волосы. И ещё – лестница со ступенями, ведущими вниз. И она спускалась по этой лестнице...

Утром сон помнился смутно, но настроение было ужасное. Вика знала: снег видится к расставанию, зеркало – к перемене в жизни, волосы – к дороге. Не будучи суеверной, снам Вика всё-таки верила. Да и как не верить, когда они практически всегда сбывались. И потому Ирина, зашедшая за Викой, застала её сникшей и подавленной. Ирина

решительно ничего не понимала. Вика не стала ничего объяснять подруге, боясь, что та посмеётся над её предчувствиями. Да и зачем портить человеку настроение, когда Ирина тоже выдержала прослушивание и теперь, щебетавшая без умолку, вся сияла от радости. Предупредив тётю Настю, что вернутся поздно, девушки поспешили в институт.

...Среди абитуриентов ГИТИСа чувствовался накал страстей. Слабые с первого тура отсеялись, в борьбу теперь вступали сильные. А вот нервы, похоже, у многих начинали сдавать ещё до испытания вторым туром. Толпясь в коридоре, абитуриенты, кажется, совсем позабыли, где находятся. Какая-то рыжеволосая девчонка, жестикулируя и всем мешая, взвинченно читала: «Я вас любил...» Вихрастый парень яростно носился по коридору, стараясь ухватить за полу пиджака то одного, то другого студента: «Ну что, там здорово гоняют, на втором туре? А этюды на второй не требуют, нет?» Студенты пытались вежливо освободиться, отвечая односложно и кратко, но парень снова и снова повторял свой манёвр. Кто-то забился в угол и оттуда истерически бубнил, надрывая сердце, элегии Баратынского.

Застрав в этой коридорной толпе, Вика с Ириной почувствовали, что ток общей нервозности подбирается и к ним. Но внезапно отворилась дверь аудитории и, как гигантский морской вал, втянула в первую десятку «несчастливых», отбросив остальных на улицу.

VIII

Войдя в аудиторию, Вика решительно оставила все свои страхи за порогом. Молча опустилась на стул, молча сосредоточилась. Пока другие показывали свою программу, Вика успела внутренне собраться. (А хорошо всё-таки, что она – не первая по списку! Первым всегда тяжелее.) Когда подошла её очередь, девушка спокойно вышла на середину зала, гордо выпрямилась. Было что-то нежно-трогательное в её полудетском лице и хрупкой фигурке. Вика начала читать монолог Катерины: «Почему люди не летают? Почему люди не летают так, как птицы? Когда стоишь на горе, тебя так и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и...»

Девушка запнулась. Широко раскрытыми глазами она смотрела на дверь, которая бесшумно отворилась, впуслав кого-то в учебный зал. Этот кто-то грузно прошёл к столу преподавателей и сел рядом со знакомой уже старушкой. Тряхнув седой гривой и поправив очки, мужчина уставился на Вику парализующим взглядом. Маленькие глазки пробуравливали насквозь, их взгляд буквально давил. Вика поняла, что не сможет продолжать. Из неё ушла та уверенность, которую она с таким трудом собрала в это утро. В памяти быстро промелькнуло всё, что предшествовало экзаменам: странный разговор, сон, весёлость Ирины... В нависшей паузе было слышно, как вдалеке за окном прошумела машина. «Ну, что же вы? Продолжайте, – обратилась к Вике старушка, – если забыли текст, то начните басню».

«Преподаватель» наклонился к уху благообразной старушки и быстро прошептал ей что-то, указывая взглядом на Вику. Старушка почему-то испугалась и растерянно заморгала, оглядываясь на своих коллег, словно ища поддержки. Но «преподаватель» уже строчил что-то на листке бумаги, пуская его по зелёному полю сукна. Вика видела, что внимание комиссии было приковано к белому листку, лежащему перед ними...

«Достаточно, спасибо, вы свободны», – чеканно-металлическим голосом произнёс «преподаватель», жестом руки отпуская Вику. Троица экзаменаторов сидела молча. Всё было как в фильме с печальным концом, в котором разведчика ждал провал, так как враг оказался хитрее. Вике стало противно и мерзко от всего этого фарса. И хотя из души рвался вопль: «Это же подло!» – она задавила в себе боль и, махнув рукой, вышла из аудитории.

Психологическое напряжение было так велико, что Вика даже не помнила, как очутилась у Пассажа. Ноги машинально вели её по подземному переходу, к выходу из метро, по тротуару. Возле какого-то скверика девушка автоматически опустилась

на скамейку. Боль ушла, наступила вялость от усталости, постепенно сменявшаяся тупым равнодушием. Вика довольно долго сидела погружённая в себя. Время уже перевалило за полдень. Мимо побежала стайка мальчишек, смеясь и подбрасывая мяч. Тявка, просеменила болонка на поводке. Молодая женщина торжественно прошествовала мимо, толкая впереди себя коляску с малышом. Воробьи, слетевшие на дорожку, устроили шумную возню, подравшись за крошки. Но Вика ничего этого не замечала. Неожиданно ей на колени шлёпнулся цветок. Один, другой, третий. Девушка словно очнулась от транса, подняла глаза. Перед ней стоял толстенький малыш в синих штанишках и с сосредоточенным видом пытался сунуть ей в руки маленький букетик цветов. Вика разжала ладонь и, ощутив кожей нежность фиалок, с благодарностью улыбнулась ребёнку. Трёхлетний карапуз словно только этого и ждал. Он рассмеялся радостно своей проделке и весело поковылял на нетвёрдых ножках к клумбе за новыми цветами. И Вика вдруг словно другими глазами увидела это всё: небо, зелень листвы, людей, неторопливо гуляющих по дорожкам сквера, малыша, наклонившегося к цветам возле клумбы. Это был настоящий мир, подлинный, далёкий от фальши лицедейства и обмана пыльных кулис. Это был мир жизни.

Эпилог

Прошло несколько лет. Душевная рана зажила. Повзрослела и сама Вика. Всё прошедшее воспринималось теперь как нереальное, и казалось, что всё это происходило не с ней, а с кем-то другим, а она была лишь сторонним наблюдателем. И как после долгой болезни человек становится совершенно другим, изменяется, духовно изменилась и Вика. Она не стала актрисой. Переболев этой мечтой, девушка нашла себя в иной профессии – профессии учителя. Ей нравилось работать с детьми, да и педагогическая работа требовала творческой отдачи. (Кто знает, возможно, та встреча с малышом и повлияла на её выбор...)

Однажды в школе, где работала Вика, произошло небольшое ЧП. Неожиданно заболела классный руководитель 4«А», и под угрозой срыва оказалась ещё с зимы запланированная поездка учеников в столичный цирк. Вот-вот начнутся весенние каникулы, дети предвкушают интересную экскурсию, а тут такая неудача! Не лишать же их праздника! И Вика вызвалась заменить заболевшую.

«А здесь ничего не изменилось, – ступая на пыльный московский перрон, отметила она про себя, – всё та же сутолока, тот же скверик возле вокзала, где весело чирикают под весенним солнцем воробьи, и даже, кажется, те же прохожие. Вот отсюда когда-то начинался мой поход на покорение столицы, который закончился ничем. А может, и к лучшему?..»

После представления, едва собрав расшалившихся четвероклашек, которые никак не желали угомониться и наперебой воображали себя клоунами, гимнастами и даже дрессированными львами, двинулись в обратный путь. До поезда оставалось ещё время, и, чтобы не толкаться в душном вокзале, решили посидеть в скверике на свежем воздухе, благо, погода выдалась тёплая. Присев на деревянную скамейку и наблюдая за шумной ватагой, рассыпавшейся по всему скверу, Вика почувствовала лёгкую усталость. Хотелось расслабиться на тёплом солнышке и никуда не уходить отсюда. Её полудремотное состояние прерывалось лишь окликами родительниц: «Таня, Ира, не убегайте далеко!», «Серёжа, сейчас же надень шапку, простудишься! Это тебе кажется, что жарко, а продует запросто!»

Неожиданно перед ними материализовался бомж. Проскользнув незаметно, как мышь, в скверик, он брёл теперь нетвёрдой походкой, шаркая по мокрому асфальту старыми грязными галошами, волоча за собой огромную авоську с пустыми бутылками. Ребятишки продолжали играть, никак на него не реагируя. Взрослые поднялись со скамеек: что нужно здесь этому пьянице? Сообразив, что смутное чувство досады вызвано им, бомж подковылял к скамейке. «Пардон, пардон! – прогнусавил он, стащив с головы потрёпанную кепку и обнажив седые космы нечёсанных волос. – Дамочки, подайте

на пропитание! Не откажите больному человеку, нуждающемуся в лечении!» При этом восклицании винные бутылки в авоське жалобно звякнули в подтверждение слов «хозяина».

Сердобольные провинциалки полезли в сумки. Вика, опередив их, протянула бомжу десятку. (Хоть и пропащий, но всё же человек!) «Возьмите, вот...» Но её рука с денежной купюрой так и замерла в воздухе. Девушка столкнулась с буравящим взглядом маленьких цепких глазок за толстыми стёклами очков. Память в один миг вернула её на несколько лет назад, к зелёному столу и троице преподавателей. Нет, не может быть! Ей просто показалось. Но как всё-таки неприятен взгляд этого человека! (А сам-то мужичонка такой жалкий, что вызывает лишь чувство брезгливости.) Бомж сделал стыдливую попытку прикрыть бутылки полой замызанного пальто, но дрожащие руки плохо повиновались, и авоська предательски звякнула о тротуар. Этот жест был до такой степени смешным и нелепым, что Вика поспешно отвернулась.

– Ребята, девочки, нам пора! Собирайтесь все, живо, пошли!

Она подошла к детям. Те послушно построились гуськом и, сопровождаемые учительницей и родителями, весело двинулись к вокзалу, оставив зелёный скверик, весеннее солнце, Москву и одинокого бомжа, уныло глядящего им вслед.

Ольга КОМАРОВА

Ольга Евгеньевна Комарова родилась в 1942 году. Живёт в г. Королёве. Режиссёр-документалист, выпускница ВГИКа, журналист, автор киносценариев и статей о кино. В Саратове работала на телевидении, сняла несколько фильмов. Публиковалась в «Литературной газете», «Народной газете», газетах «Границы России», «Калининградская правда», «Позиция», «Пушкинский вестник», в альманахах «Третье дыхание», «Полдень», «Русич», в «Антологии православной поэзии. 21 век. Отчее слово». Автор сборников стихотворений «Славянские ключи», «Кавказская тетрадь», «Песенные пророчества», «Лествица», «Синь-Хвалынь». Член СП России. Участник и лауреат многих литературных конкурсов, в том числе Всероссийского конкурса Международного союза журналистов «России верные сыны», конкурса культурного центра памяти Николая Рубцова «Звезда полей» в номинации «Поэзия».

Я РИСОВАЛА АНГЕЛОВ

АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ

Сочные, спелые, крепкие –
Что их сронило в траву?
Яблонь корявые ветки
Смотрят на них, на листву.

Вспышки осенние тают,
Капли кору холодят,
Чтобы в таинственном мае
Вспыхивал звёздами сад,

Чтобы в соцветиях белых
Видели вы наяву:
Яблоня с веток несмелых
Золото сыплет в траву.

Забросив лыжи с санками,
В тетрадках прописных
Я рисовала ангелов,
Как будто знала их.

Как будто в поле метили
Мы общие межи.
Как будто мы – соседями
Делили этажи.

А рядом дети плакали
И не сводили глаз:
– Ведь ты рисуешь ангелов?
– Нет, – я сказала, – вас.

ВЕСНЯНКА

Над старым русским городом
С причудливой резьбой
Поднял смешную бороду
Скворечник озорной.

На палке, чисто струганной,
Зелёный птичий дом
Повис чуть-чуть испуганно
В просторе голубом.

Как радужные полосы
Взял солнечный резец –
Так воздух звонким голосом
Попробует скворец.

Стою одна на улице,
Тень бродит по лицу.
Когда скворец целуется –
Завидую скворцу.

На тёплом ясном воздухе –
Черешен белый мёд.
Скворец поёт без отдыха,
Пока не упадёт.

Ты не гляди так сурово –
Хмурый февраль позади.
Слово сердечного зова
Рвётся из жаркой груди.

Это весна повергает
Нас у заветных колен,
Это весна обнажает
Сердце, попавшее в плен!

Видишь, порушены крепь,
Видишь, открыта душа –
Чувства, как бурные реки,
Снегом напиток спешат.

Разве судьбу угадаешь?
Звезды – колодами карт.
Разве по взгляду узнаешь,
Если сам любишь и таешь,
Вместе с ручьями играешь,
Как увлекающий март!

Карина СЕЙДАМЕТОВА

Дорога чрез сердце избы...

Куныев С. С. Николай Клюев. М.: Молодая Гвардия, 2014. – 656 с. ЖЗЛ

В рамках Года литературы в конференцзале Российской государственной библиотеки прошла презентация недавно изданной, но уже ставшей заметным литературным явлением для читающей страны биографической книги известного критика и историка литературы Сергея Куныева «Николай Клюев». Книга вышла в серии «ЖЗЛ».

Перед началом презентации гостям было предложено послушать записи песен на стихи Клюева в исполнении Татьяны Петровой. Выступления профессора Института мировой литературы имени М. Горького Сергея Ивановича Субботина, художника и реставратора, общественного деятеля Алексея Валерьевича Артемьева и других приглашённых органично перемежались с авторским чтением избранных отрывков из биографии.

Личность поэта Николая Алексеевича Клюева многогранна и сложна, а жизнь его – тем более. И немудрено, что при взгляде на экран с изображением клюевского портрета кисти Щербакова невольно вспоминались строки из пушкинской переписки со Святителем Филаретом:

«...не напрасно, не случайно жизнь от Бога нам дана». Для чего человеку вверена Создателем та или иная земная жизнь – вопрос риторический. Будь ты простой читатель или маститый литератор, в конечном счёте, перед Господом все равны. Но не всё едино, какой окажется дорога к знаниям для человека, мыслящего порусски.

Для Сергея Куныева, пристального исследователя творчества поэтов-«новокрестьян», сия книга – «труд многолетний» и выстраданный, а следовательно, значимый и ответственный.

Сгущенный, концентрированный текст представляется «монументально выстроенным, как русская изба – колено в колено, насыщенным плотно уложенными смыслами». Но именно посредством подобной подачи материала достигается ощущение масштабности образа Клюева. И здесь Куныеву удалось воплотить, казалось бы, неподъёмный замысел: объединить информационные пласты научного характера с горестными перипетиями жития своего героя, приоткрывая нам дверь к подробному и вдумчивому познанию «поддонных смыслов», «избяного космоса» поэта.

Открыв книгу Куныева, понимаешь: чтобы частично вникнуть в клюевскую поэтику, нужно обладать множеством разновекторных знаний, таких как основы старообрядчества и элементы язычества, свободное ориентирование в народной культуре и мировой художественной литературе. Клюев предстаёт перед современным читателем в контексте свершавшихся революционноисторических процессов в стране печальником-страстотерпцем, прошедшим через аресты и пытки, голод и холод, но не утратившим веры в своё предназначение «*посвящённого от народа*», что не может не пробудить в читателе сочувствия и сострадания к многотрудной судьбе «*певца олонецкой избы*».

Небезынтересной для читателя будет переписка Клюева с Александром Блоком. Впрочем, и трудные отношения с Есениным, длящиеся многие годы, не останутся незамеченными. Вообще, их пресловутая «дружбавражда» заслуживает отдельного разговора. Чувство духовного родства между поэтами возникло сразу после первого письма С. Есенина Н. Клюеву, который в «милом братике» провидел талант самородный – алмаз неограниченный, потому что «*слышал его душу в его писаниях*». Мне нравится повторять однажды выведенную для себя формулу: опытный взор ювелираогранщика важен, но не менее, чем материал для последующих огранки и обрамления. Можно

гранить алмаз, а можно – стекло. Если из первого получится бриллиант, пересверкивающий тысячей граней, то из второго, пардон, гранёный стакан... «Алмаз» дарования Божьего – чувство слова – и узрел Николай Клюев в «вербном отроке», будущем великом русском поэте Сергее Александровиче Есенине.

Но впоследствии, как это часто бывает, произошло отдаление друзей. *«Есенин обретал всё большую крепость пера, да и чрезмерная опека Клюева вызывала лишь раздражение».* Есенин мог порой весьма обидно подшутить над своим наставником, а Клюев всё упрекал, мол, *«белый цвет Серёжа»* отдалился от него, *«разлюбил его сказ».* Хотя незадолго до своей гибели Есенин и признавался Эрлиху: *«Ты подумай только: ссоримся мы с Клюевым при встречах кажинный раз. Люди разные. А не видеть я его не могу. Как был он моим учителем, так и останется. Люблю я его».* Что говорить, вражду, проявившуюся в основном в расхождении литературных и идеологических взглядов, остро переживали оба.

Наряду с этим на страницах книги биограф обстоятельно проясняет, как складывались вовсе не безоблачные отношения Клюева с представителями «серебряного века» и с революционными правителями. Детально раскрывает религиозный и мировоззренческий компоненты клюевского характера, во многом обусловившие и неизбежность знакомства поэта с художником и философмистиком Николаем Рерихом: *«Они познакомились в 1915 году в обществе «Краса». Сблизили их горячая любовь к русской истории и к древнерусскому искусству, духовные поиски «Града Невидимого» и стремление восстановить давно распавшуюся и почти забытую связь между русским и индийским народами, доказать их извечную близость друг другу».* Поскольку *«существовало тайное верование, что Русь не кончается здесь, на земле, что всё праведное на Руси воссоздаётся и на небе».* *«Белая Индия... Это – основополагающий образ клюевской поэзии, впервые возникший у него в предреволюционном, 1916 году»*, – пишет Куняев.

Более того, любопытно, какой же всётаки смысл вкладывал Клюев в сказовое понятие «Белая Индия»? Было ли то попыткой проследить истоки зарождения и пути предстоящего развития Руси России от «начала начал»? Скорее, мифологию нации поэт отождествлял с *«адамантовым бором, цветущим, как душа»* и, не в последнюю очередь, видел задачу писателя в том, чтобы воскресить её *«со dna всех миров, океанов и гор»* во славу создания литературных текстов высшей пробы. Ибо прекрасно осознавал, что народ, утративший свою мифологию и чувство своей исторической судьбы, ослабляет национальную культуру, лишая её природных деятельных сил.

Зачастую поэты немало времени проводят в поисках мечты, своеобразной «фаты-морганы» собственных убеждений. Для кого-то это Атлантида, для кого-то – Шамбала, для других – Бьярмия или обитель северного ветра за священной землёй Кольского полуострова... Для Клюева такой легендарной страной, светочем воли и духа стало Беловодье. *«Легенды о Беловодье староверы знали ещё в XVIII–XIX веках. Некоторые из старообрядцев в поисках Беловодья уходили даже на территории Китая».* Обратимся к биографии поэта: *«В разное время и порозному открывался русским людям таинственный Восток».* Далее автор приводит цитату из статьи Брейтшнейдера «Русь и Асы на военной службе в Пекине»: *«В Юаньши <...> записано <...> что император Вэньцзун, правнук Кубилая, создал русский полк под начальством тёмника. Название полка – <...> «Вечно верная русская гвардия...» <...>. И кто знает, может быть, русские люди принимали участие в освободительных восстаниях против монгольского владычества в Китае?.. Русские люди были свидетелями свержения ненавистного господства дома Юань в Китае. Может быть, последний великий хан увёл с собою своих русских невольников? Ответить на этот вопрос невозможно».* Тем не менее есть повод задуматься: гвардией называли отборную, лучшую часть войск, так кто же такие «новокрестьянские поэты» или, вторя словам биографа, *«поэты русского возрождения»*, как не «вечно верная русская гвардия»? С непреложным пронзительным определением –

«небесная»! Вечно верная небесная русская гвардия: Клюев, (расстрельный мученик в 37-м в Томске); Есенин (погибший зимой 25-го); Клычков (приговорённый по ложному обвинению к смертной казни в 37-м); Ширяевец (неожиданно умерший в 24-м); Орешин (в 37-м арестованный и расстрелянный в начале 38-го); Ганин (расстрелянный в подвалах Лубянки после жестоких пыток в 25-м)... Все они – надмирное воинство, призванное незримым охраняющим светом освящать духовные форпосты дружбы, жизни, Отечества. А мы? Чем смогли мы перед ними оправдать небогоугодные проступки и сорвавшееся с уст суесловье? Возможно, тем и примечательны биографические издания, перечитывая которые, укоряешь как себя, так и своё поколение: недостаточно помним, разумеем, чтим.

...Мечты мечтами, а всегда находились и другие, иного родаплемени люди, некогда добровольно лишившие себя грёзы как ощущения полётности духа, закопавшие её вместе с совестью: кто – рядом с наблюдательными пунктами ГПУ при гостиничных номерах, кто – в подвалах НКВД... Нещадно злобствуя, номенклатурные «кадры» не прощали индивидуумов, предпочтших несказанную роскошь дерзновенно мыслить, а значит, генерировать собою миф, не допуская выхолащивания культуры своего народа.

Николай Клюев оставил нам богатое творческое наследие. Нужно лишь вслушаться в его заветчание о важности корневой, сакральной русской речи. Приведу фрагмент из письма Н. А. Клюева В. С. Миролюбову (от 16 апреля 1915 года, Олонецкая губерния, Вытегорский уезд): «<...>Народная же назывка – это чаще всего луч, бросаемый из глубины созерцания на тот или иной предмет, освещающий его с простотою настоящей силы, с её огнёммолнией и мягкой росистой жалостью, и не щадит читателя, заставляя его пробиваться сквозь внешность слов, которые, отпугивая вначале, малопомалу оказываются обладающими дивными красотами и силой <...> которые лишь обязывают читателя иметь больший запас сведений и обязывают на большее с его стороны внимание».

Остаётся добавить: пусть искусные мастерасказители вновь переплетают жемчужные нити памяти на святынях древнеславянской культуры с нынешней актуальной литературой, постепенно возвращая из «глуби глубин» забвения эту «сказку, земли талисман» – словно скатный жемчуг природных озёр, самобытный язык народа. Это непростая, но необходимая дорога русской мысли – пройти чрез сердце избыархаики ради нового, достойного будущего. Где «...неизреченен Дух и несказанна тайна/Двух чаи, двух свеч, шести очей и крыл!/Беседная изба на свете **не случайна...**», так как «...она Судьбы лицо», и лишь тогда «...**не напрасны** тиеница с мёдом –/ В них услада надежды земной:/ Мы умрём, но воскреснем с народом,/ Как зерно под Господней сохой./ Не кляните ж, учёные люди,/ Вербу, воск и голубкукутью –/ В них мятеж и раздумье о чуде / Уподобить жизнь кораблю, / Чтоб не сгнуться в глухих океанах, / А цвести, пламенеть и питать,/ И в подземных, огненных странах/К небесам врата отыскать». Чтобы даже из «огненных подземелий страстей человеческих» устремляться душою ввысь, крепнуть духом. Ещё и об этом книга Сергея Куняева, выход которой – долгожданное событие для историколитературного мира в общем и для российского читателя в частности.

Безусловно, монография замыслена также для возрождения интереса к творчеству Клюева – через человекаКлюева к Ключевуписателю. Но какие бы противоречивые суждения ни повлék за собой её выход, необходимо другое: понять, чему служат нынешние издания? И если таковые служат приумножению внимания к отечественной литературе на всех её фронтах – древнерусском, классическом и современном (в чём смело можно убедиться на примере самой полновесной на сегодняшний день клюевской биографии) – значит, отнюдь **не случайно** и **не напрасно** авторомсоздателем дарована им «жизнь».

Эдуард АНАШКИН

«Звёзды окликаая»

Новая книга Дианы Кан – явление для читающей России долгожданное. Ведь последний раз книгу поэтессы издавала ещё в 2008 году, несмотря на то, что все эти годы активно выходили новые стихи Дианы Кан в самых разных изданиях России. Было бы логично ждать, что в год юбилея, в 2014 году, у поэтессы выйдет книга. Но ожидаемого не случилось, несмотря на то, что Диана Кан все эти годы (с 2008-го) является членом Самарской областной экспертной комиссии, регулярно распределяющей региональные гранты на издание книг. Получается: сапожник без сапог, а тот, кто участвует в распределении изданий, сам без изданий... Прискорбно, что в Самарской области власть имущие в преддверии Года русской литературы так и не нашли возможности издать юбилейную книгу всероссийски известной землячки.

То, что книга новых стихов «Звёзды окликаая» вышла год спустя, является заслугой Коммунистической партии РФ, нашедшей возможность не на словах, а на деле поддержать талантливого поэта Диану Кан.

Сразу три известных писателя России «встретились» под обложкой книги Дианы Кан «Звёзды окликаая». Помимо стихов представлены два эссе. Открывают книгу размышления выдающейся современной поэтессы Марины Струковой об истоках творчества Кан. А итожит книгу эссе выдающегося современного литературного критика Вячеслава Лютого. Собственно, говорить о творчестве поэтессы после них – дело неблагодарное. И моё эссе – лишь попытка сказать своё слово о том, каким я вижу присутствие Дианы Кан в современной поэзии.

О казачьей составляющей стихов Кан отлично сказано Мариной Струковой. А мне бы хотелось сказать о значении темы русской земли и русской сельской глубинки для творчества Дианы. Удивительна глубина художественного проникновения в эту тему, ведь Диана не скрывает, что в сельской российской глубинке была лишь наездами. На правах давней дружбы мы както разговорились с Дианой пару лет назад о её причудливой родове, в которой кого только не намешано. Кровь японских самураев слилась с кровью корейских крестьян. Потом всё это замешалось на крови уральских казаков по линии матери... Но вот что значимо: поэтесса както вскользь призналась, что при всём уважении к разным своим корням, она главной считает кровь русских крестьян по линии маминого отца. Потому что именно эта кровь более всех других кровей помогает ей в творчестве.

А раз так, то возьму на себя смелость сказать, что русская сельская глубинка и есть главная любовь Дианы Кан. Слово не обманешь... Россия Дианы Кан – странная страна. Она, странствующая по небу, далека от экономической прагматики. Странноватая страна в глазах «мирового сообщества», которое последнее время являет всем свой почти фашистский оскал. А Диана Кан видит себя «странной» странствующей по земле и небу России во времени и в пространстве поэтессой. Не зря образ «людей Божиих, калик переходящих» так часто встречается в её творчестве. Но как бы ни странствовала Диана, она всегда остаётся дочерью и поэтессой земли русской. Даже окликаая звёзды, лирическая героиня Дианы крепко стоит на земле, врастая в неё корнями.

Не столько Урал – родина матери, сколько Волга – родина мужа, Евгения Семичева, – материковые темы творчества, как сказали бы критики. Марина Струкова считает, что самые страстные стихи у Дианы – о Востоке и о казачестве. А я так уверен, что Волга – главная любовь Дианы Кан. Хотя за что и принимаешь Кан, так это за её уникальную способность быть такой разной. «Растаковская» – озаглавил подборку Дианы Кан известный сибирский

*Чтоб ею лишь дышала и жила...
Вот с губ вспорхнула, в небо улетела.
Ну а меня с собой не позвала.*

И вот спустя много лет я держу в руках сувенирную тарелку – одну из тех, что продаются во множестве на самарском «Арбате» для туристов. По краю тарелки на голубом фоне изображён атаман Степан Разин со товарищи. В центре тарелки, под гербом Самары, чёрным по белому – четверостишие: «Смирная дерзкой смелостью и запад, и восток, / Восстал былинной крепостью Самарагородок. / Он пахотными весями в степную землю врос. / Святителя Алексея пророчество – сбылось!» Это и есть они – непутёвые дочкистрочки, которые при помощи изготовителей самарских сувениров и Интернета сбежали от своей создательницы Дианы Кан, не позвав её с собой: авторство стихов на тарелке не указано. Вот так, на «тарелочке с голубой каёмочкой» и приходит порой слава, забыв об авторе!

Диана, когда увидела случайно эту тарелку, чуть не воскликнула: «Да это же мои стихи!» Но тут же одумалась. Не получилось бы так, как однажды получилось с Владимиром Николаевичем Крупиным. Наш выдающийся классикпрозаик увидел в метро девушку, читающую его книгу. Не удержался и сказал: «Девушка, а ведь вы мою книгу читаете!» На что читательница оторвала вдумчивый взгляд от текста, скептически посмотрела на Крупина и ответствовала: «Похмелись, дядя!» Может, это и есть высшее достижение для писателя, когда его стихи «отрываются от родителя» и настолько становятся самостоятельными, что воспринимаются уже отдельно, сами по себе, как народные?..

Отношения Дианы Кан со славой весьма личностные. Ещё с ранних её стихов слава является как бы живым персонажем, к которому Кан время от времени обращается:

*Средь тёмной ночи, среди бела дня
Молчи, молчи, не говори ни слова!
Я знаю, слава, ты найдёшь меня,
Но всё же адрес сообщу почтовый.
Пусть ты пока не оченьто спешишь
Меня подвергнуть головокруженью,
Я знаю, слава, ты меня простишь
За все мои былые прегрешенья...
...Пусть я не раз продрогну на ветру,
Шепча твоё единственное имя,
Но я проснусь однажды поутру,
Согретая объятьями твоими.*

Как полагается живым отношениям, они не бывают безоблачными, потому что развиваются.

*Спой обо мне, обманутая Тоска!..
А я, так и не понята никем,
Вздыхнув, запью печаль
 шампанским Боска
За неимением шатоикем.
<...>
Не то чтоб мне сегодня было плохо...
Сегодня мне, пожалуй, всё равно!
Мерцает недопитая эпоха,
И не таковских утянув на дно.
Не то чтоб потаскухой обозвали...*

*Не то чтоб в этом не моя вина:
Потосковав наедине с бокалом,
В холодную постель ложусь одна.
Не то чтоб стервой оказалась слава.
Не то чтоб прикурить не дал никто.
Не то чтоб у вина видок кровавый...
Не то, не то, не то, не то, не то!..
А просто дерзкой юности обноски
Вдруг стали обветшалы и тесны...
Не пьёшь – так пой, обманутая Тоска,
В объятиях несбыточной весны!*

А всётаки напрасно Диана Кан называет славу «стервой». В июне 2013 года позвонил мне из Воронежа мой друг, известный воронежский прозаик Михаил Фёдоров. И рассказал, что побывал на творческой встрече с выдающимся русским поэтом, Героем Социалистического Труда, лауреатом Ленинской премии, ветераном Великой Отечественной войны Егором Александровичем Исаевым. Встреча состоялась 7 июня 2013 года в Воронеже, в областной библиотеке имени Никитина. Воронежцы пришли послушать своего известного по всей России поэтаземляка, давно живущего в Москве, но не порывающего связей с воронежской отчиной. Поэт почитал стихи, потом стал рассказывать о состоянии современной русской литературы. Говоря о современной поэзии, Егор Исаев сказал: «Самым лучшим современным поэтом в России я считаю женщину, на вид восточную. Но у неё такие русские и настолько мужественные стихи о России, что современным мужчинампоетам у неё учиться и учиться. Я говорю о Диане Кан».

Проблема «поэтапоэтессы Дианы Кан» нашим выдающимся поэтомфронтовиком была однозначно решена не просто в пользу «поэта», а в пользу лучшего поэта России. Самого яркого поэтического явления даже в плеяде замечательных современных русских поэтов-мужчин! Конечно, после звонка Михаила Фёдорова я не мог не позвонить Диане, хотелось порадовать её. Для начала спросил, знает ли она Егора Исаева? «В старших классах школы изучали его поэмы, – ответила она. – Лично? Я видела Исаева летом 2010 года в Борисоглебске, на фестивале молодых поэтов – меня пригласили поработать в жюри. Исаев вместе с министром культуры Воронежской области торжественно открывал фестиваль... Не знаю уж, можно это считать личным знакомством?» Когда я рассказал Диане, как высоко ценит её творчество Егор Исаев, она озадаченно помолчала и переспросила: «Он назвал одну меня?» И добавила: «Да уж, чего только не узнаешь о себе! Я обязательно поблагодарю при встрече Егора Александровича за такую высокую оценку моих стихов...» Увы, Егор Исаев и Диана Кан больше уже не пообщаются в этом бренном и суетном мире. Так получилось, что выступление перед читателями областной Воронежской библиотеки стало последним общением Егора Исаева с читателями. Но творческая эстафета любви к большой и малой родине передана уходящими поэтами России в надёжные, как видим, руки. Окликавая звёзды, Волга и Диана Кан продолжают свой путь по просторам России.

Михаил МУЛЛИН

Ни много ни мало

И. В. Шульпин. Сборник сочинений. Книга I.
Рассказы, повести. – Саратов, Издательский Дом «МарК», 2015.

И. В. Шульпин. Сборник сочинений. Книга II.
Стихотворения, литературные заметки. – Саратов, Издательский Дом
«МарК», 2015.

В «Издательском доме МарК» вышел двухтомник И. В. Шульпина, подводящий итог тому, что уже сделано автором в литературе. Писатель назвал его не «Собранием...», а «Сборником сочинений». Скромность? Не только.

По прочтении это издание воспринимается уж точно не как удовлетворение авторского самомнения, а, скорее, как выполнение долга – перед читателем, раз уж представилась такая счастливая возможность, то есть: нашлись деньги – стоит *собрать* всё нужное в одном удобном для чтения и хранения «месте». Так что оценим Шульпина не только за творческие удачи и немалый труд, но и за буквальную щедрость: не пожалел рублей, не на поездку в Анталию их потратил, не доху приобрёл, а читателю подарил.

В первый том вошли рассказы и повести. Все они о жизни русской деревни. Помимо несомненных художественных достоинств важны они ещё и тем, что сохранили те «моменты» и проявления недавней русской истории и быта, которых уже нет. А в сохранившихся деревнях жизнь заметно и *необратимо* меняется. Увы, на наш взгляд, не всегда в лучшую сторону.

Прозу Шульпина (всю) читать интересно – потому что она художественна (изображения ситуаций, людей, местных ландшафтов зримы), написана русским языком, а не модным «новоязом». Первый из рассказов, собранных под общим названием «Дождь при луне», «Вишнёвый клей» начинается с предложения *«Сады в деревне были у всех»*, которым писатель сразу, без раскочки, «берёт быка за рога». Им (начальным предложением) временная ситуация «пришпилена», картина сразу дана. И факт *принципиальный* сообщён. Простота, обеспечивающая ёмкость без «выкаблучивания». Никаких тебе *«косых лучей заходящего солнца в печальной лачуге»* рефлексирующего героя, ни чего-то вроде *«тракторист Степан встал задолго до восхода солнца, а жена Матрёна уже ушла на первую дойку»*... *«Сады в деревне были у всех»* – вроде, предложението протокольное, а вот, поди ж ты, не скучное! Нет и никаких стилистических экспериментов и завитушек, а стиль есть. Он началом уже как бы определён и задан для всего последующего повествованияизображения. Однако и дальше без надсады и показного разрывания рубахи на груди, а бытовому спокойно описывается «исторический перекося в строительстве социализма» (ни одного из этих скучных слов в тексте писателя нет), объясняется, почему в России вдруг исчезли эти самые сады (которые «были у всех»). И трагедия показана, и глупость (этих самых перегибов-перекося), и – что важнее – неуничтожимость русского мужика, способного «лицо сохранить» и выкрутиться из любого противоестественного, не им созданного положения. И... неуничтожимость садов: они ликвидированы хозяевами, чтобы налоги не платить (*«Остались в уголках огородов, по старицам да вдоль плетней диковатые заросли вишнирасплётки, чёрной смородины, крыжовника»*) – и они... *остались!* В том числе и как надежда, что будут восстановлены. *«Председатель сельсовета и такие сады хотел было обналожить, но мужики как один развели руками:*

– Иди сам изничтожай. Мы за лето три раза вырубали. Всё одно прёт, как будто её из-под земли за волосы тянут!

Хотя ни один и не пытался вырубить остатки сада. Так, постучали для вида топорами, прореживая вишеник, чтобы не захирел. Каждый чувствовал, что дурной закон долго не продержится».

Не утверждаю, что всё это автор сделал сознательно – тогда были бы заметны «швы», следы его усилий, но в томто и дело, что соединение профессионального опыта и врождённого литературного дара всегда даёт побочный эффект: читатель порой видит чтото такое, о чём писатель *вроде бы* и не задумывался. Это часто происходит в поэзии (настоящей), но вот и в прозе (настоящей же) случается.

А ведь и время отражено, и коллективный характер деревни передан! И всё просто, всё на русском языке. И даже неологизм писателя «обналожить» – легко понимаемое русское же слово. То же, кстати, можно сказать о другом – «народном неологизме» – местном (диалектном) слове «слепень», которое означает не разновидность насекомых, а *слепленный* из «напльва» вишнёвой смолы вишни шарик или ком.

И ещё больше выявляется «дурнота» закона в умело сказанном как бы мимоходом: *«Но больше всётаки страдали после гибели садов мы, ребяташки».*

Детство наше пришлось на первые послевоенные годы, жизнь было несладкое, конфеты редки, как праздники, а о мороженом и прочей роскоши – говорить нечего».

«Постоянной же услодой (от холодов до холодов, к тому же всегда под рукой) был вишнёвый клей... Весь день можно было беззаботно лизать клей. Сосать или жевать, с трудом разжимая слипшиеся зубы».

Великолепно по смыслу, образу (даже, пожалуй, по символу) окончание этого рассказа, где сообщается, как, уже будучи взрослым, писатель узнал «тайну» «вишнёвого клея»: *«Знакомый мой стариксадовод, стиливая крепкое ещё дерево вишни, пояснил: «Не жилица она... Видишь: клей пошёл. Это всё равно что кровь. Не жилица, значит».* Тогда и вспомнил автор, как *«вишни не пожалели своей крови, чтобы хоть както скрасить наше детство».*

Таков вот «Вишнёвый сад» не по Чехову, а по Шульпину. Боже упаси, я вовсе не сравниваю (не уравниваю) рассказ нашего земляка и знаменитую пьесу классика. Просто нельзя не обратить внимания на лиризм рассказа И. Шульпина. Рассказ бессюжетный, но увлекает и содержанием.

Другой рассказглавка – «Мотыка и соловей». Кто по своей сути этот герой? И вдруг понимаешь: Сальери, которому, однако, сочувствуешь. Потому что творческие муки «простого» человека не меньше трогают. Не менее интересны. Потому что психология передана.

«Много ль нужно воробью» – так называется ещё один из рассказов, вошедших в «Дождь при луне». Оптимистическая, светлая лирическая вещь со счастливым концом – её можно бы порекомендовать читать даже и детям. Но... это же не только и не столько о «наладившейся воробьиной судьбе», это же – рецепт решения демографической ситуации в стране! Чиновникам он мог бы стать учебником по высшей социологии!

Все герои рассказов кажутся давнишними знакомыми, только «повёрнутыми» другой стороной, чтобы особенность каждого засверкала, стала видной в своей полноте. Типажи самые разные – от забавного, себе на уме «дедка», боящегося лететь на самолёте, до прохиндея – «артиста» Шапочника; от маленького Лёньки до кроткого Тыбы.

У многих колоритная внешность, переданная как на портретах. Вот, скажем, *«...ходил зиму и лето с непокрытой головой. Но летом ещё куда ни шло, а вот зимой, особенно в трескучие морозы, дядя Гриша являл собой зрелище замечательное. Волосы он носил копной, стриг их «под горшок», как кулугур, были они цвета воронова крыла – иней в них сверкал серебряной инкрустацией. У незнакомого человека вид заиндевшегося дяди Гриши вызывал ощущение только что потрясшейся беды, несчастного случая».* Однако своей внешности предприимчивый Шапочник нашёл применение самое «полезное»!

Или вот пасечник – «колдун». *«В облике его действительно было что-то демоническое: морщинистый, уросший дремучим волосом, с лукаво-жутким взглядом глаз чистой голубизны. И за всем этим постоянная готовность взорваться неистовым гневом. Мне он всегда напоминал врубелевского Пана.»*

Не менее колоритен Сырников (Сорняк). *«Мужик он и вправду никчёмный – вечный грибник, рыболов, выдумщик, прожектёрнеудачник. Он и внешне выглядел несуразно. Помните, были такие игрушки: человечки из дощечек, из дранок, дёрнешь за нитку, а он выхлется. Вот и у него все толстые члены двигались без какой-либо системы и смысла.»*

Или ещё: *«В строении Жлоба тоже было что-то деревянное. Только он состоял не из болтающихся дощечек, как Сорняк, а из плотно подогнанных чурачков. Верхний маленький, чуть заострённый чурачок – это голова и шея в одном; ниже – самый толстый и продолговатый чурак – туловище...»*

И всегда изображение внешности героя – не самоцель, соответствует характеру, способствует запоминанию читателем образа.

Рассказ «Рожь высокая» – это поэтическое воспоминание о ржи и детстве. Не случайно название перекличка с «Коробейниками» Некрасова.

«Крутой серебристо-зелёной волной расходилось ржаное поле, а над полем – золотистое марево пыльцы. И вдруг чуть выше золотистого марева, в колеблющейся синеве замелькал, заметался белый лоскуток... Бумажка, подхваченная ветром? Голубь?.. Нет – чайка! Откуда, зачем она в наших степных краях – никто не знает.»

Читаешь замечательное и точное: *«По обочинам, чуть склонившись колосьями к дороге, стоит вызревающая белёлая рожь. Иногда из ржи поыхивает, как из печки, в которой на поду досеживают хлебы. Или слабенький ветертягунок приносит вдруг острый запах горелого жнивья. Далёкий горизонт дрожит, подпрыгивает в слюдянистом мареве; а сверху – ртутнобелое тяжёлое небо, в котором трепещет одинокая пустельга...»* – и кажется сначала, что напоминает это красотой что-то знакомое – то ли бунинское, то ли чеховское. Однако потом понимаешь: напоминает это не прекрасные тексты классиков, а... виденное и ощущавшееся в детстве: поездку по полевой дороге – вот откуда ощущение восторга, красоты и умиротворения одновременно! Ощущение счастья. А те, у кого не было таких поездок, пусть хоть в книге почитают о них!

«Смотри, смотри!» – говорит девочка. Сама разводит руки крестом и, не сгибаясь, откидывается навзничь. Высокая густая рожь пружинит, и девочка плавно опускается на землю. Образуется глубокий пяточок, на дне которого она лежит, разметав свои рыжие волосы. Я тоже скидываю руки и падаю рядом. На губах у девочки солоноватая ржаная пыльца, а в тёмных глазах с расширившимися зрачками, отражаясь, вспыхивают и гаснут звёзды...»

И чуть погодя...

«Я долго мечусь по полю, ищу то место, где мы были ночью, но рожь, опрыснутая живительной росой, уже успела подняться, и не найти теперь ни нашего пяточка во ржи, ни голубого платочка...» Опять вспоминаются «Коробейники»: *«Распрямись ты, рожь высокая, тайну свято сохрани»*, и опять – живая жизнь. Потому что придуманное – правда.

И наконец: *«Рожь моя, рожь высокая! Я видел несколько морей, слышал над ними крики сотен чаек. (Чайка, упомянутая в начале, здесь откликнулась «срифмовалась!») – М. М.) Но когда потянет вдруг на волю, захочется необъятного простора, вспоминаются не они, а то, как расходилось тугой серебристо-зелёной волной ржаное поле и замелькал, заметался вдали белый лоскуток...»*

«Сколько постелей стелили мне заботливые руки матери, быстрые руки горничных в гостиницах, руки любимой! Но ни одна постель не была такой мягкой, как та, когда рыжая девочка, раскинув руки крестом, падала навзничь, и пружинила под ней высокая рожь...»

Вот она – любовь к Родине, не фальшивая и не протокольная!

А уж рассказ «Сад» – и вовсе поэма в прозе, которая при этом наполнена искренней, горячей любовью к традиционному здоровому быту села, пониманием этого лада и каким-то пришвинским (не в значении подражания!) умением передать «детали». Детали, разумеется, выдуманные, поэтому точные.

Нередки (в прозе) места, и вообще написанные в ритме стихов: *«Цыган поставил ящик с музыкой под столик...»*

В пейзажных зарисовках Шульпину удаётся передать «внутреннее» состояние природы, связать его с настроением героев, создать у читателя ощущение – ожидания определённых событий, тревоги, любования: *«Жара на улице вошла в силу. Воздух остекленел и стал ломкий. Тополя у Никифорыча в палисаднике приспустили обмякшую тёмную листву и застыли... Лишь иногда то тут, то там вздрагивали ветки – это перепархивала золотая иволга и коротко пела, будто дула в водяной свисток.*

На улице – ни души. Только в дорожной пыли валялись несколько куриц с раскрытыми клювами и осоловелыми глазами».

Или: *«Большое красное солнце сплоснулось над вершиной низенькой горки, постояло так мгновение, потом вдруг прилипло нижним краем к горизонту, будто поцеловало землю, и стало быстро погружаться. И сразу потянуло откудато луговой влагой, горчинкой. Взлобок и маленький лесок на нём отодвинулись, а село замигало огоньками и, казалось, приблизилось».* Мне тут вспомнилось тютчевское: *«Не то, что мните вы, природа... В ней есть душа...»* И язык писателя тут природный. И даже запахи передаются. Это же поэтам надо прочесть – чтобы учиться: чувствованию и пониманию природы, языку. Слух радуют слова.

Впрочем язык Шульпина не только красочен, точен, но и... парадоксален, неожиданен: *«Цыган от волнения побледнел и казался ещё более чёрным...»* И ведь это не недосмотр автора, не ошибка!

Авторское же мнение о русском языке – трепетное и в высшей степени уважительное: *«Русский язык – явление глубоко художественное само по себе, без обработки и вмешательства так называемых мастеров искусства. Почти уверен, что вряд ли в каком другом языке словом **бедный**... можно назвать богатого человека».*

Речь автора метафорична и афористична. Приведу в доказательство ряд буквальных афоризмов: *«Без сада, без живности вроде зверя или скотины человек скудеет, ожесточается. Рука непременно должна когото гладить»;* *«Подкрался возраст быть буйным трезвенником и тихим женоненавистником»;* *«Истинно и глубоко верующий отличается от неверующего умением постоянно смотреть на себя и свои деяния со стороны глазами Бога. Коррекция деяний, действий – это уже от силы воли, характера верующего. И от воли Божией».*

Много оригинальных мыслей о литературе в книгах. Всё это стоит читать. Размышления о Ремизове или Платонове, например, увлекают неожиданностью. А то, что они в чём-то спорны, отнюдь не «минус», напротив, все они «плюс» в пользу Шульпина. А хотите поспорить – возражайте. Ваше право на иное мнение никак не отрицает и его прав. Чтение, в идеале, и должно быть диалогом.

А вот и прямая связь человека и природы: *«Чуть только развиднелось, окна поглубели, избяной сумрак стал сжиматься по углам.*

Павел Кузьмич, в исподнем, босой, стоял у окна и глядел в лунку проталины. Утро лишь угадывалось по водянистой зелени востока. Из труб восходили к небу крутые дымы. Улетали людские сны из тёплых изб. Там вот топят дровами: дым невесомый, призрачный – сны мальчишечьи, без забот и печалей. А там жгут уголь: непроглядный, багрово подкрашенный в вышине столб – сны взрослых. И всё о том: а что готовит год новый, что сулит?.. Всё о том». Опять тут автор – живописец. И всё связано со всем, и снова слова слух музыкой ласкают.

А вот картинка с минимализмом: *«Иван вошёл в библиотеку, впусив клубы холода, будто катнул от порога рулон серой войлочной «дорожки».*

Очень редкое умение есть у Ивана Шульпина – описывать детей. Только тонкое понимание их психологии позволяет писателю дать «голограмму» характера, личности ребёнка настолько, что его можно бы рекомендовать для внеклассного чтения, поскольку детям это читать будет и полезно, и (главное!) интересно. А уж взрослым то как было бы полезно читать Шульпина, чтобы уяснить, как и что нужно писать для маленького читателя!

Вот образец настоящего детского восприятия мира и событий (в диалоге со взрослым, после того, как сестра, «учившая билеты» к школьным экзаменам, прогнала мальчика, и чуть после):

«– Чем Авдотья Павловна занята?

– Билеты в рай учит, – серьёзно ответил Лёнька и ловко сплюнул меж колен.

– А вот я сейчас экзамент ей по Писанию учиню! – обрадовался Никифорыч.

Затрепещал, защёлкал суставами и, не разогнув до конца спину, направился к бабушке...

И запах, и звук доносились из щели между стеной и сундуком, на котором лежал Лёнька. А производила и то и другое на свет – мышь. Она появилась на кухне два дня назад, и бабушка всполошилась. Теперь Лёнька решил поймать мышь и спрятать. Иначе её накормят ядом!»!

Юмор уживается в сборнике с тревогой, а то и с трагическим. В этом отношении показателен рассказ «Про чёрный день», счастливый конец которого отчасти предопределён тем, что новое поколение (внуков), в принципе, не может пока понять страхов своих бабушек и дедушек. К счастью, у них нет необходимого для этого жизненного опыта.

Вообще, рассказы эти надо читать внимательно, дабы осмыслить не поверхностно. Ведь тот же «Шапочник» не для развлечения написан, не о пустяке, не о ловком прохиндее вовсе, а о том, как много в русской деревне добрых, доверчивых людей. Да и вроде бы уморительный рассказ «Парунькины» (и смех, и байки) создан не для изображения мистических обрядов.

Рассказ «Ветка таволги»... Его философская и психологическая насыщенность зашкаливает! Захватывает **внутренним** действием. Да и «добрым молодцам урок». Рассказ может кого-то заставить переосмыслить свою жизнь. Нежные и добрые – рассказы «Первый поцелуй», «Хотя бы день в году»... Фантазия писателя обнаруживает и его наблюдательность, и знание природы, что и увлекает читателя. Чтобы выдумать, надо хорошо и много знать. В рассказе – не итог, но своевременные думы об итоге. Перекликается с «Веткой таволги», но это, скорее, не рассказ, а эссе – лирическое и мудрое. Написано с любовью **ко всем временам и всем людям**.

Интересно отношение героев Шульпина к религии – христианству, ведь времена описываются официально «безбожные». «Атеист» Сосок... Всётаки молится, чтобы смерть его чуть-чуть задержалась, дабы похоронами... **не портить свадьбу, настроения людям**. Хотя старухам свершить посмертный обряд над собою (Соском) позволяет, чтобы **им** было приятно, но и «гражданскую» речь над гробом считает обязательной.

С точки зрения науки (настоящей) атеизм – абсурден.

Сосок – почти «чудик», однако перед кончиной становится фигурой прямотаки великой, предстаёт, по сути, громадным, каковым, наверное, и является каждый человек или каковым должен бы быть и стал бы, кабы не «случайные» помехи. Такой вывод напрашивается. И смерть старика не омрачает мыслей читателя, вызывает светлое чувство: участия и гордости за достойную жизнь.

Вообще, многие жители села Багуси – благородны до щепетильности!

Есть в этих рассказах (про спившуюся ворону, вишнёвые наплывы, воробья и снегиря в клетке) ещё одни – «сквозной» герой. Это сам автор. Довольно симпатичный герой, хотя Шульпин рисоваться и не думал, напротив, порой, раскисаясь, саморазоблачается...

Две книги Ивана Шульпина представляют собой не только два тома, но и две авторские ипостаси: прозаика и поэта. И если проза его давно признана и высоко оценена

читателями и объективной критикой, то стихи как бы (прошу прощения за очень нужные здесь «словасорняки») находились в тени повестей и рассказов. Не все читатели знают о стихах Ивана Васильевича. Таким людям посочувствуем. Но и порадуемся тому, что теперь они получили возможность познакомиться с лирой Шульпина, в коей уверенно присутствуют нежность, образность и юмор, философия и шутки, эпиграммы и пародии.

О стихах и поэтике Шульпина мне приходилось уже писать. Стараясь избежать повторений, отмечу, что в них *радует* отсутствие какойлибо фальши. Радует в буквальном смысле, поскольку при чтении произведений многих местных (и не только, увы) авторов, произведённых (или самопроизведённых) в гении, часто испытываешь чувство неловкости за них как раз от фальши – уж так де они любят Волгу вкупе с «берёзыньками»! И сразу видно, что любят они только себя самих. А вот в стихах никакой любви, никакой искренности и никаких берёзок нет. Есть только слова, а вот Шульпин нигде не прикидывается, обходится без ложного пафоса, зато любовь (в том числе и к Волге) у него имеется, передана. Может быть, поэтому у поэта и прозаика так хороши описания природы, пейзажи.

Стихи Шульпина – настоящие. Они, разные по тематике, жанрам и используемым приёмам, музыкальны. Могут быть тревожнонапряжёнными, со сложными образами («Холодная заря, как злой прищур...») и обманчиво-простыми («Друг от друга мы живём с милой недалечко...»). Однако и в стихах «простых» нет подделки, стилизации под народное. Потому что народное для поэта Шульпина естественно. Это – его. По праву!

Об образах, поэтике, искренности и смысловой наполненности стихов судите по следующим цитатам: «И от жаркой той герани / Занавески выгорали» (можно ли обрисовать герань лучше?! – М.М.), «Какая иконная просинь / В просветах меж листьев видна»; «Крестом на муаровой ленте / Свисает с небес самолёт». И ещё о небе: «Раньше было оно всё в алмазах, / А теперь оно сплошь в многоточьях...»

Так называемый «простой русский мужик» – почти всегда философ. Русскость, кристаллизовавшаяся во многих поколениях Шульпиных, не позволяет писателю изменить этой традиции. Здесь я подразумеваю не прямое увлечение философскими теориями. К их возможностям Иван Шульпин относится скорее иронически и скептически сразу, так сказать, «философски» спокойно: «**Настоящая наука оперирует фактами, а философия – мнениями о фактах**»! Здесь я подразумеваю и не первоначальный смысл словосочетания «любовь к знаниям» (хотя к писателю оно явно применимо), а желание и способность осмыслить те или иные явления жизни, истории даже и политики (без политиканства – здоровым умом русского писателя или русского мужика). «Иногда высказывал соображения неожиданные и занятные, порождённые умом местным, багусинским – насмешливым и заковыристым, – но облачённые в форму строгую...» Так Шульпин пишет о некоем герое, но это можно бы и к самому автору отнести. И тогда его «дуплет» пришлось бы перевести в категорию «залпа», так как кроме привычной художественной прозы и поэзии в книгах весьма удачно представлена ещё и эссеистика (кстати, не менее художественная!), и заметки: от дневниковых (при этом интересных читателю, охотно становящемуся собеседником автора) до записей тех или иных наблюдений, оценок, соображений, которые вполне могли бы стать теми ядрами, вокруг которых, в принципе, могли бы сложиться–нарасти рассказы или повести. По последней причине они интересны вдвойне – для читателей проницательных, тонких, и особенно для читателей-писателей.

Да вот и пример: «В детстве я знал о деньгах только одно – что их нет. Да и не я один. Все в моём окружении знали о деньгах только это. А если кто и знал о них чтото другое, то помалкивал». Как хотите, но, на мой взгляд, это целое произведение. Законченное. И оно – художественное. Со своей драматургией.

Писатель и поэт Иван Шульпин (вспомним известную оценку Л. Н. Толстого) дерзок, а человек он скромный.

Впрочем, Шульпин не бравирует «простотой», не строит из себя утончённого эстета. Однако в высшей степени одарён чувством прекрасного. Ибо, признавая ценность классической музыки, живописи, сознаётся: *«...до самой глубины души, до замирания пронимают меня тонкий посвист ветра в голых ветвях, шелест падающего снега, плеск воды в реке или ручье, лопотанье листьев; как вытягивает эту душу дорога, убегающая по взгорку за берёзовый колок, как упиваются глаза тёмнозелёными тенями облаков, бегущими по серозелёным склонам наших гор, как мутят разум ночное небо и звёзды... Для меня это намного нежнее, тоньше любых музык и прочих искусств...*

Более того, ни один даже самый высокий авторитет в искусстве никогда не убедит меня в том, что души, подобные кузьминской (поэт, в стихах предпочитающий книгу природе, гравюру – роще. – М. М.), настроены более тонко, чем моя».

Тут я согласен с автором полностью. Признаюсь, для меня души, ориентированные на первичную красоту, а не на её пусть даже и самое изысканное отражение, как раз... более тонкие. И уж точно – здоровые!

Впрочем, по мнению Шульпина, *«простой человек – это гармоничный человек»!*

В этих «философских письмах» он не боится коснуться даже самых «больных», «скользких», «щекотливых», «проклятых», опасных вопросов. В том числе и межнациональных отношений. И в самом деле, русскому писателю (да и русскому человеку вообще) не в чем оправдываться ни перед «младшими братьями», ни перед братьями «сводными», ни перед «Европою пригожей». Впрочем, Шульпин в этих темах не только честен, но и деликатен – обвинить его в «великодержавном шовинизме», в «квасном урапатриотизме» и прочих клишированных «русских грехах» может разве что человек очень уж неумный или совсем непорядочный.

Думаю, читатели, в зависимости от индивидуальных предпочтений или пристрастий, найдут к чему «придраться», оценивая содержание и особенности «Сборника сочинений». Мне, например, как не нравилось прежде, так и теперь не понравилось «описание» Шапки Мономаха. И вовсе не как «неуважение» автора к одному из символов Российской государственной власти, не как «бестрепетное» отношение к символу же исторической преемственности государства Российского, а просто как... «антиэстетика» (не в Шапке, а в описании, разумеется).

Из вредности «упёртого» технаря, стараясь непременно отыскать что-нибудь такое, за что бы автора можно было «ущипнуть», то есть с позиций убеждённого «крохобора», укажу единственную обнаруженную в двухтомнике неточность (с моей точки зрения):

«Павел Кузьмич смазывал свою бригадирскую полуфурку...» Скорее, смазывал он всё-таки *не* полуфурку, а *оси да втулки* колёс! Ибо... смажь он полуфурку, на неё бы и сестыто нельзя было. Ну да у кого же не встречаются подобные неточности?! Чуть ли не у всех классиков они есть.

Да ещё, может быть, рассказ «об истреблении воробьят» стоило бы назвать не «45°», а «45°C»... Авторское название выделяется оригинальностью: вместо слов – цифры и значок, обозначающий градус, что сразу привлекает («заостряет») внимание. Но, во-первых, градусы могут быть не только по Цельсию, но и по ТомпсонКельвину, и по Фаренгейту (то есть заголовок неточен), а во-вторых, название «45°C» (45 градусов по Цельсию) содержало бы ассоциативную отсылку к знаменитому роману Р. Брэдбери «451° по Фаренгейту». Это было бы полезным, поскольку у Шульпина – рассказпредупреждение, и у Брэдбери – романпредупреждение. И то, и другое произведение о добре и зле, о защите человечности в человеке. Кроме того, таким образом заголовок «45 градусов по Цельсию» сразу включает рассказ в «мировое литературное поле». При этом автор ничуть не выглядел бы зависимым от заграничного классика!

Однако это лишь моё мнение. А автору виднее...

Пять повестей первого тома имеют сквозной (продолжающийся и развивающийся) сюжет и, по сути, составляют как бы единый роман. Дело не в объёме (количестве

страниц), а во множественности переплетённых между собою сюжетных линий, изрядной галерее образов.

Портреты и характеры в повестях, как и в рассказах, – в шульпинской манере. Людей видишь – точно за одним столом с ними сидишь. В то же время они без дотошных излишеств: махнул авторхудожник кистью – и готово:

«...лесник Живайкин, мужик огромный, глаза навывкате, будто ему когда-то сильно ударили по затылку». Но и «внутренний портрет» недурён: *«Он нюхал табак и имел привычку, подвыпив, ни с того ни с сего предлагать собравшимся какую-нибудь несуразную шутку. Вроде того: «Пойдёмте бабушку Булаиху напугаем!» или «А что если у Соска трубу соломой заткнуть?!» – и сам же очень этому радовался».*

Прочтёшь подобное – сразу поймёшь: скучно про таких героев читать не будет. И не ошибёшься!

Или вот характеристика героев – авторская и... словами других героев:

«– С Новым годом, с новым счастьем! – поздоровался бригадир. – Где тут болящий? – Вагой твоего болящего не поднимешь! Ни стыда ни совести! Все кулаки обила! У людей (какое удачно здесь это слово «у людей!» – М. М.) и мужикито как мужики, а тут будто в наказание всучили, – замолотила (ещё словечко что надо!), видимо, не утихавшая ещё Татьяна».

Из этого краткого диалога разве не представили вы ясно не только похмельного мужика, но и его жену Татьяну?

Интересно, что грубоватый в повестях «деревенский» юмор на поверку наполнен нешуточным смыслом и добротой самой нежной:

«– Эт ты брось хреновину городить! – серьёзно предупредил егерь. – Помирать тебе никак нельзя – прореха в улице образуется». Цитата, кстати, из «Деревенской улицы», где эта самая улица предстаёт как нечто целое, единое, живое, с коллективным характером (коллективным сознательным и бессознательным?). Улица – мир. По крайней мере, традиционный крестьянский мир, ещё не до конца разрушенный ни гражданской войной, ни Отечественной. Быт писатель изображает точно, но выбирает не всё подряд, а только нужные для цельности «детали», не перегружая картину и тем самым делая её достоверной. То есть поступает не как копиистфотограф, а как художник, сам организуя пространство, создавая свой мир.

Речь героев может быть и мудрой, и нарочито дурашливой, и яркой, с «солёным» словцом:

«– Ноне комар какойто малосильный, слабохарактерный. Бывалыча со спины через куфайку... как пешню воткнёт! Прогнёшься так, что хвост на спину закинешь, как этот... Как скорпион. А теперешний в лоб жалнёт – даже чесаться не хочется...»

Из реплики мы понимаем, что герой – балагуркраснобай, вальяжный добряк. Такие незаменимы на рыбалке у общего костра. И по его словам вы наверняка представите даже внешность этого человека, хотя автор никаких примет его не даёт. Но... каждый представит его посвоему! И будет прав.

И при чтении повестей возникает вопрос: типично ли показываемое автором? И находишь ответ: да, я же как будто в родном селе тех лет побывал! И люди все, вроде, знакомы, разве что имена другие. Эффект такой потому, что писатель не списывал «образы» с конкретных людей, а выдумывал и обобщал. Потомуто и «общаться» с ними приятно, интересно. «Знакомые» не значит «затёртые».

В сюжетах много детективного – как в самой жизни. А появляющиеся вопросы (скажем, виноват ли Иван Тугушев в гибели козла или что же стало с украденными – или неукраденными – лосятами?) повышают интерес к повествованию, но не только «заковыристостью» и в качестве упражнения для заинтригованного ума, но и потому, что позволяют высветить какието чёрточки характеров героев, их индивидуальность.

А характеры «простых людей» ой как непросты! Возьмите Кстинью. Она же то сводит в одной компании Ивана и Катю, чтобы поженить, то во что бы то ни стало хочет

не допустить этого брака, не останавливаясь перед откровенным оговором жениха (это, однако, не совсем враньё, так как злословит она совершенно искренне!). Да и её отношения с мужем вовсе не тишь да гладь. А в сущности, она – человек замечательный.

Сочетание смешного и драматического во всех повестях: «В село приехали цыгане», «Осенние свадьбы», «Бригадир» (эту повесть можно бы назвать «Один день Павла Кузьмича» не ради сходства с известным всем произведением, а потому, что с технической точки зрения – это так называемая «Фотография рабочего дня». Но, разумеется, с художественной точки зрения – это не фото, а картина). Умеет он подобрать первые предложения к своим рассказам и повестям: «Сначала приехал один цыган» («В село приехали цыгане»); «Редки против прежнего свадьбы в Багусях» («Осенние свадьбы»); «С Мишкиных плеч видно далекодалеко» («Рожь высокая»); «На дом Парунькиных напали тараканы – целое нашествие» («Парунькины»); «Чёртте что творится с Никитой Гариным» («Запах лета»); «Умер Максим» («Досточки сухие»). «Умер Максим», между прочим, звучит несколько фривольно, поскольку очень уж напоминает известное «неприличное» присловье. Напоминает, как выясняется, не случайно. Разоблачению этого присловья, насаждаемого «знатоками» русского народа и его чаяний (присловья, говорящего о безразличии людей к горю ближнего и о короткой – неблагодарной – памяти), как раз и посвящён рассказ. Автор показал правду: умер Максим – и **не нашлось ни одного человека**, который бы сказал: «Ну и... шут с ним!», нравственность крестьянского мира проявилась сквозь всё наносное, каждый добром вспомнил усопшего, каждый на своём месте помог похоронам...

Пolemический пафос писателя – без перехлёста, всегда предельно аргументирован, очень удачно он отвечает и на попрекинападки коллег.

«Многие саратовские писатели попрекают меня тем, что я мало написал. Сам попрек справедлив, но только до того момента, когда они в противовес как достоинство начинают выставлять своё многописание. (Тоже, кстати, относительно.) Да полно вам! Достоинства литературы никогда не измерялись килограммами и пудами. Чего вы-то добились своими великими трудами? Разве только того, что благодарным потомкам будет труднее перешагивать через ваши кучи, нежели через мою горсть... О современниках не забочусь: вы тужились и производили на их глазах, они знают, куда не следует «вступать», где нужно обойти стороной...»

Принимал когдато и принял бы теперь – с благодарностью! – такого рода попреки, но... от читателей. От большинства из вас, коллеги, не могу принять».

«Жизнь художественно не организована, поэтому все разговоры о документальности, прямом следовании жизненной правде – туфта. Чем художник больше выдумывает, тем лучше будет художественное произведение.

Похвала художнику: «герои как живые, природа как живая» – не похвала, а оскорбление, по большому счёту, не живыми они должны быть, а художественными. Зачем плагиатом заниматься: живыми их уже Бог создал».

Из такой цитаты каждый поймёт, что писать рецензии на произведения Ивана Шульпина и сложно, и рискованно. Даже не знаю, удалось ли мне не «оскорбить» его! Кроме того, он же (кажется, не без оснований!) предупредил: «...наши записные критики пишут... велеречивые статьи о сочинениях писателейграфоманов или... поют осанну своим друзьям – бездарным «профессионалам»...» Одно успокаивает: ни к той, ни к другой категории я точно не отношусь уже хотя бы потому, что не «записной»... Да и не критик.

А трудно потому, что Шульпин в «Сборнике сочинений» порадовал и приятно удивил ещё и тем, что он одновременно и целен, и разнообразен. По последней причине трудно выбрать «главное», потому что главным оказывается всё! Но тогда неизбежно более девяноста процентов того, **что** стоило **бы упомянуть** и хотя бы вскользь оценить, остаётся «за бортом» рецензии. Потому что возникает желание подробно рассмотреть каждый рассказ или повесть, каждый «раздел» издания. Выходит, можно бы написать **ещё много** рецензий, почти не повторяясь!

Вполне возможно, что они и будут написаны. Это было бы справедливо.

«Если кто-то когда-то скажет обо мне: жил, звезд с неба не хватал – этот кто-то не будет прав. Я не то что не хватал, я рук за ними не вытягивал», – написал автор. А ведь это правда.

Но для чего писал Шульпин свои книги?

*Вот предки – свет:
Нам светят вслед.
А вот потомки:
Всегда потёмки.
Коль мы за них в ответе,
Давайте им посветим!*

В полушутливых (и очень серьёзных одновременно) стихах – не самонадеянность, не самовозвеличивание. Это нравственная позиция.

А что касается упомянутых Шульпиным упрёков в *страничной* малости написанного, то, во-первых, придётся согласиться с автором: литературные достоинства никогда не измерялись метрами, а во-вторых, написал он *ни много ни мало* – ровно столько, сколько душа хотела. Поэтому стихи его – естественны, а не «деланные» на экспорт, проза читается без натуги.

Ни много ни мало – так!

В Саратове прошла книжная ярмарка «Волжская волна»

С 16 по 18 июня в Саратове прошла Первая межрегиональная книжная выставка-ярмарка «Волжская волна». Её проведение было инициировано Приволжской книжной палатой и поддержано Российским книжным союзом, Российской книжной палатой, а также правительством Саратовской области и аппаратом Совета Федерации.

В выставке-ярмарке приняли участие издатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Самары, Перми, Казани, Уфы, из Чеченской республики и республики Крым. Было представлено значительное количество учебной и научной литературы (издательства «Русское слово – учебник», «ВАКО», «Билингва», издательства столичных вузов: Московского государственного университета печати имени Ивана Фёдорова, Высшей школы экономики, Российского института стратегических исследований и др., и вузов Саратова, Казани, Уфы).

В выставке участвовали Зональная научная библиотека Саратовского государственного университета и Централизованная библиотечная система города Саратова, музей-усадьба Н. Г. Чернышевского, музей К. А. Федина и многие другие учреждения культуры.

На многих стендах была представлена художественная литература, в том числе и саратовские издания: авторские книги, коллективные сборники, альманахи «Впечатления», журнал «Волга–XXI век».

В ходе работы выставки было проведено множество тематических встреч и презентаций, в том числе встречи с известными писателями: Эдуардом Лимоновым, Александром Прохановым, с поэтессой Светланой Кековой. Перед гостями выступали саратовские барды, журналисты, писатели, поэты, краеведы.

В первый же день выставки прошла презентация литературного конкурса для молодых авторов, на которой выступили организаторы конкурса: представители министерства информации и печати Саратовской области, Института филологии и журналистики СГУ имени Н. Г. Чернышевского, редакции журнала «Волга–XXI век». Молодые поэты, уже подавшие заявки на конкурс, прочли слушателям свои стихи. Стоит подчеркнуть, что это не завершение, а презентация конкурса, который продлится до 30 ноября этого года, поэтому поучаствовать в нём смогут ещё многие молодые авторы: поэты, прозаики, эссеисты, и по результатам его лучшие работы могут быть рекомендованы к публикации в литературнохудожественном журнале «Волга–XXI век».

Думается, что проведение книжной выставкярмарки было полезным и необходимым и для издателей, и для писателей, и для любителей книг. Издательства и учреждения культуры продемонстрировали свои возможности и готовую книжную продукцию, писатели смогли заявить о себе, библиотеки – пополнить свои фонды, а посетители выставки – приобрести понравившееся издание. Можно надеяться, что проведение этого мероприятия поможет наладить российскую систему книгоиздания, возродить интерес к книге, к литературе.

Редакция журнала «Волга–XXI век»

Журнал «Волга – XXI век» зарегистрирован МПТР РФ,
свидетельство ПИ № 77-16080 от 6 августа 2003 года.

Учредители: Министерство информации и печати Саратовской области, Саратовское региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России».

Издатель: ГАУ СМИ СО «Регион 64».

Директор – Владислав Степанов.

Редакция:

Главный редактор – Елизавета Данилова.

Фотографы – Татьяна Лисина, Александр Зрячкин,

Анна Морковина, Елизавета Данилова.

Дизайн и вёрстка – Лилия Баранова.

Корректор – Елена Березина.

Подписано в печать 22 июня 2015 года.

Дата выхода в свет 30 июня 2015 года.

Журнал отпечатан в типографии «Буква».

Адрес типографии: г. Саратов, ул. Астраханская, 102.

Заказ № 02/2206.

Цена свободная.

Почтовый адрес: 410005, г. Саратов, а/я 3535.

Адрес редакции: г. Саратов, ул. Соборная, 42.

Тел. (факс): (845-2) 28-63-49.

E-mail: lizamart@yandex.ru

Сайт: www.g-64.ru/volga

Подписной индекс 14320

При перепечатке ссылка на издание обязательна.

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своём решении.

Формат 70x100 1/16. Усл. печ. л. 15,60.

Бумага типографская. Печать цифровая.

Тираж свободный.